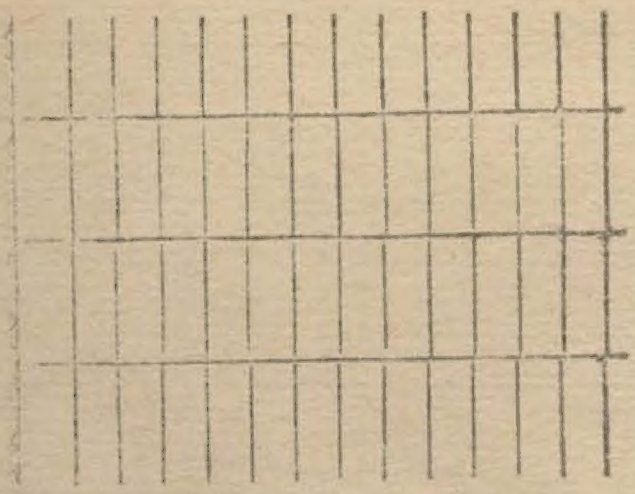
23435
Б95

...ные памятники и ...

СИЛУЭТЫ ДАЛЕКОГО ПРОШЛОГО

П. В. БЫКО



4
86 крайб

БИБЛИОТЕКА МЕМУАРОВ И ЛИТЕРАТУРНЫХ ПАМЯТНИКОВ

891
Б-95
891:92:891
Б 95
891
Б 95
С.С

П. В. БЫКОВ

СИЛУЭТЫ ДАЛЕКОГО ПРОШЛОГО

С ПРИМЕЧАНИЯМИ
Б. КОЗЬМИНА

23435

«ЗЕМЛЯ и ФАБРИК»
МОСКВА—1930—ЛЕНИНГРАД

Отпечатано в гос. типографии издательства
„Ленинградской Правды", Ленинград,
Социалистическая улица, дом 14,
в колич. 5000 экз., 15 л.
Главлит № А—34651.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Мне посчастливилось, одаренному долголетием и родившемуся в блестящую, как принято считать, эпоху нашей общественности, — сороковые годы [1], застать отголоски того подъемного настроения, которым жила молодежь и лучшие люди этой эпохи, видевшие прежде всего благо страны в освобождении народа от крепостного рабства и капиталистического произвола.

Тогдашняя литература, как известно, ярко отражала на себе боевой подъем, проникнутый представлением о подвиге, завещанном движением декабристов.

И дышалось тогда вольно и легко пишущему человеку, несмотря на трудность материальной борьбы, тернистость пути писателя и цензурный гнет.

Эпоха эта дала нам своих лучших представителей в лице: Герцена, Лаврова, Чернышевского, Грановского, Бакунина, Некрасова, Достоевского, Гончарова, Тургенева, Писемского, Добролюбова, Белинского, Писарева и других.

И почти всех этих, перечисленных здесь корифеев нашей литературы, равно как и дальнейших ее деятелей на протяжении более полувека, мне удалось видеть лично, воочию, сталкиваться с ними по литературной и жизненной линии, встречаться с ними не раз.

Близились шестидесятые годы, когда в литературу, по выражению консервативных идеологов, вошла «улица», а на деле — лучшие представители народничества [2], такие, как Даль, Левитов, Слепцов, Златовратский, Григорович, Глеб Успенский, Шелгунов, Панаев, Благосветлов и другие, пополнившие собою ряды прежних славных бойцов литературного поля.

Но и эпоха шестидесятых годов, начавшаяся великой реформой [3], несмотря на богатство нового посева и пришедшие с ним «обновленные веяния и новые надежды», все же не чужда была гнета царизма,

дававшего себя чувствовать во всех проявлениях русской общественности, и в особенности в литературе, судорожно извивавшейся не раз под ударами цензурного бича.

Но, однако, цензуре не под силу было задушить литературу, возглавляемую такими именами, как Лев Толстой, Глеб Успенский, Салтыков-Щедрин, Достоевский и прочие.

Весь полный еще и теперь отзвуками освободительной эпохи шестидесятых годов, к которым относится расцвет моей сознательной жизни, то-есть начало прохождения моего литературного поприща, я все же чужд намерения набрасывать на эпоху эту оптимистический колорит, как в общем понимании ее сущности, так и в освещении живых людей. Постараюсь теперь сквозь туман видений прошлого взглянуть на все прожитое глазами беспристрастного свидетеля, к чему меня обязывает и моя шестидесятидевятилетняя литературная работа, и совесть моя.

Мне бы хотелось теперь, в год моего восьмидесятипятилетия, дать хотя бы беглый обзор всему, мной пережитому и перечувствованному за долгие, долгие годы, с момента, когда я впервые, семилетним ребенком, взялся за перо, чтобы написать сочинение на заданную тему, вплоть до настоящего времени, останавливаясь на наиболее ярких впечатлениях и переживаниях былого.

Не знаю только, удастся ли мне справиться с этой моей задачей, и сумею ли я заинтересовать современного читателя, быть может, более строгого и требовательного, чем прежний.

ВСТУПЛЕНИЕ

На рубеже моей восемнадцатой весны суждено мне было выйти на ту дорогу, которая манила меня давно, еще в школьные годы, когда мы, гимназисты, маленьким тесным кружком зачитывались образцами «изящной словесности», статьями Белинского и издавали рукописный журнал «Стебелек», где я усердно подвизался и в стихах, и в прозе.

Весною голубая даль ясна и приветна. И в дни моей весны та даль, куда вела меня избранная мною дорога, казалась мне такою же светлой и привлекательной: жизнь отнюдь не представлялась мне «мучительной загадкой тогда»...

Я имел право так думать, потому что «мне были новы все впечатленья бытия», я верил в свои силы, способности, в свое призвание, и мои мечты отливали всеми цветами радуги. Но что было главнее всего, — это моя глубокая любовь к литературе, не остывшая с годами, несмотря ни на какие разочарования...

И вот уже почти три четверти века иду я моей излюбленной дорогой. Сколько интересных лиц литературного мира довелось мне видеть за это время! Большинство из них глубоко запечатлелось у меня в памяти. Со многими я встречался мельком, с другими был знаком близко, был в дружественных отношениях. С давних пор привык я каждую интересную встречу, каждое сколько-нибудь выдающееся событие в литературном мире записывать подробно или намечать только любопытные моменты, чтобы потом по памяти восстановить подробности, достойные внимания. Мало-по-малу образовался громадный материал из того, что было записано и что уцелело в памяти,

и мне кажется, что все, пережитое мною, виденное, слышанное и испытанное за долгие, долгие годы моего тесного общения с литературным миром, может иметь интерес не для одних только праздных читателей, любящих позабавиться всяким чтением, не выключая и мемуаров, но и для будущих историков нашей литературы... С этой целью я и хочу использовать мой обширный архив, мои воспоминания... Буду брать из них пока лишь некоторые странички, не стесняя себя строгим, последовательным порядком.

I

Прелюдия.—Из детских лет.—Мои первые попытки творчества.—Николай Дмитриевич Мизко.—Его рассказы о Дале.

Отголоски севастопольской кампании[1] еще звучали на родине, когда отец мой, суровый моряк черноморского флота, серьезно раненый в то время, не без затруднения выхлопотав себе отставку, поселился в своей небольшой усадьбе, Екатеринославской губернии, Новомосковского уезда, близ реки Днепра, где, не достигнув и сорокапятилетнего

Родиной моей был Севастополь, неизменно пленявший меня своей своеобразной южной красотой, картинами гор и моря, вечно изменчивого, то бунтующего и гордого, то ласково смеющегося прозрачной зеленью бухты в ослепительно знойные дни. Я помню это ощущение вечного праздника и потом торжественную настроенность моей детской души во время нашего длительного переезда на лошадях в экипаже в другую полосу Юга, в наше родовое именьице под Екатеринославом, где стала протекать вторая половина моего детства и юность, еще наполненная воспоминаниями самых ранних лет, ярко запечатлевших рисунок и аромат розовых олеандров, магнолий и кипарисов.

С отъездом из Севастополя от меня отодвинулись сладкие воспоминания о ласках ко мне, ребенку, товарищей моего отца по черноморскому флоту, среди которых были и близкие родственники, всячески баловавшие меня, вплоть до посещения итальянской, гастролировавшей здесь оперы, куда брали меня чуть не с трехлетнего возраста, и потом долго тешились сами моей музыкальной памятью, способностью воспроизводить мотив, услышанный только однажды.

Скажу мимоходом, что музыка захватывала меня во все периоды моей жизни: и на школьной скамье, и при начале моего литературного поприща, когда я, страстный любитель пения и обладатель недурного

тенора, еще в Харькове, будучи студентом, развивал свой голос под руководством преподавателя пения, композитора и артиста приезжавшей из-за границы оперы К. П. Больбя, автора известного романса «Нелюдимо наше море», страстно уговаривавшего меня посвятить себя артистической карьере. Совету моего маэстро я, однако, не последовал, так как всецело отдался литературе, занимаясь ею одновременно с прохождением университетского курса по естественным наукам, к которым чувствовал непреодолимое влечение. Что же касается моих дальнейших музыкальных попыток, они ограничились лишь моими выступлениями время от времени в концертах, большею частью любительских. Впрочем, я иногда отваживался петь и в дворянском собрании, в зале теперешней филармонии.

Мне шел тогда восьмой год. Наш большой старый сад одним уголком врезывался во двор, и в этом месте стоял колодец, обрамленный высокими пирамидальными тополями, а неподалеку от него ютилась повитая диким виноградом беседка, с круглым столом и скамейками внутри. Я давно сидел уже здесь с моей теткой, Елизаветой Семеновной Юрьевой, о чем-то замечтавшейся и не замечавшей, что я не делаю ничего. А между тем меня ждала работа, и, как мне казалось, очень важная: мне задали написать сочинение. Передо мною в красивой цветной обложке лежала раскрытая тетрадь. Пальцы мои я успел замарать чернилами, хотя к тетради не прикасался, и чистая бумага только дразнила меня своей белизной, словно смотрела на меня с укоризной. Но разве я был виноват, бездействуя, когда такой теплый, ласкающий день весны куда-то манил меня, прозрачное небо Украины приковывало к себе, «растений радужный наряд» трогал, умилял, а тополя, не умолкая, шептали что-то, как мне чудилось, очень знакомое? Все напряженнее вслушивался я в шепот, стараясь разгадать его, в твердой уверенности, что услышу нечто особенное, дивное, может быть, даже удивительную сказку, какая мне и во сне не снилась. И вот, когда то, чего я ожидал, наконец случится, это и будет моим «сочинением», об этом я и напишу. Но тополя мне ничего не сказали... От гордости, — думал я.

И растения, и камни, и небо, и звезды, и реку, и воздух — все это я одушевлял в моем воображении, придавая всему этому человеческие черты... Если дверь ущемляла мой палец, я не сомневался, что это она делала умышленно.

Мой душевный мир был полным бесконечных фантазий, суеверий, примет. Я страстно любил читать, просто пожирал книги, отдавая предпочтение сказкам, легендам, страшным рассказам и таким, в которых писатели давали безграничный простор фантазии. «Ночи»

князя Одоевского [5], «Большой выход у Сатаны» Сенковского [6], повесть «девицы-кавалериста» Дуровой [7] я прочел, когда мне было всего шесть лет с небольшим. У отца была обширная библиотека, которою я, несмотря на строгий запрет его, умел пользоваться, когда было нужно. Лично для меня выписывали «Журнал для Детей» Чистякова и Разина [8], с первого года его издания, и повести и рассказы, печатавшиеся в нем, я прочитывал по два, по три раза, подробно рассказывая тетке их содержание и часто записывал для себя в отдельную тетрадку.

Я до того вчитывался в них, что мне однажды приснилось окончание одного начатого мною рассказа. Проснувшись, я по свежей памяти записал виденное во сне. Каково же было мое удивление, граничившее с каким-то суеверным страхом, когда «Иван Длинный», ездивший всегда в город за корреспонденцией, привез с почты свежий номер «Журнала для Детей», и я увидел, что окончание рассказа «Дедушка-гусенок» М. Б. Чистякова почти совершенно сходится с тем, что я видел во сне.

На меня это произвело сильное впечатление, и я долго не мог притти в себя. Мне как-то даже представилось, будто это я написал рассказ о дедушке-гусенке, и каким-то чудом (я наивно верил во всякие чудеса) он появился в печати. Отцу я побоялся рассказать об этом, а когда поделился своими впечатлениями с теткой, она после долгого раздумья ответила мне, что это очень странно, но на свете бывает много странных вещей, над которыми напрасно ломают голову самые умные люди.

Быть может, я очень долго размышлял бы о гордом нежелании тополей рассказать мне что-то таинственное, прекрасное, если бы тетя Лиза, — как все мы, дети, звали ее, — не напомнила мне о моем сочинении.

— Ну, пиши же поскорей, не затрудняйся. Пиши просто, что тебя занимает... Напиши о весне, о том, что ты думаешь...

И, случайно взглянув на тополя, она мечтательно-задумчиво прибавила:

— Расскажи, о чем шепчут эти старцы. Ты знаешь, что им уже больше пятидесяти лет. Говорят, что их сажал еще твой прадед.

Тетя Лиза хорошо знала русскую историю и при каждом случае что-нибудь рассказывала мне из старины стародавней.

Портрет прадеда, писанный масляными красками каким-то большим художником, висел в кабинете отца и мало занимал мое детское воображение, но сейчас мне почему-то нестерпимо захотелось побежать взглянуть на портрет того, кто посадил эти гордые тополя.

И я неожиданно для тетки сорвался с места, побежал в дом и долго-долго всматривался в черты прадеда. Он глядел на меня пристрого из-под нависших густых бровей и, казалось, пронизывал взглядом дерзкого мальчика, осмелившегося так долго стоять перед его портретом и глазеть на него с праздным любопытством.

«А если, — думалось мне, — в сумерки, когда я прибегу за книгой, он вдруг выйдет из рамы и схватит меня?»

Я предпочел не сделаться жертвой мести сурового предка и так же стремительно оставил отцовский кабинет, как и вбежал в него.

Тетки в беседке уж не было, когда я вернулся, чему я очень обрадовался. Портрет вдохновил меня, и мне неудержимо захотелось скорее написать, о чем шептали тополя, но я боялся, чтобы тетка не расхолодила моего воображения, которое сильно разыгралось. Написал я «рассказ тополей», которые когда-то были людьми и все ссорились между собою и завидовали друг другу, все жаловались один на другого старому лесному волшебнику; ему надоели эти жалобы, эти споры молодых людей (я воображал их молодыми и красивыми непременно), и волшебник придумал им наказание — превратил их в деревья. Он надеялся, что в таком состоянии, когда они лишены языка, превращенные исправятся, и тогда волшебник вернет им человеческий образ. Но они не исправились и при помощи ветерка злобно шептали друг другу неприятные слова, и сваливали один на другого свою вину в том, что они сделались тополями. Но, наконец, они раскаялись, попросили друг у друга прощенья. И, конечно, волшебник пощадил бы их, если бы не умер неожиданно.

И вот они остались тополями, и с тех пор все шепчут о своей горькой участи, а в сильную бурю даже стонут.

Вышло наивно-сумбурно и так жалостно, что я стал плакать. Мне было горько и досадно, отчего их постигла такая жестокая кара. И поспешил сообщить об этом вернувшейся тетке.

— Но ведь ты сам выдумал такое наказание; о чем же ты сокрушаешься, о чем плачешь? — утешала меня тетка-наставница, готовившая меня в гимназию. — Впрочем, не стыдись своих слез: они вызваны жалостью, а жалость, какая бы ни была, лучше равнодушия, и как бы хорошо было, если бы это чувство сохранилось в тебе навсегда, если бы, несмотря ни на что, сердце твое не зачерствело... Твое сочинение мне нравится...

Оно было прочитано во время обеда, за сладким, и я видел, как тронута была мать, как остался доволен отец, хотя и не преминул заметить тетке, — не слишком ли рано она развивает во мне эту наклонность в ущерб учению и всему прочему.

Мое сочинение отец показал, спустя два года, экзаменовавшему меня учителю русского языка и словесности, Степану Ивановичу Веребрюсову, когда я поступил во второй класс гимназии, и, благодаря этому, он не столько экзаменовал меня, сколько беседовал со мною. Он очень обласкал меня, и я приобрел в нем настоящего друга. Он сам был причастен к литературе. Я помню, какое впечатление произвел на меня его очерк «Восход солнца на Чатырдаге» своей поэтичностью, своим лиризмом. С нежностью относился он ко мне, следил за моим чтением и только мне одному в классе задавал писать сочинения. Когда я переходил в четвертый класс, его переводили куда-то инспектором, и милый, добрый человек глубоко сожалел, что расстается со мною.

— Из вас, — говорил он мне, прощаясь, — выйдет писатель, если вы не зароете в землю своего таланта, если будете работать. Грустна эта дорога, много на ней терний... Но быть писателем все же большое наслаждение. Да благословит вас небо на этом трудном и прекрасном пути.

Глубоко запали мне в душу слова Веребрюсова. Они были для меня пророческими. Моя участь была решена. Я стал читать еще больше. Будучи в пятом классе, я уже познакомился со всеми нашими классиками и пытал свои силы в стихах и прозе. Затеял я гимназический рукописный журнал, для которого написал два рассказа. Но в наш журнал я их не отдал, а послал Веребрюсову.

«Я бесконечно был счастлив, дорогой друг, когда получил ваше письмо с приложением ваших рассказов. Тепло и просто рассказана у вас повесть старого мельника. Чувствуется ее правдивость... А эпизод из жизни вашего деда мне нравится меньше. Кажется, сатира — не ваша область. Не бросайте пера ни в коем случае. Во имя дружбы прошу вас об этом, и во имя того же прошу послушаться меня, — не отдавать рассказов в печать. Оба они пригодятся вам потом, когда вы выступите в литературе и когда они вылежатся у вас. Вы пишете совсем, как взрослый, и мне совестно рекомендовать вам не расставаться с чистяковским «Журналом для Детей»... Подумайте, какой в нем простор мысли и как талантливо написана каждая статья, в особенности рассказы. Мой питерский приятель узнал, что почти все повести и рассказы в этом журнале принадлежат педагогу Разину. Какой даровитый, какой чуткий писатель, как тонко он чувствует...

«Мне хочется посоветовать вам не удлинять время вашего гимназического обучения. Из шестого класса держите экзамен в университет. В Харькове у меня есть знакомые профессора, они как-нибудь

помогут вам обойти ваш походный камень — математику, которую вы так не любите и которой боитесь. И вот еще что: когда на экзамене из словесности будете писать сочинение, старайтесь написать возможно литературнее, как подобает будущему писателю. Я твердо верю в ваше призвание, и вы не теряйте в него веры. Не забывайте вашего бывшего наставника и всегдашнего друга».

Все советы Веребрюсова я исполнил в точности. С любовью, с благоговением смотрю я на эту пожелтевшую пачку его милых, задушевных писем и с отрадой вспоминаю, что это он, мой незабвенный учитель, толкнул меня на этот путь, по которому я иду уже гораздо более полувека.

Перейдя в шестой класс, я чисто случайно пристрастился к одному занятию. Придумал я составить алфавит писателей, всех без исключения, имена которых я встречал в журналах и газетах, имевшихся у отца. А журналов у него было многое-множество. Записывал я, конечно, и заглавия сочинений. Я страшно втянулся в эту работу и посвящал ей все свободное время. Мерещилась она мне и во сне. Я полюбил ее бесконечно, пристрастился к ней, а между тем она казалась мне мелкою, и я совестился написать о ней Веребрюсову. Да и вообще я держал ее в секрете от всех, не исключая и отца. Но раз я нечаянно попался с нею.

— Зачем ты занимаешься этими глупостями? Лучше бы таблицу логарифмов лишний раз просмотрел! — сказал мне отец, хмуря свои нависшие брови и слегка сверкая глазами.

Он был до ужаса строг ко мне, и я не боялся, а трепетал его взглядов, его вспышек. Однако я не растерялся и скороговоркой объяснил ему, что это нужно мне для изучения литературы, что у меня переписано почти все, написанное Сенковским, Полевым и другими.

— А Марлинский-Бестужев есть?—спросил отец, уже смягчаясь.

Я показал ему карточки со списком сочинений автора «Аммалат-Бека». Отец просмотрел это очень внимательно, и совсем просиял, когда я стал приводить ему вычитанные сведения о Бестужеве.

— А откуда ты знаешь, что он издавал «Полярную Звезду"?— спросил он.

Я ответил, что об этом сообщил мне Веребрюсов. Это я прямо соврал, для того чтобы не открылось, как я таскал у отца из завет-ного ящика его комода запрещенные книги, среди которых было много и заграничных изданий.

— Я вижу, ты очень вырос! — сказал отец тоном, мне до той поры незнакомым, в котором уже слышалось нечто дружеское. — По-

моему. — продолжал он, — ты затеял что-то интересное... На-днях мы поедем к одному помещику-литератору, ты захвати с собой свои листочки, мы ему их покажем.

И я сейчас живо помню, как мы поехали в Карабиновку, имение Николая Дмитриевича Мизко, в Новомосковском уезде, Екатеринославской губернии. Он составил книгу «Столетие русской словесности», много писал о Гоголе, печатал критические и другие статьи в старых «Отечественных Записках», «Москвитянине», «Одесском Вестнике» и других изданиях. Это был очень образованный человек, великолепно знал историю литературы, был немного украинолюбом и страстным библиографом.

Велико было его изумление, когда он самым внимательным образом просмотрел мои листки.

— Это канва для словаря писателей, — сказал мне Мизко, — кропотливый, замечательный труд. Со временем вы пожнете плоды этого труда. А пока работайте, и моя библиотека, и я сам к вашим услугам. Просите отца, чтобы он почаще отпускал вас ко мне. И я буду ходатайствовать у него за вас. Пойдемте, я покажу вам мое книгохранилище.

Время было каникулярное, и мы прогостили у Мизко несколько дней, в продолжение которых я не выходил из библиотечных комнат и успел значительно увеличить число моих листков. Кроме того, Мизко дал мне много биографических сведений о целом ряде писателей, подарил несколько справочных изданий, оттисков своих статей и прочее, и взял с меня слово, что когда я уеду в Петербург, я извещу его, чтобы он мог снабдить меня рекомендательными письмами к разным лицам, занимающимся библиографией, и вообще просил ему писать.

Знакомство с Мизко имело для меня огромное значение. Это был мой первый учитель, первый руководитель в моих библиографических занятиях. Он всячески подбадривал меня, постоянно говорил мне, что я, как только по приезде в Петербург переступлю порог Публичной библиотеки, буду чувствовать себя счастливым, блаженным, и меня будет, уже помимо воли, тянуть в этот храм книги. Хвалил он мою усидчивость, удивлялся моей большой памяти, — единственное, чем я сам могу и теперь похвалиться...

У Николая Дмитриевича Мизко были обширные литературные знакомства. Когда я приезжал на короткое время домой, будучи уже в университете, я всегда считал долгом посетить его и часто гостил у него по нескольку дней. Много рассказывал он мне тогда о разных писателях: о Гоголе, Загоскине, Писемском, Дале, Востокове, Краев-

ском, Кулише, Кукольнике и других. Особенно любил он рассказывать о Владимире Ивановиче Дале (Казаке Луганском), удивляясь его энциклопедичности. Даль вполне оправдывал на себе пословицу—«русский человек на все руки»: был врачом, беллетристом, филологом, архитектором, инженером; превосходно знал медицину народную; когда понадобилось, отлично навел понтонный мост для военных целей. Даль считался «благонамеренным гражданином», был у всех на виду, и тем не менее ни один из его рассказов из народного быта не печатался целиком, без купюр, благодаря тогдашним суровым цензурным условиям. Добряк по природе, умевший прощать обиды, Даль о цензуре не мог говорить без раздражения [10].

— Вместе с раскрепощением крестьян надо одновременно раскрепостить и писателей от цензурного произвола, — говорил он Мизко, который видел у Даля проект цензурного устава; об этом уставе Мизко повторял не раз, всегда с большой похвалой [11].

Скажу кстати, что, когда я познакомился с Далем, я как-то к слову спросил у Владимира Ивановича о его проекте. Даль только безнадежно махнул рукой и сказал:

— Давно сжег, как вещь, у нас бесполезную. Лучше не вспоминать об этом... Когда я прочитал проект Андрею Александровичу (Краевскому), он мне посоветовал спрятать его подальше и подождать с ним лет пятьдесят.

Мизко передавал мне, что Даль знал массу русских пословиц и долго мог говорить одними пословицами. Среди записанных им прибауток, присловий, поговорок были очень редкие, не вошедшие ни в одно собрание, ни даже в сборник самого Даля, как например: «Железо и камень родят пламень, а не будь дерева, ему бы и житья не было», «У зеркала повадка глупа — не прикрасит ни царя, ни попа» и прочие. В одной из черновых тетрадей Даля я видел эти пословицы и тогда же списал их.

II

Рассказы Мизко о Гоголе.—Как я сделался библиографом.—Провинциальные писатели обличительной эпохи в литературе.—М. М. Стопановский.—А. С. Чужбинский.

С Гоголем Мизко встречался в Полтаве, и однажды Гоголь сказал ему, что собирается написать большой очерк об этом городе для Свиньина, издателя «Отечественных Записок» [12], и напишет нескучную статью, что скучных вещей он не любит. При этом Гоголь раскрыл свою записную книжку и показал в ней страничку, на которой стояло:

«Полтава. Впечатления. Меньше истории, больше сведений географических. Жители. Типы. О соборе подробнее. Встречи». По словам Мизко, ни один из портретов Гоголя не дает полного понятия о выражении лица его, в особенности глаз, то беспокойно бегавших, то на продолжительное время устремленных в одну точку. В таком состоянии творец «Мертвых душ» не обращал никакого внимания на окружающее, а потом как-то стремительно просыпался, пытаясь разговором изгладить неприятное впечатление, произведенное его невниманием на общество; он пробовал шутить. Но это редко удавалось ему. В конце концов он опускал голову книзу и усердно выбивал дробь пальцами по колену. А когда приходил в себя, страшно конфузился и воровато озирался вокруг. Окружающие в таких случаях старались не смотреть на Гоголя и делали вид, что не обращают внимания на его странности. Мизко признавался, что внешность Гоголя, его манеры, каждое его движение сильно интересовали его, и он исподтишка наблюдал за великим писателем. Наблюдательный человек ясно видел, что Гоголь знает себе цену и смотрит на общество, его окружающее, не то пренебрежительно, не то снисходительно. Однажды очутился он среди тех. Они всячески старались заставить его разговориться, забрасывали его вопросами. Гоголя это, видимо, раздражало. Он отмалчивался, отвечал рассеянно и вдруг неожиданно встал и скороговоркой сказал: «Я должен извиниться за мистификацию: ведь я не Гоголь; тот остался в Петербурге, а я только его товарищ. Простите». И с этими словами он через террасу прошел в сад и более не возвращался. О странностях Гоголя Мизко рассказывал довольно много и утверждал, что они очень часто были не без лукавства.

В мои юные годы Николай Дмитриевич Мизко не был первым, встреченным мною литератором. Раньше его в театре я увидел сразу трех писателей: Барановского (имени не припомню), Николая Петровича Баллина и Михаила Михайловича Стопановского. На них указал мне наш гимназический учитель. Все трое почти всегда ходили вместе и в городе слыли за обличителей [1]. Барановский куда-то посылал корреспонденции из Екатеринослава. Баллин, впоследствии известный своими трудами по колонизации на Западе, писатель он в России, тогда служил не то в гражданской, не то в казенной палате, слыл невероятным чудаком, оригиналом, ходил в шубе или накидке, подпоясанной веревкой, и подбирал материалы для будущих работ своего приятеля Елагина. Что касается Стопановского, очень молодого тогда человека, он писал стихи, маленький сборничек которых в канареечного цвета обложке, выпустил под огромными буквами

М. С. и раздавал его знакомым и незнакомым: в числе последних получил его и я.

Стопановский был сын местного врача, довольно оригинального. лечившего едва ли не все болезни кислой капустой, сырой или вареной, и от операций при рекрутчине сколотившего капитальчик. Сын сошелся с отцом, и не пожелав продолжать ученье, стал, что называется, бить баклуши, якшаться с либералами, участвовать в разных прогрессивных кружках, где читался «Колокол» Герцена [14], заграничные стихотворения Огарева и других, где происходили дебаты на тему об эмансипации женщин, об освобождении крестьян и так далее, — словом, с точки зрения отца, сделался пропащим человеком, или литератором, что одно и то же. Михаил Михайлович стал «играть роль» в Екатеринославе с момента сотрудничества в «Искре» Курочкина [15], куда посылал статейки из жизни города Грязеславля, в котором «действовал» тогда губернатор граф Александр Карлович Сиверс и другие его сподвижники. Их Стопановский и обличал беспощадно под вымышленными именами графа Падеждина, Чичихина, Рыльбейщикова и других.

Перед поступлением моим в университет я познакомился со Стопановским, как-то показал ему мой рассказ о старом мельнике в переделанном виде и был несказанно огорчен, когда он назвал мое первое детище «сентиментальной ерундой», над которой все будут потешаться. «Стыдно, — увещевал меня Стопановский, — в такое время писать разные нежности, когда нужно обличать и обличать. Да это и выгоднее: обличительный рассказ редакторы у вас с руками оторвут, а рассказ на сахарной водице у вас провалится долго». Он начал с каким-то сожалением смотреть на меня и, между прочим, сказал мне, что если я «сентиментален», то уж лучше мне стихами заняться. Я признался ему, что пишу и стихи, и совсем не такого сорта, какие помещены в книжке г-на М. С., и, чтоб не дать ему опомниться, прочел стихи, но не свои, а переписанные из отцовских тетрадей, незадолго перед тем присланные отцу моему из Петербурга *)

Не жди, чтобы цвела страна,
Где царство власти, не рассудка,
И где зависит все от сна
Да от сварения желудка...
Где есть закон, чтоб понимать,
Как он изменчив и непрочен,
И где звездами лечат знать
От заслуженных ей пощечин...

*) Стихотворение Ф. А. Кони, отца А. Ф. Кони.

— А, вот как! — сказал Степановский. — Хорошо, что вы уже выходите из гимназии, а то как бы задали перцу... Это я пошутил. Но, может быть, это не ваши стихи?.. Напишите-ка что-нибудь при мне на заданную тему, например, к портретам графа Сиверса и Компанейщикова.

Мне не пришлось грызть перо, и, слыша, какое пристрастие граф имел к женскому полу, я живо настрочил нехитрое двустишие:

Едва заслышит юбки шорох,
Воспламеняется, как порох...

Разгадоренный и обиженный Степановским, я написал еще несколько двустиший к портретам разных местных тузов чиновничьего мира, имена и подвиги которых были тогда у всех на языке. Степановский остался доволен и попросил у меня позволения показать стихи мои Елагину. «А еще лучше, подарите мне их». — добавил он. Я, конечно, подарил, а Степановский вскоре без церемонии напечатал все двустишия в «Искре».

«Нет худа без добра»: это был мне случай познакомиться с Владимиром Николаевичем Елагиным, а позднее, по приезде моем в Петербург, с Василием Степановичем Курочкиным. Елагин — один из выдающихся представителей обличительного периода нашей литературы, бывший помещик, писатель не без дарования, случайно очутившийся в Екатеринославе и там неожиданно застрявший. Ему не было тогда и тридцати лет. Человек передовой, довольно желчный, он неутомимо наблюдал за порядками в городе, куда его кинула судьба, подбирал материалы, которые, между прочим, добывали ему Баллин и Барановский, и разразился большим обличительным романом из жизни Екатеринослава, под заглавием «Откупное дело». В романе нет ни одного вымышленного героя, выведены все живые лица из административного, педагогического мира, из дворянской аристократии и прочие. Старательно были описаны с натуры и сам губернатор Сиверс, и откупщик Щербаков, под прозрачным именем Щипакова, и директор гимназии Яков Дмитриевич Грахов, под именем Сципионова, и дамский угодник, учитель русской истории Коко Кобельков, и обрусевший француз Шарль — мой гимназический учитель Карл Осипович Компер, и екатеринославские львицы из местной аристократии. Трудно передать, какую сенсацию произвел этот роман, когда получилась книжка «Современника», в котором он был напечатан [16]. Разумеется, все себя узнали сразу, потому что не мог же не узнать себя разжиревший мужик, плут, умевший пожаловаться, кого нужно,

№ 3303

выведенный на свежую воду откупщик, или директор Сципионов помешанный на порке, одною рукою писавший статьи по археологии, а другою считавший удары розог, или помещик Отрепьев, известный своими похождениями во всей губернии.

Книжки «Современника» с этим романом читались нарасхват и пропадали на почте. Были любители, которые, взяв у кого-нибудь почитать эти книжки, отдавали переписывать роман и распространяли его в таком виде. К Елагину прибегали незнакомые дамы, умоляя его одолжить роман для прочтения на короткое время или позволить прочесть его в квартире автора. Ему стали присылать новые материалы из екатеринославских тайн, добивались свидания с ним, с целью добавления тех или других подробностей, касающихся выведенных в романе лиц. Многие материалы сослужили ему службу. Елагин воспользовался ими для своего нового романа «Губернский карнавал», явившегося как бы продолжением первого романа, но был напечатан в том же «Современнике». Здесь, за немногими исключениями, были выведены те же лица, что и в «Откупном деле», но губернатор, которого автор в значительной степени пощадил, хлеснув его бичом своей сатиры несравненно легче, чем остальных действующих лиц, написал, куда нужно, и в «Современнике» появились только две части романа, а третью цензура выклевала [17].

Раньше «Губернского карнавала» Елагин напечатал в одесском «Новороссийском Сборнике» большую повесть «Важное мертвое тело». В своем поместье, Екатеринославской губернии, деревне Паньковке, скончался в глубокой старости известный вельможа граф Завадовский. Он жил одиноко и умер один, почти скоропостижно. Дано было знать властям о «важном мертвом теле», и зазвенели бубенцы троек исправника, станового, уездного врача и прочей братии... «Налетели злые коршуны»... Пошла потеха. Дележка тем, что можно было взять с покойника до назначения опеки. Но явились опекуны Кольцовский и Ястребцов, два местных помещика, а толку не вышло. Все это, на основании материалов, им добытых, и описал Елагин. В этой повести действует типичный становой, который послужил Елагину натурщиком для отдельного этюда, под заглавием «Флор Иванович». Так звали станового, который был «притчей во языцех» и, как тип, представлял собою богатейший материал.

Свою обличительно-литературную деятельность Елагин завершил рассказом «Подряд» и вскоре умер [18].

У меня сохранилось приятное воспоминание от знакомства с Елагиным. Когда я прочел ему мой рассказ, он дал мне много хороших советов и, вообще, любовно отнесся к моим литературным попыткам.

У него не было и десятой доли того самомнения, каким, скажу прямо, страдал Стопановский...

Последний стал неузнаваем с того момента, когда в «Отечественных Записках» появилось начало его большого рассказа «Записки скупого» [18]. Над этой вещью сильно поработал Елагин, у которого я видел рукопись Стопановского, испещренную поправками. Их было так много, что Стопановскому пришлось вновь переписывать свое произведение, за что он довольно наивно выражал свое неудовольствие Елагину, а тот только плечами пожимал. Напечатав свой рассказ, Стопановский ко многим из знакомых стал относиться довольно пренебрежительно и все с кем перестал даже кланяться.

Он уже мечтал о переезде в Петербург и деятельно переписывался с Курочкиным, при чем однажды, встретясь со мной, просил меня написать несколько эпиграмм, которые ему нужно было вставить в статью для «Искры». Я отказался под благовидным предлогом и внял в немилость у Стопановского. «Вы должны были бы благодарить меня за честь, которую я вам делаю моим предложением, а вы, вместо того, напускаете на себя важность», — сказал он мне с раздражением и даже не протянул руки на прощанье.

Недружелюбно относился он ко мне и при встречах со мной уже в Петербурге, где он устроился недурно при «Искре», напечатав в «Отечественных Записках» (за 1862 год) большой роман «Обличители», во «Времени» братьев Достоевских рассказ «Месть Отрепьев и мадам Безрыпникова» и в «Современнике» драматический очерк «Старая школа». Мода на вещи исключительно обличительного характера тогда уже прошла, публика к ним охладела до известной степени, и произведения Стопановского прошли незамеченными. В романе «Обличители» он описал своих екатеринославских товарищей, их частную жизнь и не пожалел красок... Задался он необыкновенно широко, но не совладал со своей задачей. Даже и в родном городе автора этого произведения к нему отнеслись очень холодно.

Этим романом собственно и кончилась литературная карьера Стопановского. В «Искре» он был только полезностью, не более. Когда журнал стал падать в борьбе с цензурными условиями и равнодушием публики, Стопановский ступенялся и кончил «Петербургским Листком» [19], где подписывался псевдонимами «Чорт» и «100-пановский».

Как бы то ни было, но в истории провинциальной печати М. М. Стопановский должен занять свое место.

За несколько лет до этого пришлось мне познакомиться с заправским литератором — с Александром Степановичем Чужбинским. Настоящая фамилия его была — Афанасьев, но под своими псевдони-

мом он был более известен. Впоследствии автор сочинений «По Днепру» и «По Днестру», работавший в лучших изданиях того времени, таких, как «Современник» редакции Некрасова и Салтыкова-Щедрина и «Время» братьев Достоевских, известный путешественник и этнограф, Чужбинский был, по мысли великого князя Константина Николаевича, послан морским министерством в то время для исследования Днепра и Днестра[1]. Я, ученик тогда последних классов гимназии, участвовал с ним в увеселительной прогулке на Днепровские пороги. Узнав от отца о моих литературных наклонностях, Чужбинский заинтересовался мною и по отношению ко мне, к моим стремлениям сделаться писателем, сыграл роль искусителя... Он предрек мне, что всякую науку, всякое другое поприще я променяю на писательское. «Вот, — сказал он, — отец мой смотрит на ваши литературные упражнения и старается уберечь вас от излишнего увлечения этим делом, а вы в такие души все-таки стоите на своем... Значит, это ваше призвание, такая уж ваша «планида».

Вскоре затем отец мой стал нередко предпринимать с Чужбинским поездки на Днепровские пороги, где писатель любил заниматься ловлей осетров. Каждая такая поездка давала моей душе массу новых впечатлений и сведений и еще более тесными узами прикрепляла меня к литературе, еще сильней утверждая в сознании, что она — мое истинное призвание.

Таким образом, предсказания моего первого вдохновителя, Афанасьева-Чужбинского, сбылись. Меня, действительно, неудержимо потянуло в Петербург, где я стал дослушивать курс Харьковского университета по естественному факультету у известного энтомолога, профессора Брандта.

Афанасьев-Чужбинский превосходно знал польскую литературу, цитировал наизусть интересные места из произведений Корженевского, из «Хаты за околицей», «Будника», «Комедиантов», из «Дедов» Мицкевича, его «Гражины», из Косцялковича-Сырокомли, с которым был лично очень коротко. Сырокомля написал ему в альбом по-русски следующий экспромт, показывающий благородство души польского поэта:

Полны коварства и злорадства,
Полны повадками скотства,
Пусть племена забудут братство
И узы тесного родства,
Но нам, всем нам, жрецам искусства,
До волчьих нравов дела нет, —
И пусть нас связывают чувства
Любви взаимной, правды свет...

Альбом этот, интересный экспромтами, в стихах и прозе, русских поэтов тридцатых и сороковых годов и польских писателей. Чужбинский всегда носил с собою и страшно дорожил им.

«Если бы, — говорил он, — мне пришлось голодать, я все продал бы до нитки, но его оставил бы у себя. У меня связаны с ним самые дорогие воспоминания, и тех лет, когда я был наивным, мало развитым, но тяготевшим к литературе офицером, и того времени, когда имел тесное общение со многими замечательными людьми...»

Взобравшись на довольно высокий утес Днепровских порогов, Чужбинский необыкновенно воодушевился и стал декламировать стихи Сырокомли «Орел». Потом он вспомнил о Петербурге и делал характеристики многих старых и новых писателей, сыпал анекдотами.

— Вот, увидите наш литературный мир, — сказал он мне торжественно, — окунетесь в него, и станет он вам родным... Увидите Некрасова, Тургенева, Полонского... Это чудные люди... От Некрасова я видел одно добро, одно хорошее — а его бранят, рассказывают про него, бог знает какие, сплетни. Заклинаю вас, не верьте лжецам...

III

А. С. Афанасьев-Чужбинский.—Первое мое свидание с ним после приезда в Петербург.—Чужбинский—картежник.—Проделки В. В. Крестовского.

Когда мне пришлось, немного ознакомившись с невской столицей, начать стучаться в двери редакций в поисках работы, я предпочел действовать осмотрительно, чтобы сразу не нарваться на отказ. Поэтому я решил прежде всего отправиться за советом к Александру Степановичу Чужбинскому, моему «искусителю». Это был интересный человек, в психологии которого порою очень трудно было разобраться: постольку он создан был из противоречий. Встретясь со мной некогда на Юге, когда я был еще птенцом, не вылетевшим из гнезда, он, как я говорил уже, всячески поощрял мои литературные попытки и пророчил мне успех.

Мне живо припоминается дивный летний вечер. Солнце уже катило книзу шар свой огневой, золотя верхушки сторожевых великанов, поставленных вечностью для охраны старца Днепра. Тихи были его голубые воды в промежутках между порогами, а где камни выступали, там волна кипела, как в котле, и по выражению поэта, «брызгал перлом водомет». В диком реве, необычайном шуме падающих вод было что-то величественное, подавляющее. Прибрежные желтые пески от закатного зарева казались янтарными. Все дышало поэзией, все на-

странало на поэтический лад. Чужбинский, взобравшись на скалу, громко декламировал стихи «батьки Тараса», то-есть Шевченка, «К Основьяненко», в которых прекрасно написана картина Днепра. А на смену пришла проза, тоже в своем роде интересная. Рыбаки поймали осетра, огромного, красивого. Его взяли на крючке к берегу, и, когда собирались уже вытащить, он так хлестнул по воде хвостом, что обрызгал всю нашу компанию, с любопытством глазевшую на пойманного осетра, и рыбаков, вытаскивавших его на крутой берег. Еще немного прошло часов, и над нами неудержимо распахнула свои голубые крылья южная, со своей приветной улыбкой, ночь. Мы сидели на завалинке белой хаты, окруженной пирамидальными тополями, и Чужбинскому, знавшему наизусть массу стихотворений, волей-неволей пришлось снова декламировать. На этот раз просился, конечно, отрывок из «Полтавы» Пушкина:

Тиха украинская ночь.
Прозрачно небо, звезды блещут.
Своей дремоты превозмочь
Не хочет воздух. Чуть трепещут.
Сребристых тополей листы...

Все вокруг нас так и было, и сияла «луна спокойно с высоты», только недоставало белой церкви, и гетманских садов, и старого замка... Сколько лет прошло с тех пор, а я сейчас так живо припоминаю эту дивную ночь, всю эту обстановку и восторгаюсь Чужбинским. Когда мы уже легли вповалку на сене, на мазаном полу украинской хаты, он начал вспоминать впечатления дня.

— А ну, юнонна, — сказал он мне, — встаньте завтра «до свита» (то есть рано, на заре), карандашик в руки, и набросайте пережитое нами за сегодня.

«Карандашик», точно движимый какой-то странной силой, бегал у меня по бумаге, и когда я прочел Чужбинскому эти мои мысли вслух, он дружески хлопнул меня по плечу, а потом стал обнимать.

— Скорей, скорей университет кончайте, — восклицал он, — и махайте в Питер, а там вас живо заберут в чернильную армию, и я где-нибудь напишу о ваших литературных попытках...

И после этого разговора мне показалось, что время пролетело необыкновенно быстро, и, как во сне, я очутился в маленькой комнатке на Большой Зеленинской улице.

Я направлялся к моему «искусителю» на Черную Речку. Он принял меня с распростертыми объятиями, угостил чаем и снабдил письмами к нескольким лицам, заведывавшим редакциями маленьких журнальцев, куда я должен был итти и нести заготовленные мною еще раньше рассказы и стихи. Между прочим, я получил от него дружескую запи-

сочку к его тезке — Александру Степановичу Гиероглифову, редактору журнала «Русский Мир» [2]. Хотелось мне итти по указанному адресу тотчас, но Чужбинский удержал меня.

— Успеете. — сказал он. — и завтра... А если вам нужен презренный металл, возьмите пять-десять, наконец, десять рублей... Я могу... Вчера выиграл... Повезло необыкновенно и неожиданно...

Я выразил ему мое удивление, что он играет в карты, а Чужбинский только расхохотался моему наивному удивлению. Есть несчастные, которые пьют запоем, и Александр Степанович был из таких же несчастливцев, которые запиваются до одурения... большей частью, проигрываются. Проходили недели — он карты не брал в руки, а затем, как пьяницу к зеленому вину, так его влекло к зеленому столу. Он бледнел, худел от бессонных ночей, от страшного напряжения и от нескончаемых проигрышей. Раз удалось ему, быть может, только раз за всю жизнь, выиграть около тысячи рублей, и от этой сильной удачи он словно ошалел, стал еще больше испытывать судьбу... Злой Щербина не утерпел, чтобы не написать эпиграмму по поводу этой страсти Чужбинского:

По своей привычке свинской,
Проигравшийся дотла,
Все же чуда ждет Чужбинский
У зеленого стола.
Но судьба довольно грубо
Поучает болванов:
Удирает он из клуба
Без часов и без штанов...

Больше всего приходилось Чужбинскому терпеть от шулеров. Это, впрочем, было с ним еще в молодости. Позднее он изучил их, присматриваясь к разным игрокам, и, наконец, сознавал ловлю. Одного армянина Чужбинский выручил из беды, спас от верной смерти, и армянин, в знак благодарности, между прочим, показал ему многочисленные приемы шулерских банд. Чужбинский до тонкости изучил их. Высшим наслаждением для него было показать шулеру, что тот попался на месте преступления. Однажды он был в игорном доме, где банк метал какой-то приезжий князь неизвестной нации. Чужбинский поставил небольшие суммы на две карты. Ему дали их. Он спокойно положил деньги в карман и сказал:

— Это за науку я взял. Посмотрите, я проделаю этот самый маневр гораздо чище вас.

И, взяв карты, изумил своей ловкостью мнимого князя. Тот, предвидя грандиозный скандал, воспользовался моментом замешательства партнеров и удрал без шапки и без пальто.

В другой раз Чужбинский перед тем, как поставить на карту рублей пять, не больше, для испытания, попросил оптика снять с пальца перстень и очки с носа. И этого было достаточно, чтобы банкомет перетрусил. Он молча плеснул, сделал вид, что обижен, и, оставив карты, удалился, пробурчав: «Нога моя здесь больше не будет»... А Чужбинский взял оставленные карты и показал игрокам, что они «крапленые».

У Чужбинского был всегда наготове рассказ из похождений «рыцарей зеленого поля». Он очень любил поучать и игроков, «пижонов». главным образом, и непричастных к картежу насчет шулерской техники. Однажды за карточным столом он «поучал» с таким увлечением, что окружающие люди, которых он видел впервые в жизни, начали перешептываться, заподозрив в нем раскаявшегося или тонкого мошенника-шулера... Кто-то предложил даже обыскать его... А у Чужбинского была прескверная привычка носить с собой карты в кармане... И плохим это могло кончиться для него, если бы во-время не вмешался его большой приятель, общий знакомый, который и усыпил подозрительность господ, думавших, что они напали на шулера. Нравоучениям конца не было, но Чужбинский все-таки ушел взволнованный и долго после этого не читал лекций о шулерском искусстве. Это рассказывал мне сам Чужбинский со свойственной ему откровенностью и удивительным равнодушием.

Когда на Чужбинского находили дни «запоя», он как-то сразу мрачнел, становился рассеян, сух до суровости, молчалив. Если это происходило в те времена, когда он редактировал какое-нибудь издание, — что случалось довольно часто, — он держал себя с сотрудниками чрезвычайно сдержанно, официально, был требователен и вместе с тем проявлял страшную безалаберность: вдруг срывался с места и, обещая скоро вернуться, пропадал на день, на два. Чем больше ему не везло, тем дольше продолжался его «карточный запой».

Настоящая его фамилия была — Афанасьев. Сперва он подписывался одним псевдонимом, а позднее, когда стал под ним известен, прибавил к псевдониму и настоящую свою фамилию, и подпись «Афанасьев-Чужбинский» стала мелькать всюду, от мелкой газеты до какого-нибудь специального органа включительно, в роде «Газеты Лесоводства и Охоты». Один из сотрудников «Петербургского Листка», основанного Афанасьевым-Чужбинским, Всеволод Крестовский, сочинил шуточные стишки на своего патрона, на его неудачи в игре:

Вижу, право, в первый раз его,
Несчастливца исполинского:
Проигрыш у Афанасьева —
Проигрыш и у Чужбинского...

Тот же Крестовский прислал однажды к Чужбинскому в редакцию, когда тот страдал от своего «заики», плюя своей нелюбезностью сотрудников, и, вызвав его, таинственно показал ему кусок толстой веревки.

— Сейчас, — сказал он шопотом, — в Измайловском полку повесился солдат. Я немедленно отрезал кусок от веревки, на которой он висел, взял извозчика и летнем к вам, чтобы застать вас, пока вы не ушли в клуб. Вот вам талисман для игрока... Видите, как я люблю вас.

Суеверный, как все игроки, Чужбинский верил, что веревка повешенного принесет счастье в игре и потому несказанно обрадовался подарку Крестовского.

— Если я сегодня выиграю, — сказал Чужбинский — я уплачу вам гонорар за прошлую неделю.

Крестовский вошел с ним в коммерческий (купеческий) клуб и был свидетелем счастья, которое, по странной случайности, вдруг улыбнулось Чужбинскому. Мало того, он еще дня три под ряд был в выигрыше. А потом Крестовский под каким-то предлогом посетил своего патрона рано утром и похитил у него талисман. Чужбинский, добрик от природы, ревел и метал, изза отрезку повешенного. А Крестовский спокойно ушел и до времени припрятал веревочку. Через день Чужбинский получает (находит неожиданно на письменном столе) анонимное письмо. В конверте листок бумажки, на которой карандашом изображено:

Утратил ты счастливую веревку —
И вот совет мой, добрый господин:
Спроси о ней красивую воровку,
С которою ты ужинал один...

Чужбинский был поражен этим посланием и недоумевал, кто открыл его приятное препровождение с хорошенькой балетной корифейкой в отдельном кабинете. Он и не подозревал, что изобретательный на всякие штуки и проделки Крестовский, по выходе Чужбинского из клуба, проследил за ним до ресторана и посмотрел, с кем он вошел в него. У Крестовского хватило терпения подкараулить Чужбинского и тогда, когда он вдвоем выходил из ресторана... Удивлен был несчастливый игрок, но еще более удивился штукарь, когда к нему обратился Чужбинский за советом, что ему делать, как выйти из неловкого положения. А положение было прескверное. Чужбинский, внял анонимному совету, написал письмо корифейке, прося ее перестать шутить и вернуть его веревочку, его талисман. Недоумевающая хорошенькая блондинка ответила ему, что изумлена его просьбой, что ни о какой веревочке понятия не имеет, и прибавила свое предполо-

жение, — не подшутил ли кто-нибудь над ним. Она очень жалеет, что Чужбинский разболтал об их знакомстве: узнает мать, — и ей придется плохо. Было ясно, что Чужбинский заварил кашу, а расхлебать ее не может. Крестовский вызвался помочь: он поедет к обиженной, покается ей, что он, а не кто другой, похитил веревку, и пригласит бедняжку ужинать, и они, во избежание лишних разговоров, не ужинают втроем. Чужбинский согласился, но заявил, что он в проигрыше, и ужин, да еще втроем, ему не по карману. Конечно, «рыцарь стеклышка» (Крестовский не расставался со своей одноглазкой, которую носил для ишку) вызвался уплатить за ужин. Но перед тем, когда нужно было расплачиваться, ушел (он сказал, что вызван по какому-то важному делу), и Чужбинский прождал его долго, чуть не до самого закрытия ресторана, так что все время был, как на иголках. Сердиться он не смел, да и не умел...

Наш маленький кружок узнал всю эту курьезную историю. Мы сидели в нашем излюбленном трактирчике на Большой Зеленичной улице, когда, хихикая, к нам быстро вошел Крестовский и, попросив у нас позволения прочесть «нечто весьма интересное», стал читать превосходно написанный рассказ свой. В нем мы сейчас узнали героя — Червинского и пассаж, случившийся с ним.

Надо сказать, что Чужбинский, рассказывая нам о своей игре, всегда прибавлял: «Мне только черви и везут, бубен я не терплю». На этом основании Крестовский, не пощадивший ради красного словца и себя, назвал своего патрона по «Петербургскому Листку» Червинским... Злодей Всеволод клялся, что напечатает рассказ в газете Чужбинского, и уже собирался подсунуть ему эту штуку, зная манеру последнего не читать беллетристические вещицы своих сотрудников, но струсил и сжег при нас свое произведение. Когда эта история улеглась, Чижик (поэт Александр Николаевич Иволгин), что называется, отчитал Крестовского, который то фанфаронил, без конца твердя о необходимости писателю быть корректным, стоять на высоте, то выкидывал штуки.

Познакомясь с С. Н. Шубинским, он проделал однажды с ним вот что. Шубинский в разговоре сообщил ему, между прочим, что его очень занимает теперь семейство Менсов, о котором он готовит маленький очерк. Этого было довольно, чтобы Крестовский, подражая старинному слогу какого-то автора мемуаров, сочинил невероятную галиматью. В один прекрасный день Крестовский от имени профессора Платона Павлова послал эту галиматью Шубинскому и затем стал искать с ним встречи... Шубинский похвастался, что сам Павлов интересуется его историческими очерками, о чем говорит в своем письме,

и прислал ему один материал... Только странно, что в этом материале о фаворитке Петра сообщается нечто несуразное... Очень может быть, что Шубинский это «несуразное» втиснул бы в свой очерк. — Шубинский все материалы принимал на веру, без критической оценки, — но он бросил свой очерк, узнав, что Михаил Иванович Семевский готовит на ту же тему большую статью.

Если Крестовский, — скажу по справедливости, — и «отмачивал» какую-нибудь штуку, порой даже весьма некрасивую, то делал это не из желания досадить кому-нибудь, сделать неприятное, а только по легкомыслию. У него в натуре было много прекрасного, достаточно добропорядочности, но легкомыслие прямо губило его и ставило в ложное положение. Красивый, франтовски одетый, с изящной тросточкой, в лаковых ботинках, он, хотя и хлыщеватый на вид, не производил неприятного впечатления, был добрый, ласковый, сердечный. Несмотря на чрезмерный свой юмор, он увлекался без конца, идеализируя даже погибших, но милых созданий. Благосветлов, редактор «Русского Слова» [21], ценил талант Крестовского и дорожил его сотрудничеством, но первый подметил в нем опасное легкомыслие. Всеволод Владимирович Крестовский, начавший писать еще будучи студентом, много печатался, был сотрудником «Русского Слова» графа Кушелева-Безбородко, тянул к либералам, имел обширные литературные знакомства. Молодой, женственный, больной аристократ в душе, франт, со стеклышком в глазу, мастерски его вбрасывающий, производил приятное впечатление своей добротой, незлобливостью, всегдашней готовностью помочь товарищу; не прочь он был пошкольничать, устроить какую-нибудь невозможную шалость. Легкомыслие сослужило ему недобрую службу, превратив его из либерала в ярого консерватора, в квасного патриота. Крестовский был настоящий поэт, мастерски владел стихом, мог в любое время сказать экспромт, но пренебрегал этим даром, не придавая ему никакого значения, не развивая его. Быстро загорясь при виде красивого уголка природы или смазливенького женского личика, под впечатлением переживаемого счастливого момента, Крестовский так же быстро набрасывал на первом попавшемся клочке бумаги стихи и нередко потом забывал о них.

Я помню, на похоронах артиста А. А. Мартынова он вдруг вдохновился и стал декламировать строфу за строфой. Стихи были сильные, с огоньком, с большим настроением. Окружавшие Крестовского более юные писатели просили его непременно записать это стихотворение, для чего кто-то забежал в табачную лавочку купить карандаш и бумаги. Крестовский исполнил просьбу: придя на кладбище, он аккуратно сложил лист и, не торопясь, написал стихи. Они переходили

из рук в руки и застряли у какой-то красивой блондинки... да так и погибли.

Перед поступлением в уланы Крестовский деятельно предавал огню разные свои рукописи, наброски стихов, рассказов и оставлял только материалы для своего пресловутого романа «Петербургские трущобы» [21].

IV

Из легенд о Бестужеве-Марлинском.

Когда мы всей семьей собирались за вечерним чаем у большого круглого стола в зале нашего деревенского «дедовского» дома, отец занимал нас рассказами о своей службе, о своих встречах и приключениях. Старый моряк черноморского флота, уроженец Петербурга, выросший в доме дяди своего В. Н. Титова, причастного к литературе, друга Пушкина, того самого Титова, у которого собирались корифеи «российской словесности», — отец больше всего любил рассказывать о декабристах, о баснописце Крылове, об издателе приснопамятной «Северной Пчелы» [25], Николае Грече, об авторе «Аммалат-Бека», «Муллы Нура» и других вещей во вкусе Вальтера Скотта, от которых приходили в восторг наши прабабушки, — Александре Марлинском, одном из братьев Бестужевых, примкнувших к декабристскому движению. Кое что из рассказов отца, придя в возраст, я успел записать, а многое и так, без записи, уцелело у меня в памяти. Помню, с каким увлечением рассказывал он о Марлинском, как восторженно отзывался о его уме, таланте, огромной начитанности, душевной чуткости, какою грустью звучал его голос, когда он вспоминал свою последнюю встречу с Марлинским в кают-компании на корабле и о том, как пропал он без вести в стычке при мысе Адлере, и как мало-по-малу стали складываться о нем разные легенды, построенные на его загадочной смерти, на его исчезновении [26].

— Кажется, давно ли перед этим мы мирно беседовали с ним о литературе, о его «Полярной Звезде», — говорил отец, — и вдруг человек пропал, точно сквозь землю провалился.

— И неужели его не искали? Неужели не удалось напасть на его след? — спрашивали мы, заинтересованные этим странным концом Марлинского.

— Искали, расспрашивали горцев, награду предлагали тому, кто доставит хоть какие-нибудь известия о пропавшем офицере, но ничего из этого не вышло. А желающих получить награду было много. Один линейный казак клялся и божился, что видел в горах офицера в бурке,

Бестужева, на красивом карабахском жеребчике. Офицер ехал и пел громкую песню, но, когда встретился с казаком, мгновенно повернул коня назад, прокричал скороговоркой: «Скажи нашим, пусть меня не ищут, я им теперь чужой», — и быстро ускакал. «Но почему ты думаешь, что этот офицер Бестужев?» — спрашивали казака. — «Помилуйте, ваше сиятельство, я ихнее лицо отлично знаю. У них большие черные глаза, густые усы, борода, и голос самый ихний, такой ласковый. Только после того, как их убили, — не моргнув глазом, продолжал врать предприимчивый казак, — они очень постарели, и половина их волосиков совсем поседела». Казака велели посадить под арест, и тогда он признался, что один незнакомый ему матрос подучил рассказать эту небылицу. «Потом, говорит, награду разделим пополам».

«Приходил и мирный горец и, покачав головой, говорил, что Искандер-бея (то есть Александра) искать нечего, потому что его уже нет в живых. И горец подробно повествовал о том, какой Искандер храбрый, как во время схватки с неприятелем он никогда не слезал с лошади и в пылу битвы нисколько отдалялся от своих. «И вот, — рассказывал горец, — казалось не замечая, что быстроногий конь Искандера помчал его далеко-далеко. Горцы поймали его, допрашивали долго о чем-то, а потом шашками изрубили его... Был при этом один пленный русский офицер. Он отрезал у Мархлевского мизинец, спрятал его, держал в спирту и, когда ушел из плена, захватил с собою и драгоценный мизинец»... Больше горец ничего не мог рассказать и протягивал руку за «благодарностью».

— Ну, а мизинец где теперь? Кому достался? — спрашивали мы отца хором.

— Вот в том-то и штука, что мизинца нет. Говорили, будто офицер потерял его и от этого сошел с ума. А спустя года три-четыре история мизинца снова всплыла. Рассказ горца вырос от передач одного другому, как снежный ком. Находились даже очевидцы, утверждавшие, что видели собственными глазами этот палец, чудом сохранившийся, и таинственно прибавляли, что сам Бестужев отрубил его и послал на память друзьям, оставшись в Дагестане, где он будто бы совершает разбойные набеги в горах, позабыв себе шайку головорезов. Фантазия увлекла рассказчиков очень далеко, и я сам присутствовал при рассказе одного очень важного офицера-кавказца, который целый вечер развлекал своих слушателей легендами о Мархлевском. Какой-то казак будто бы клялся и божился ему, что видел Александра Бестужева в богатой сакле, что у него жена-красавица, за которой он взял хорошее приданое, и что он по секрету выкупает наших пленных, а они этого и не подозревают.

Передавая нам эти измышления, отец страшно волновался: он снова переживал это время, все толки о Марлинском, которого досужая фантазия людей, не имевших никакого понятия об этой светлой личности, то изображала абреком, с горстью головорезов участвовавшим в рукопашной схватке и выходившим из нее здравым и невредимым, то, после мнимого бегства, его ставила в ряды наших войск под командой генерала Головина в Салатавской экспедиции 1839 года, то есть после того, как его уже и на свете не было, наконец, назначала главнокомандующим у самого Шамиля, который шагу без него сделать не мог. Эта досужая фантазия умудрилась даже отыскать какого-то разносчика, который забрел к лезгинам и в одной богатой сакле встретил русского, доброго и приветливого. Он купил у торговца весь товар, дал ему провожатых и записку, велел показать главнокомандующему нашей армией. И главнокомандующий прочел эту удивительную записку, которую послал затем с фельдъегерем некому высокопоставленному лицу. Вот что она гласила: «Я в плену. Меня зорко сторожат. Я опутан какой-то сетью. Но мне хорошо, меня ласкают и лелеют; у меня пять жен. Вере отцов моих я не изменил и продолжаю любить родину. Я написал большое произведение, которое даст мне славу и заставит побледнеть моих врагов. Привет братьям и всем, кто в счастье не забыл подневольного изгнанника Александра Бестужева». Разносчик был вытребован куда следует; ему выдали солидную сумму на дорогу и приказали вернуться в Лезистан и вручить Бестужеву запечатанный пакет. А в пакете на листе бумаги написано было всего несколько слов: «Александру Бестужеву не сметь возвращаться до полного покорения Кавказа, иначе он сгниет в крепости».

— А вот еще что приходилось мне слышать, — рассказывал нам не без раздражения отец. — Когда наши суда стояли у Сухум-кале, с нами познакомился и бывал у нас один из местных старожилов, кажется, звали его Транквилевским. Ему пришлось встретиться раз или два с Бестужевым и долго беседовать с ним, и он вынес такое впечатление из этих свиданий с нашим романтиком. Бестужев, по его мнению, при всем блестящем уме своем и любви к родине, к русской старине, способен был на сильные, сумасбродные увлечения. Отчаянно голову, с редким геройством он готов был ринуться на врага и так же стремительно вступиться за женщину, хотя бы она и не стоила его заступничества. Блестящий гвардеец, отдававший щедрую дань рассеянной светской жизни, Александр Бестужев вдруг до того увлекся идеями Рылеева и кружка друзей, стоявших в оппозиции, что и сам примкнул к декабристскому движению... Пошел в кару, провел восемь

месяцев в Петропавловской крепости, будучи сослан в Финляндию, далее в Якутск, а затем переведенный рядовым на Кавказ, он и тут со свойственным ему увлечением отдался весь кипучей деятельности и в особенности показал себя в стычке при мысе Адлере. При такой склонности к увлечениям, Бестужева, по словам сухумского старожила, могло потянуть к привольной своеобразной жизни горских племен... Может быть, тут примешалась и женщина... И сухумский старожил высказывал предположение, что Бестужев, будучи ранен, попал в плен, а затем и остался в горах, считаясь без вести пропавшим... Сухумский старожил добавлял к этому, что много лиц из разных слоев общества утверждали, будто им приходилось встречать русского, который был образован, умен и среди горцев считался своим человеком, и что они называли его Искандером. И с этим сухумским старожилом, — говорил нам отец, — спорил чуть не до ссоры, но он все-таки стоял на своем твердо и продолжал утверждать, что Бестужев был слишком увлекающийся человек, и что он не погиб на войне, а умер своей смертью среди горных орлов.

Отец совсем взволновался при рассказе о встрече своей с сухумским старожилом, о том, какое обидное предположение высказывал этот «злой человек», и от волнения умолк на весь этот вечер. Спустя несколько дней он вновь, даже без нашего напоминания, вернулся к Бестужеву-Марлинскому. Но, прежде чем начать свой интересный рассказ, он прошел в свой кабинет и принес оттуда несколько книжек небольшого формата, с прелестной виньеткой, на которой изображена была лира в облаках с повешенным на ней венчиком и с яркой звездой вверху, бросающей лучи. Сверху лучей мы прочли сделанное полукругом заглавие: «Полярная Звезда».

— Первую книжку подарил мне сам покойный Александр Александрович, — сказал мне отец, — а остальные я лет через семь или восемь совершенно случайно нашел на чердаке моей квартиры в Севастополе. Посмотри, что написано на книге внутри обложки.

Отогнув листок плотной бумаги, приклеенной в обложке для сохранности написанного, я прочел:

Тоска мне душу обовьет,
Как птичке сирой без гнезда...
И мне вовек не засияет
Моя померкшая звезда!

А внутрь книжки был вложен лоскуток синеватой, с водяными знаками, бумаги, на котором характерным размашистым почерком Пушкина была изображена довольно мало известная его восьмистишие:

Не рано ль ахнула Европа?
Не велика еще беда:
От петербургского потопа
Спаслась «Полярная Звезда».
Твой, Александр, ковчег на браге!
Парнаса ясны высоты,
А в благодетельном ковчеге
Спаслись и люди, и скоты! [27]

Листок этот подарил отцу моему родственник его матери, моей родной бабки, рожденной Бердеревской, писатель 40-х — 50-х годов, отчасти поэт, автор книги «Плен у Шамиля», Евграф Петрович Бердеревский. Отец очень дорожил этой книжкой «Полярной Звезды» с автографами Пушкина и Бестужева и хранил ее вместе с остальными книжками в секретном ящике своей старинной шифоньерки.

Отец долго возился, укладывая драгоценные книжки, и, вернувшись, сказал:

— Я не стану передавать вам те мелкие, одну на другую похожие, легенды, которые приходилось слышать и мне, и многим моим товарищам по службе и знакомым. Все эти легенды сводятся к тому, что Бестужев остался жить на Кавказе и возвращаться в Россию не желает из боязни наказания за старые прегрешения; но зато я расскажу вам историю, слышанную от одного старика, не то итальянца, не то грека. Это был почтенный, весьма серьезный и внушающий к себе большое доверие человек, лет шестидесяти с лишком, отставной военный, совершивший немало походов в 20-х и 30-х годах при усмирении непокорных горцев. По его уверению, он знал Бестужева превосходно. Восторженностью, почти благоговением дышали его рассказы о бесследно исчезнувшем писателе. Где-то у меня записана фамилия этого офицера, как я уже сказал — итальянца или грека, а сейчас я ее вспомнить не могу. Да и не в этом дело. Как-то осенью 1831 года русские войска пришли в Табасарань, чтобы стереть с лица земли один из аулов, постоянно нам грозивший, нечто в роде горской штаб-квартиры. Наш отряд расправился с ними быстро. Огонь сделал свое дело, и к ночи казаки с трудом тащили в лагерь богатую добычу, оставленную беглецами: кто тащил богатейшие ковры, кто навьючил на выносливого коня два роскошных седла и несколько шашек, кто волочил с полдесятка бурок и одежды и пр. Казаки со всем этим «благоприобретенным» обходили палатки офицеров и навязывали им всякую всячину, от кинжала до бурки.

«Бестужев купил новехонькую, чудную бурку, по свойственному ему великодушию, заплатил за нее щедрее других и вдруг приметил, что пола бурки чуть-чуть надорвана. «Экая досада!» — сказал он

казаку: — кто-то ухитрился разрезать ее или зацепить за что-то острое... Ведь бурка крепкая!» — «Никак нет, вашескородие. Это пес проклятый сделал прореху зубами!» И казак подробно рассказал, как в одной сакле возле убитого «неприятеля» сидела на этой самой бурке обезумевшая от ужаса и горя десятилетняя девочка, а у ног ее растянулся злющий-презлющий пес, который бросился на казака, когда он стал вытаскивать из-под девочки бурку, и ухватился зубами за ее краешек, и как хотел этот казак прирезать и «басурманку», и собаку, да некогда было...

«Казак и докончить не успел этого повествования, как Марлинский бросил рассказчику еще червонец и велел казаку вести себя в полуразрушенную саклю, отстоявшую от квартиры Марлинского очень далеко. С ним отправился и очевидец всего этого, офицер с греческой или итальянской фамилией. Тяжелую картину увидели вошедшие в саклю. У самого входа ее, почти на пороге, близ обуглившейся двери, лежал раненый в шею и голову, уже посиневший, полураздетый горец. Громадная лужа крови возле трупа еще не успела впитаться в землю, и ею была забрызгана сидевшая с собакой девочка. Ребенок сложил руки на груди и взором, в котором светилось отчаяние, молил вошедших о пощаде, а собака неистово лаяла, но от девочки не отходила. Марлинский бросил пару сухарей собаке, но она не притронулась к приманке и продолжала рычать и визжать, пока девочка не сказала ей несколько успокоительных слов. И после этого ребенок вдруг протянул руки к Марлинскому. А тот подхватил ее, окутал буркой и сказал девочке по-персидски — он превосходно владел этим языком, — что не сделает ей зла, чтобы она не боялась. Собака, слегка подвывая, поплелась за уходившими.

«Марлинский всю дорогу нес девочку на руках; она доверчиво прижалась к нему, гладила его шею и щеки, мокрые от слез, и без конца лепетала ему: «Добрый рус, хороший!» Ребенок инстинктом понял чудную, благородную душу своего спасителя, его мягкое, на редкость благородное сердце.

«Вернувшись к себе, Бестужев поселил девочку и собаку, верного ее сторожа и друга, у своего товарища, свидетеля этого удивительного происшествия. Девочку окрестили и нарекли Ниной, именем просветительницы Грузии. Александр Бестужев горячо молился в день ее крестин и клялся, что для Нины он будет самым нежным отцом и на ней основывает все свое счастье. И действительно, его заботы о Нине были изумительны: привязался он к ней всеми силами души, лелеял ее, баловал всячески, а когда ее крестного отца, офицера с итальянской или греческой фамилией, назначили на какую-то долж-

ность в Дербент, и Бестужев должен был поневоле расстаться со своей приемной дочерью, он страшно тосковал и за день до разлуки с ней осунулся, побледнел до неузнаваемости и всю ночь не смыкал глаз. Она уже умела читать и писать по-русски, а в тетради своей для чистописания всего чаще выводила каллиграфически: «Любимый отец мой Александр», варьируя эту фразу до бесконечности. Бестужев часто приезжал в Дербент, привозил ей кучу подарков и, несмотря на всю свою замкнутость, признавался крестному отцу Нины, что его чувство к ней растет с каждым днем, что любит он ее больше жизни и все меньше любовью отца... И так промелькнуло шесть лет. Бестужев в дни приезда к Нине все сильнее и чаще задумывался.

«Однажды приехал он пасмурный и на себя не похожий — сердитый, неласковый. Сухо поздоровался с Ниной, слегка оттолкнул любимую собаку, ползавшую у его ног, и скоро ушел в свою комнату. Целую ночь он что-то писал, что-то жег, вскакивал со стула, мерил комнату учащенными шагами. И Нина и ее крестный отец не спали, страдая за него. А когда, истомленные, они задремали и с первыми лучами рассвета проснулись, стали вслушиваться, что делается в комнате Бестужева, их поразила мертвая тишина, царившая в ней. Не сговариваясь, они на цыпочках подошли к его двери, приотворили ее и остолбенели. Комната была пуста... Масса сожженной бумаги валялась в разных местах — и только. Никакой записки не было. Марлинский исчез невидимкой, исчез навеки... Нина в тот же день сошла с ума, а собака тоже куда-то бесследно скрылась».

V

Г. Е. Благосветлов. — Мое первое знакомство с ним. — Его сотрудники: Шеллер, Писарев, Шелгунов, Минаев. — Его трудоспособность. — Черты и особенности его характера.

Александр Степанович Афанасьев-Чужбинский, вернувшись из своей поездки по Днепру и по Днестру, писал моему отцу:

«Передайте сыну вашему, юному моему другу, что когда он приедет в Петербург и меня там не застанет, пусть разыщет хорошего человека и потолкует с ним о своих будущих работах. Хороший человек — это Алексей Егорович Разин, писатель для детей, которого, кстати сказать, «мой юный друг» чуть ли не обожает за его повести и статьи по естествоведению. А кроме того, пусть посетит Благосветлова, редактора «Русского Слова». Он покровительствует молодежи, и знакомство с ним будет очень полезно для юноши, желающего трудиться и выступать в литературе. Благосветлов прост, никаких рекомендательных

писем к нему не надо. Он даже и недолюбливает их. К нему надо притти и самому отрекомендоваться, объяснить ему, в чем дело, не пускаться в длинные разговоры. Теперь он работает за пятерых, так как ему необходимо поставить «Русское Слово» на надлежащую высоту, чего этот энергичный и упорный человек, клянусь, достигнет. И поэтому утомлять его многоглаголанием положительно не следует. Что ему нужно знать от обращающегося к нему, он узнает сам, ловко наведет на это. И тут же решит — исполнить ему просьбу, или нет. Ему всего лет тридцать пять — тридцать шесть, а уж людей он научился узнавать. Опыта у него достаточно, так же, как и проницательности. Привет юноше и пожелание доехать до Питера без приключений. Пусть капризная госпожа Удача дарит его улыбкой».

Меня очень тронула эта заботливость моего крестного литературного отца, но знакомиться с Благосветловым мне не было нужно, так как я, хотя заочно, уже познакомился с ним по письмам его ко мне, когда я обращался к нему с просьбой о некоторых книгах по естествознанию. Благосветлов выслал мне просимые книги и еще добавил кое-что по своему выбору. Одобрил мое стремление поискать счастья в Петербурге, при чем прибавил, что «счастье — в нас самих и состоит в разумном труде и выполнении принятых на себя обязанностей». Письмо было, конечно, деловитое, слегка наставительное, но не сухое. Я храню его, как память о человеке, которого я не мог забыть, как моего учителя и неизменного вера в литературной области. Не мог я его забыть и потому еще, что он сделал мне много добра, выказал массу доверия. В заключение письма своего он просил меня за книги никаких денег не высылать. «Расчтемся после, а вам деньги на поездку нужнее (каждая копейка), чем мне, сидящему на месте и привыкшему ко всяким неожиданностям в жизни», — говорил он.

По приезде в Петербург, я сразу завертелся, посещая знакомых отца моего, его товарищей по Морскому кадетскому корпусу, — между прочим, Степана Степановича Лесовского, впоследствии морского министра, — которым я передал письма «старого морского волка», как величали его эти товарищи. Из них мне особенно памятен Лессовский, обласкавший меня и в свое время, спасший меня от «не столь отдаленных мест», когда, по желанию Третьего отделения, я должен был покинуть столицу.

Чубинский помогал мне и делом, и советом, доставал мне литературную работу. На скромной вечеринке у Гиероглифова он же и познакомил меня с этим видным представителем нашего радикализма.

В донельзя накуренном кабинете хозяина шел ожесточенный спор о еврействе. Двое сотрудников «Отечественных Записок» времен

С. С. Дудышкина, сотрудников Краевского [28], издателя «Библиотеки для Чтения» Д. Ф. Щеглова [29] и кто-то из «С.-Петербургских Ведомостей» доказывали, что евреи отличаются непримиримостью, узким эгоизмом, политиканством и к высокой культуре не способны. Представитель нашего радикализма восставал против такого обвинения, называл его средневековым, сыпал цитатами из сочинений известных мыслителей, нередко сбивал с толку, ошеломлял неожиданным вопросом «нестепеновцев», как называли тогда умеренных либералов. Он шагал из угла в угол, слегка напоминая маршировку и отчасти походку великовозрастных семинаристов, и, как шахматист М. И. Чигорин, играя с целой вереницей своих партнеров, порывисто подходил то к одному, то к другому из спорящих. Он был большого роста, широкоплечий, с умными, злыми глазами, гладко выбритым лицом, на котором выступали кое-где красные пятна, и густыми, с достаточной проседью волосами; широкий лоб говорил о незаурядном уме, густые нависшие брови — об энергии и нравственной силе. В его речах было много резкого, задорного, насмешливого. Он вдруг оборвал спор, процедил сквозь зубы презрительно: «Филистеры» и тем же размеренным шагом вышел из кабинета.

— Кто этот такой?—спросил я скучавшего в ожидании «пульки» Чужбинского. Радикал как раз в это время входил в маленькую комнату, где мы сидели.

— А вот я вас сейчас познакомлю, — сказал Чужбинский. — Это писатель журнала, в котором, может быть, со временем и вам что-нибудь очистится...—И подведя меня к радикалу, сказал:—Григорий Ксаверьич, позвольте представить вам молодого библиографа, который, впрочем, и стихи пишет...

— Благочестиво! Очень рад. Библиография хороша, как прикладное знание, а не как «искусство для искусства»! — воскликнул он. — А память у вас изрядная? Без нее ведь шагу нельзя сделать библиографу...

— У него удивительная память!—с какой-то гордостью ответил за меня Чужбинский.—У него много карточек...

— А, тогда попрошу вас!—сказал просто и добродушно Благочестивов. — Где была моя статья об известной авантюристке Лоле Монтез? Где я писал о современном направлении русской литературы?

— В «Иллюстрации» Зотова [30] и в «Общезанимательном Вестнике» [31], — быстро отчеканил я, точно отвечал урок. — У меня, Григорий Ксаверьевич, занесено на карточки все, что вы до сих пор написали... Кроме неподписанных статей в «Русском Слове».

— Зайдите как-нибудь ко мне и увидите. Кстати, я вам и работу дам... Две работы: мне нужно привести в порядок мою библиотеку, а потом ряд статей по еврейскому вопросу, хотя бы наиболее крупных... Можно включить сюда даже перечень выдающихся беллетристических произведений, знакомящих с еврейским бытом, например, Рабиновича, даровитого беллетриста и публициста. Вы что-нибудь читали из его вещей?

— Как же! Осип Аарлович Рабинович мне хорошо известен. Его «Штрафной» в «Русском Вестнике» и «Наследственный подсвечник» в «Рассвете», его собственном журнале [32], — яркие вещи и мне нравятся, а роман «Калейдоскоп» у нас в «Русском Слове» написан слабее, слишком растянут...

— Не стану спорить против этого, — ласково сказал Благосветлов и, повторив приглашение побывать у него, простился и уехал.

Недели через три после моих визитов к моряким и после того, как я уже поместил кое-какие пустяки в разных еженедельниках, до «Искры» включительно, я направился к Благосветлову.

На дому я его не застал, и меня послали в типографию на Колокольную улицу. В передней конторы я увидел уже знакомую мне высокую, прямую, как трость, фигуру, с бритыми красно-синими щеками, подстриженными усами, короткими, слегка вьющимися волосами и неприятно блестящими глазами, устремленными из-под густых темных бровей на собеседника. Одет Благосветлов был очень просто, его темный пиджак был немного потерт, но сидел, как вылитый; голову держал он высоко, манерами напоминал отставного бурсака и, когда говорил, беспрестанно теребил усы. Но все в нем было полно достоинства.

— Меня, — сказал я, — направили сюда из нашей квартиры.

— Ах, я припоминаю вас. Мы встретились с вами у Гиероглифова... Прекрасно. Не будемте стоять на крыльце. Идемте, и дорогой вы мне расскажете подробно, на что именно я вам нужен.

Сказал он мне это приятным баритоном с басовыми нотками, но своей неожиданной сухостью и деловитым тоном он как-то неприятно меня озадачил. Я немного оробел и, чувствуя, что краснею, пробормотал:

— При первом нашем свидании я не сказал вам, мне это казалось неудобным, но теперь напомню вам...

С этими словами я быстро вынул приготовленное письмо, которое Благосветлов писал мне в деревню, и дал ему, продолжая:

— Мне Чужбинский писал, чтобы я не был болтлив с вами, как с человеком очень занятым и усталым... Я уже кое-что напечатал. Два рассказа. Хочу дальше идти, работать, получивать деньги

по зоологии у Брандта, заниматься историей литературы, библиографией. Ищу работы, хочу, чтобы вы дали мне хороший совет. Я дорожу вашим мнением.

Все это я выпалил залпом — и ждал. Благосветлов пробежал свое письмо и, слегка улыбаясь, сказал:

— Когда я писал это, я был здесь занят, надо было написать обстоятельнее, толковее. А здесь у меня общие места. Поговорим дома. Приглашаю вас на скромный, хотя и сытный обед... Что у вас делается на Юге? Как готовятся к освобождению крестьян? Есть ли порядочные люди? Хорошо ли знакомы с «Русским Словом»? Замечают ли в нем перемену?

Он задавал мне вопросы, а сам при моих ответах не спускал с меня глаз, что называется, пронизывал меня насквозь.

— Если вам предстоит когда-нибудь быть журналистом,—сказал он с большим воодушевлением,—отдавайте силы, здоровье и всякие удобства на борьбу с тлетворным равнодушием общества, но не унижайтесь до угождения ему. Упрямо ведите за собою и, главное, верьте успеху вашей миссии... Изучайте технику, азбуку журнализма... Я умею не только излагать свои мысли, но умею набирать и держать корректуру... Всю науку печатного дела прошел еще до поездки за границу и там тоже учился... Сам научу вас корректуре, и вы будете работать у меня. Довольны вы? — сказал он мне с улыбкой.

У Благосветлова бывал я часто, перезнакомился почти со всеми его сотрудниками: с Писаревым, Мордовцевым, Марко-Вовчком, Лохвицким, Полонским, Водовозовым, Ф. Г. Толлем (беллетристом, составителем энциклопедического словаря), Шашковым, Н. Ф. Бажиным.

«Русское Слово» было приостановлено в 1862 году. Я расстался с Благосветловым, и мы сблизились с ним уже после моего изгнания, когда я вновь вернулся в Петербург, застав Григория Евлампиевича тем же чернорабочим в основанном им «Деле», каким он был и в «Русском Слове».

После небольшого перерыва я стал усиленно заниматься библиографией и отчасти окунулся в поэзию. А. К. Шеллер охотно печатал мои стихи в «Деле», где заведывал беллетристическим и другими отделами, но Благосветлов зачастую приделывал свои концы к стихотворениям, если они не удовлетворяли его в отношении мысли, лучше сказать — тенденции. Обижаться я не мог, потому что техника стиха у Благосветлова была безукоризненная: он прекрасно владел стихом и поместил когда-то еще в «Русском Слове» (за 1864 год) два стихотворных перевода: «На развалинах Помпеи» Леопарди и «Последний поцелуй» из Томаса Мура, под псевдонимами «Г. С—тлов» и «Н. Лукин».

Я помнил, как он без церемонии, исправил два стихотворения П. И. Вейнберга: «Дождливый день» из Лонгфелло и «Кумир» из Барбье — и, надо сознаться, к лучшему. Благосветлов знал несколько языков, английский и французский в особенности, был большим знатоком иностранной литературы, «изящной словесности». Он великолепно понимал дух произведений Теннисона, Мура, Лонгфелло, Барбье, Гюго, его любимых поэтов, и знал многие произведения их наизусть, декламируя на манер известного актера Мунэ-Сюлли.

Вспоминается мне, как после усиленной черной работы мы — Благосветлов, Шелгунов, Бажин и я — сидели в редакции «Дела» и вели разговор о сборнике Гюго «Les Orientales». Шелгунов похвалил переводы, сделанные из этой книги Шеллером.

— Есть итальянская поговорка: «il traduttore e traditore» (переводчик — изменник), — выразился Благосветлов, — и Александр Константинович — переводчик в таком духе... У него в переводах — бранье...

Незадолго перед тем Н. И. Шульгин и А. К. Шеллер сделались соиздателями Д. А. Карч-Карчевского по «Живописному Обозрению» и ушли из «Дела» [28], где первый состоял ответственным редактором, и Благосветлов злился на них, в особенности на Шеллера. К Шелгунову присоединился и я, оспаривая мнение Благосветлова. Он послал к себе за книгой Гюго и затем нашел в «Деле» перевод Шеллера «Горе наши». Благосветлов читал куплеты подлинника, я — перевод. Он оказался блестящим. Сравнили еще несколько стихотворений — и Шеллер был оправдан.

Благосветлов заволновался, извинился перед нами, что оставляет нас на время, ушел к себе наверх и вернулся, держа в руках листок почтовой бумаги.

— На ваше одобрение, — произнес он немного дрожащим голосом и прочел:

«Александр Константинович! Вам известна моя честность и безграничная любовь к правде, чем я в праве гордиться. И я в силу этого вынужден, каковы бы ни были наши отношения, написать вам эти покаянные строки. Час тому назад я бессовестно бранил вас, как переводчика стихотворений, в присутствии близких мне лиц: Быкова, Бажина и Шелгунова. Сильно заспорив, мы решились сравнить наши переводы из Гюго с оригиналом. Они превзошли мои ожидания, они — превосходны. Проклятая работа по горло в течение многих лет (вы это хорошо знаете) мешала мне любительствовать, насколько верно вы переводите, и я позволил себе судить о вас, как о переводчике-«traditore». Глубоко огорчен и приношу повинную».

Письмо было немедленно послано с посыльным в редакцию «Живописного Обозрения», на Пушкинскую улицу, для вручения Шеллеру, который при свидании с ним позволил мне снять копию с письма для моего литературного архива.

Случай этот, однако, не помешал Благосветлову впоследствии бесцеремонно укорять Шеллера, говорить, что в круг воспитания его входило сидеть по целым вечерам в «Буффе», что он безвкусен, и так далее.

В эту пору моего знакомства и общения с Благосветловым я видел, как он стал злоречив, как смотрел сверху вниз на людей, не выключая и дорогих ему имен или лиц, ему очень нужных. Припоминая годы своего пребывания за границей, жизнь у Герцена, когда он, в исходе пятидесятых годов, был преподавателем его детей, Благосветлов не мог утерпеть, чтобы не распространиться о барских наклонностях автора «Кто виноват», о его чревоугодии и так далее.

— Хороший работник, честный писатель Николай Федотыч, — говорил Благосветлов о Бажине, помещавшем свои повести и рассказы в «Русском Слове» и «Деле» в течение лет пятнадцати, сперва под псевдонимом Холодова, — только бы ему талантишка побольше и рассудка... А то большая часть его героев лежат и в потолок плюют от особенной идейности!

Очень одобрял он и другого своего верного сотрудника — Серафима Серафимовича Шашкова, но не без раздражения замечал, что его манера выражаться напоминает манеру завсегдатаев домов терпимости. Благосветлов стонал и охал, выправляя в корректуре его статьи. Помню, как мы вместе работали над его очерком «Женщина и роскошь во Франции». Благосветлов черкал целые страницы этой статьи и, вместо них, сам исписывал листы. Он был необычайно ревнив к этой работе. Терпеть не мог недомолвок, допускал их лишь вследствие цензурных условий, и вот кто уж свято блюл слова поэта, чтобы «словам было тесно, а мыслям просторно»!

О двух только лицах отзывался он без тени критики, без малейшей иронии: о Николае Васильевиче Шелгунове и Петре Лавровиче Лаврове. Относительно первого Благосветлов не был ни в чем виноват и одинаково любил его всегда, во все тяжелые моменты своей жизни, когда цензура держала дамоклов меч над «Делом», и когда Григорий Евлампиевич разражался по отношению к другим. Посещая меня особенно часто перед отъездом своим за границу и делая мне множество поручений по журналу, редактором которого я тогда состоял, вручая мне целые листы распоряжений относительно литературного материала и вообще ведения журнала, Благосветлов каждый раз

просил меня беречь Николая Васильевича и следить, чтобы он не работал до переутомления, и прибавлял при этом, «чтобы Шелгуниха, — как называло большинство жену Николая Васильевича, — не тревожила его в редакции долгими визитами».

Отдавал он должное и Жакляру, который вел в «Деле» политическое обозрение под псевдонимом «Жюль». Это был очень остроумный собеседник, бывший коммунар, женатый на беллетристке А. В. Корвин-Круковской, родной сестре С. В. Ковалевской, известного математика, душа редакторских обедов Благосветлова, на которых присутствовали очень часто лица, чуждые журналу, не дававшие в него ни одной строчки, в роде Михневича, плотно обедавшего и почти тотчас уходившего после обеда.

Приехавший из Швейцарии К. М. Станюкович (он жил одно время довольно долго в Кларане) на одном из этих обедов затеял очень бестактный и бесцеремонный разговор с Благосветловым о гонораре переводчикам-эмигрантам, работавшим в «Деле» (и присылавшим достаточно плохие переводы,—замечу кстати). Станюкович горячился, но спокойный и разумный Благосветлов громко сказал: «Да поймите, что ваши эти сотрудники просто бездарны». Наступила минутная пауза, не совсем ловкая вначале, после такого нечерноземного довода, сразу прекратившего этот неприятный разговор...

Благосветлов был беспощаден к бездарностям и самомнящей посредственности, зато умел ценить и узнавать талант. Совсем юным пришел к нему Писарев, работавший до этого в «Рассвете», журнале для девиц, принес небольшую статью, и Благосветлову достаточно было пробежать эту статью, поговорить с автором, чтобы вполне понять, с кем он имеет дело.

Писарев ушел от Благосветлова в полном восторге от его приема, обласканный, с авансом в кармане. Благосветлов подарил ему несколько иностранных книжек из своей ценной библиотеки и пригласил сотрудничать в «Русском Слове», где, кроме критических статей, он поместил свой стихотворный перевод гейневской поэмы «Атта Тролль» и кое-что из прозы Гейне под псевдонимом И. П. Рагодина.

Писареву шел двадцать первый год, когда я впервые увидел его, зайдя в редакцию «Русского Слова», по приглашению Благосветлова. В прекрасном помещении редакции, в доме графа Кушелева-Безбородко, на Гагаринской набережной (впоследствии клуб художников), было очень людно. Не без трепета переступив порог большого щегольского кабинета, я увидел «корпуса ленивых капитана» Шелгунова и плотного господина в очках, в артиллерийской форме, оказавшегося Петром Лавровичем Лавровым: доктора-поэта, небезызвестного пере-

водчика Николая Степановича Курочкина, родного брата Василия Курочкина, издателя «Искры»; стихотворца-юмориста Дмитрия Минаева, личность крепенькую, отталкивающую, с разухабистыми манерами, с отрывистым голосом; черноволосого человека с молоком — поэта Всеволода Крестовского и еще каких-то писателей, из которых я узнал даровитого Иоакинфа Шишкина, знатока искусств, отличного компилятора-историка, страдавшего тем российским недугом, «которого причину давно бы отыскать пора», и павшего жертвой этого недуга, а также поэта Мея с его открытым русским лицом, обрамленным густой бородою.

Крестовский оживленно разговаривал с очень юным писателем, вся внешность которого сразу приковывала к себе внимание. Его красивое лицо, с чудными карими глазами, свежими пунцовыми губами, правильным римским носом, высоким, большим лбом, румянами, как у девушки, щеками, дышало здоровьем. Говоря словами Некрасова, оно было «словно рукой гениальной обточено» и просилось на холст. В манерах сквозили изящество, чарующая простота, так гармонировавшие с его безукоризненным костюмом, прекрасно облегавшим стройный стан юноши. Вся его фигура производила обаятельное впечатление, в особенности, когда на лице играла милая, почти детская улыбка. Без преувеличения скажу, что это лицо светилось вдохновением и умом.

Когда я подошел поздороваться с Крестовским, с которым давно уже был знаком, юноша встал, с утонченной вежливостью протянул мне свою изящную белую руку и сам представился мне:

— Писарев, — сказал он каким-то певучим, приятным голосом, в котором звучала доброта.

— Мой университетский товарищ... Кроток, как овечка... Ума — палата... и очень нравится женщинам, — добавил со свойственной ему развязностью Крестовский.

«И не только женщинам, но и мужчинам», — мелькнуло у меня в уме, потому что Николай Курочкин не спускал глаз с Писарева, словно пожирал его взором.

Далеко не посвященный тогда в закулисную жизнь литературного мира, я не понимал значения этого пристального взгляда Курочкина, но вечером того же дня один из моих собратьев по перу, что называется, «просветил» меня по поводу Николая Курочкина. Под страшным секретом сообщил он мне, что поэт-писатель, талантливый переводчик Бодлера и итальянских поэтов Джусти и Порта, превосходно образованный человек, довольно симпатичный, удивлял своими странными вкусами восточного характера... Курочкин сохранил этот

свой вкус-порок до конца жизни. Красивому мальчику, живущему у него, он без стеснения рассылал нежности даже при посторонних. Этот самый мальчик после смерти Николая Степановича ходил по редакциям и продавал его стихотворения.

Подвизавшийся Минаев,—переставший пить лишь незадолго до смерти, — без церемонии вышучивал в компании эту извращенность вкуса Курочкина.

Кстати о Минаеве. Писал он в «Русском Слове» фельетон в стихах и прозе под псевдонимом «Темного человека» и вел себя невозможно на ветеринках и редакционных обедах у Благосветлова, который только по необходимости терпел его, в качестве журнальной полезности. В шестидесятых годах «свистопляска» процветала. Был «Свисток» в «Современнике», процветала влиятельная «Искра», даже в журналах «постепеновцев» существовали отделы сатирико-юмористического характера. Мог ли Благосветлов, в виду требований публики, не завести у себя минаевского балаганчика, в котором борзописец развязно привлялся и не брезгал подчас даже и клеветническими приемами? Ему ничего не стоило забросать стихотворной грязью репутацию уважаемого, честного человека. Его можно было науськать на кого угодно. Это прекрасно знали, и в руках сметливых редакторов, не брезгавших низкими средствами для устранения своих противников или конкурентов, многоликий Минаев—у него была масса псевдонимов — являлся простою пешкой, которой можно было двигать, как угодно. И если Минаев, при его литературной нечистоплотности, не появлялся в консервативных органах, то лишь потому, что это было невыгодно, а вовсе не по убеждению. Те писатели из умеренно-либерального лагеря, которых он выменивал беспрестанно бессмысленно, были гораздо терпимее, либеральнее его, хотя бы по отношению к еврейскому вопросу. Слово «жид» не сходило у него с языка. Пьяный приходил он к тем, у кого работал, и при малейшем столкновении на почве акциов разносил своих патронов, как последний извозчик.

Работая в «Русском Слове», Минаев досаждал его сотрудникам, досаждал и самому Благосветлову, который пытался сломить разнузданного сатирика — и терпел неудачу. Минаев положительно угнетал его, а Благосветлов никакого гнета терпеть не мог, и чем был он сильнее, тем упорнее и сильнее Благосветлов давал отпор. Как то после попойки Минаев на другой день, на свет ни заря, явился к Благосветлову за деньгами.

— Не дам — пропьете! — сказал тот с раздражением. — Вы мне и так должны. Убирайтесь.

Минаев полез драться. Тогда Благосветлов огреб его, оттузил и с помощью своего шурика вытолкал на лестницу. А придя к себе, в свой рабочий кабинет, он сел к столу, закрыл лицо руками и плакал. В этом положении застал его Шелгунов, которому и удалось кое-как успокоить своего друга. «Благосветлов, — рассказывал мне Шелгунов, — был возмущен поведением Минаева, но еще больше разгорячился тем, что ему пришлось прибегнуть к такой расправе; он говорил, что это подло, гадко и некультурно».

Беспощадный и требовательный к окружающим, он еще беспощаднее и требовательнее относился к себе и после какого-нибудь необузданного порыва с своей стороны заболевал от огорчения. Только очень близкие друзья всегда догадывались о причине болезни Благосветлова.

Бороться из-за идеи он любил до самозабвения. Тут всякие препятствия, совершенно неожиданные подводные камни на пути, только разжигали в нем жажду борьбы, усиливали его энергию. И надо было удивляться, как он был вынеслив, терпелив, предприимчив, изобретателен. Не разгибая спины, он мог сидеть за работой десять-двенадцать часов в сутки, сглаживал, переделывал статьи, писал новые и торжествовал, если ему удавалось усыпить бдительность цензуры, провести излюбленную идею через цензурное чистилище. Однажды, после бессонно проведенной ночи за подобной работой, он, препровождая статью в комитет, исписал кругом целых три листа бумаги, давая объяснение по поводу этой статьи. И статья была пропущена цензором единственно благодаря энергичному и красноречивому объяснению. Цензор С—ий, что называется, восчувствовал, устыженный блестящими доводами объяснения, и энергично отстоял статью в комитете. Он сам повез Благосветлову разрешенную статью и рассыпался в комплиментах. Благосветлов грустно улыбнулся и ответил С—му, что объяснением своим недоволен, и что, если бы не бессонная ночь, он написал бы лучше...

Чем больше я узнавал Благосветлова, тем сильнее влекло меня к нему, к этому подвижнику протеста и борьбы, поразительно работоспособному труженику, почти просиживавшему за своей кропотливой работой, обожавшему свое дело. Три года скромно помогал я Благосветлову в его работе, и доныне храню сладкие воспоминания о нем, несмотря на то, что он был требователен и суров в те дни, когда злейшая цензура держала его в тисках, в страшном напряжении, иногда вспыхивая и смотрел сверху вниз на большинство сталкивавшихся с ним людей. Он был рабски предан своему журналу, засыпал с думою о нем, просыпался с теми же думами.

— Я вечно изображаю наседку, которая упорно сидит на гнезде и твердо знает, что птенцы ее вылупятся, — говорил он мне со своей красивой усмешкой.

В отношении трудолюбия, исполнения долга он желал, чтобы все походили на него, и думал, что все должны быть так же, как он, неутомимы и проникнуты своим долгом.

Его непримиримость, безапелляционность и прямолинейность оценок и суждений иных раздражали. Резкий, насмешливый, пронизывающий неприятно блестящими глазами, с непозволительно хлесткими словечками, Благосветлов не внушал к себе симпатий, порою даже производил отталкивающее впечатление, но стоило поговорить с ним, чтобы это впечатление скоро изглаживалось. Мне он нравился своей деловитостью, своим органическим чувством свободы, необычайной стойкостью своих убеждений и последовательностью в качестве журналиста. За его ум, громадную эрудицию ему можно было простить и его отдававшие бурсою манеры, резкость тона, вспыльчивость, доходившую у него до геркулесовых столбов, нетерпимость по отношению к чужим мнениям. Он был глубоко убежденный человек, неуклонно, с редким упрямством ведший свою линию, никогда не останавливающийся на полдороге в проведении идеи в жизнь. «Не признаю мертворожденной идеи, не приносящей плода, безрезультатной, предпочитаю умереть, чем замирать, как сурок», — постоянно твердил он нам, дружно работавшим с ним. Не мудрено, если противоречивые суждения злили его, раздражали. За его твердость, поразительную энергию, настойчивость, верность избранному им направлению его нельзя было не уважать.

Честный политический деятель, честный человек, безукоризненный семьянин, он пользовался уважением не только коротко знавших его, но и тех, кто с чужих слов рассказывал о нем всякие небылицы.

— Невозможный человек Благосветлов, — говорил один провинциальный журналист мне, редактору «Дела», — а все-таки я завидую, что вы близко около него стоите, работаете с ним... Как-никак, а его, как деятеля, нельзя не уважать... Это гигант по отношению к остальным пигмеям нашей журналистики.

И действительно, это был тип настоящего политического борца, идеального, честного публициста, всесторонне образованного, дерзкого, фанатика своих убеждений. Образцовый редактор, он работал неутомимо, без отдыха. Нередко весь дом спокойно спал, а он корпел до самого утра над чьей-нибудь статьей, перекраивая ее по-своему, в духе своего журнала, вставляя в нее целые абзацы. Он был прекрас-

ный стилист, терпеть не мог, если мысль не была ясно выражена не ярко.

— Нашу публику надо еще учить, школить, — говорил он членам редакции. — Не стесняйтесь, господа, ставьте точки над i, не жалейте красок, косой, косой натаскивайте публику на то, что ей следует знать и понимать... Если бы вы только знали, как она бывает нечутка, несообразительна, непонятлива!

С годами Благосветлов как-то угомонился, стал мягче, терпимее, От прежней вспыльчивости в нем остались одни неуловимые следы. Только невозможные цензурные стеснения приводили его иногда в неистовство. Михаил Николаевич Лонгинов, замечательный библиограф и достаточно бесстыдный порнограф, много испортил ему крови, когда, в качестве цензурного цербера, он, будучи начальником Главного управления по делам печати, с невероятным остервенением преследовал журнал «Дело», обещая закрыть его [24]. Что бы ни говорили враги Благосветлова, а я знаю одно, — что Григорий Евлампиевич был не фразер, а бесконечно, до фанатизма преданный общему делу человек, который ради него ставил на последний план свое здоровье, свой покой: он и в могилу лег преждевременно благодаря тому, что слишком близко к сердцу принимал все, что прямо или косвенно касалось его журнала.

VI

А. И. Рязин.— Первое с ним знакомство.—Литературная его деятельность.

...Было это очень давно. Александр Степанович Афанасьев-Чужбинский, еще во времена моих первых шагов в литературе, познакомил меня с удивительным человеком, писателем, влюбленным в свое дело, истинным просветителем юношества и народа. Красивый, видный, прекрасного сложения, высокого роста бородач, он сразу производил обаятельное впечатление. Умные, выразительные глаза светившиеся добротой, незлобивостью, взгляд немного исподлобья, ласковый, но и упорный, проницательный, таивший в себе какую-то магическую силу; приятный рот с такими губами, какие бывают обыкновенно у очень мягких, сердечных людей; большой открытый лоб, по которому проходили уже борозды, не особенно, впрочем заметные, — все это дышало чрезвычайной привлекательностью, располагало к себе, внушало доверие. Черты лица настоящего русского типа невольно бросались в глаза. Мне казалось, я уже видел где-то этого человека; он был в крестьянском зипуне и лаптях, но только не остри-

женный, а с большой косматой головой... и не с такими мягкими, вящими манерами, как этот необыкновенно симпатичный человек.

Когда Чумбинский знакомил меня с ним, бородач как-то радостно, радушно протянул мне руку и, улыбаясь, сказал:

— Разин, Алексей Егорович. Прошу любить и жаловать.

Я очень обрадовался этому знакомству с писателем, которого я уже давно «любил и жаловал» за его статьи научного содержания, самые разнообразные, а еще больше за его рассказы. Те и другие печатались в «Журнале для Детей» известного педагога М. Б. Чистякова, где Разин был деятельнейшим сотрудником и соредактором. Проникнутый всецело глубоким сознанием, что знание есть сила, Разин решительно по всем отраслям писал в этом превосходном издании. Тут были его очерки по географии, этнографии, астрономии, зоологии, ботанике, механике, истории, археологии, литературе, художественные этюды, картины из путешествий по разным странам мира, биографические очерки светил науки, литературы, искусства, разборы поэтических произведений. Обильную духовную пищу подрастающему поколению давал Разин в своем журнале и в статьях и рассказах «сеял разумное, доброе, вечное», трогал лучшие струны молодой души, пробуждал жажду правды, добра, красоты, внушал сострадание к обездоленным, и беднякам, высокое уважение к честным труженикам, к братьям земли родной и к тем, кто, по выражению поэта, «плугом мозга своего пашет умственное поле». Какими благороднейшими чувствами, какой человечностью веет от его мастерски написанных, полных жизни и значения, бытовых рассказов, каковы, например, «О моем приятеле Колоброде, который дальше своего носа ничего не видал», «Попутчики», «Птицелов», «Светлый луч», «Петро Аким», «Пожар в лесу», «Дедушка-гусенок» и другие.

В рассказах Разина нет предвзятой тенденции, при всей их идейности: их мораль вытекает сама собой. Быт, особенно крестьянский, он знал великолепно. Жизнь мужика, его тяготы, его слезы он видел воочию и горячо любил народ, верил в его мощь.

— Я сам, — рассказывал он мне во время одной из наших загородных прогулок в окрестностях Петербурга, — происхожу из крестьян. Мой отец был крепостным помещиков Владимирской губернии Шепелевых, но до некоторой степени мог считать себя образованным. Он вел дела своих господ по юридической части, в особенности касавшиеся знаменитых заводов, которыми владели Шепелевы. А мой дядя с материнской стороны, Горностаев, тоже крепостной, тех же Шепелевых, тот получил университетское образование и занимал место главноуправляющего всех шепелевских имений. Выиграв

какой-то процесс, он не без борьбы получил для себя, своей и нашей семьи «вольную». Но мой отец умер, не дождавшись свободы; моя матушка осталась без всяких средств и рада-радешенька была, когда дядя Иван Максимович взял меня к себе воспитывать и увез в Петербург. Мне было тогда одиннадцать лет, а до того я рос на свободе, сторонился богатых родственников матери и жил настоящим деревенским дикарем, проводя время с товарищами, ребятишками, на улице, бродил по полям и лесам, купался бесконечное число раз в день в реке, сторожил мужицких лошадей по ночам и рано понимать начал окружающее, прислушиваясь к рассказам стариков о крестьянской доле. В те годы я уже любил природу и чувствовал ее красоту, ее силу, ее влияние на человека. Отсюда-то мне так по сердцу эти строки стихотворения Боратынского:

С природой одною он жизнью дышал:
Ручья разумел трепетанье,
И говор древесных листов понимал,
И чувствовал трав прозябанье,
Была ему звездная книга ясна,
И с ним говорила морская волна...

Из этой беседы Разина не трудно было понять, отчего так живы его рассказы, такой правдой дышат они, и в них нет ничего измышленного, нет притянутой морали. Любовь к природе сказалась ярко в очерках Разина по естествоведению. Мне и до сих пор памятны многие из них, которые я читал в юные годы с таким увлечением, и которые вошли в сборник «Рассказы о животных и растениях», например: «Сила жизни в природе», «Физиономия растений», «Как проводят время перелетные птицы», «Тушканчики и табарганчики», «Жизнь и превращение комара», «Ядовитая жаба», «Муравьиные постройки», «Дрозд», «Полезные растения», и прочее и прочее.

Разин был удивительным педагогом, умевшим возбудить любознательность в подрастающем поколении, подействовать на ум и сердце молодой аудитории. Это видно во всем, что бы он ни писал. Долгое время была очень в ходу его книга — капитальный труд писателя «Мир божий», живая энциклопедия знаний, где многие статьи дышали настоящей поэзией, несмотря на их научный характер. Стоит прочесть там очерк «Птицы певчие» или статью «Небеса поведают славу божию», чтобы убедиться, сколько в составителе этой прекрасной книги было знаний, и какой пламенной любовью к природе и человеку горело его нежное сердце. «Мир божий», составленный для чтения воспитанников военно-учебных заведений, написанный по своеобразному плану, представляющему настоящий свод всех человеческих

знаний, произвел в то время сенсацию в литературе, возбудил много толков в педагогическом мире. То были дни расцвета пробужденного русского общества; прогрессивная печать проповедывала необходимость изучения естественных наук, их важное значение в воспитании юношества и общества, и «Мир божий» Галина являлся как нельзя более кстати. По его книге училась чуть не вся молодежь тех времен, и так сильно было впечатление от этой книги, что многие считали ее чуть не откровением. Дочь писателя слышала уже впоследствии от одного молодого врача, что он с детства решил избрать карьеру медика только потому, что прочел в «Мире божьем» удивительное описание головной водянки и разъяснение той пользы, какую может принести врач.

Нужно было хоть немного побеседовать с Разиным, чтобы увидеть, какой неиссякаемый родник богатых знаний представлял он собой. Эти знания он умел использовать в жизни: живя на своей маленькой дачке у станции «Любань» Николаевской железной дороги, Разин искусно и успешно лечил крестьян окрестных деревень, помогал им возводить разные постройки, выбирать места для колодцев и рыть их, вел судебные процессы темного люда. Когда я однажды спросил Алексея Егоровича, откуда у него столько самых разнообразных знаний, он ответил мне:

— По приезде в Петербург с дядей, я был отдан в третью гимназию, но там преподавали неважно, а у меня, как назло, ум был необыкновенно пытливый, и вот я стал работать сам над моим образованием. А в гимназии ничего не делал, пропускал уроки. Мне уже было лет шестнадцать, когда я попал в чудную семью гимназического товарища Зубчаниновa, образованную, трудолюбивую, всем интересующуюся, замечательную по своему высокому умственному уровню. Тут-то я духовно возродился, почувствовал непреодолимое влечение к знанию и засел за книги. С братьями Зубчаниновыми и еще несколькими молодыми людьми я организовал «Общество самоусовершенствования и самообразования», в котором каждый делился с другими знаниями и выбирал себе особую специальность. Я остановился на естествознании и медицине. Благодаря знакомым врачам, мне удалось поработать в клиниках и лабораториях Медицинской академии... Другим членам нашего кружка я обязан основательными знаниями из остальных предметов... Придерживался я всегда пословицы: «век живи — век учись».

Из дальнейших рассказов Разина я узнал о том, как ему приходилось плохо в материальном отношении, как хотел он ехать в Колу, Архангельской губернии, уездным учителем. Известный про-

фессор и писатель А. В. Никитенко отговорил Разина и обещал ему поддержку. Но Разин сам, благодаря своей энергии, пробил себе дорогу. В сороковых годах он стал работать в журнале «Финский Вестник» и других изданиях, вскоре познакомился с Михаилом Борисовичем Чистяковым, известным педагогом и писателем, стал преподавать в его частном пансионе и при содействии того же Чистякова получил место репетитора русского языка и словесности в Павловском кадетском корпусе. Всей душой отдавался он своему делу и в это время пришел к мысли писать для детей и народа. В 1850 году он вместе с Чистяковым основал «Журнал для Детей», где более пяти лет работал непрерывно и с редким усердием. Потом он недолго был редактором академического календаря и журнала «Труды Императорского Вольно-Экономического Общества», а затем, продав за бесценок права на издание своих сочинений опять книгопродавцу, удалился в свое имение в Новгородской губернии, где жил для других, делая массу добра.

Дальнейшая деятельность Разина протекала большей частью, так сказать, на моих глазах. Он сотрудничал в «Голосе», «Времени» и «Эпохе» братьев Достоевских, «Отечественных Записках», «Рассвете» В. А. Кременина, «Морском Сборнике», «Народном Чтении», «Грамоте», «Русском Мире», «Деле и Отдыхе» и других изданиях.

Известный государственный деятель — либерал Николай Алексеевич Милютин пригласил Разина на службу в Польшу для приведения в исполнение новых положений о крестьянах. По свойственной привычке всей душой и всем помышлением отдаваться принятому им на себя делу, Разин работал и здесь неутомимо и с увлечением. Местные крестьяне сохранили о нем самую светлую память.

Много статей Разина рассеяно во многих изданиях, преимущественно публицистических. Для детей он составил интересную иллюстрированную книгу: «Картины из русской жизни», где замечателен рассказ «В кусочки», изображающий оголодавших крестьян. Написал он и популярное руководство для сельских хозяев: «Почвы и хлеба». В 1861 году он редактировал журнал, издававшийся М. О. Вольфом, «Вокруг Света». Ему же принадлежит и умелая переделка сочинения Гофштеттера «Картины из истории земной коры».

В детской литературе известны его «Рассказы о природе и ее явлениях», «Исторические рассказы и биографии», «Путешествия по разным странам мира», «Открытие Америки, Камчатки и Алеутских островов», «Настоящий Робинзон», «Повести и рассказы для детей». Для народа он написал небольшую книжку «Откуда пошла земля русская».

Алексей Егорович Разин скончался 18 апреля 1875 года, 52 лет от роду. Всю жизнь неустанно работал он на пользу просвещения, на пользу горячо любимого им подрастающего поколения.

VII

Первая встреча с Достоевским.—Знакомство с ним.—Переписка с ним.—Неожиданное его посещение.

Это были шестидесятые годы, чуть занимавшаяся, еще мглистая заря нашей революции и начало моей литературной деятельности, когда я со всем усердием юности собирал материалы для моих библиографических работ. В этом деле мне тогда повезло, и однажды я с замиранием сердца шел в редакцию только что возникшего в тот (1861) год толстого ежемесячника «Время» братьев Достоевских, органа так называемых «почвенников», «почвенников» [25], с Аполлоном Григорьевым во главе, присылавшим свои критические статьи из Оренбурга и вдохновлявшим страстностью своей фанатичности собратьев по журналу.

Сердцу моему было отчего замирать: мне предстояло увидеть воочию ряд писателей, в особенности автора «Записок из мертвого дома», впоследствии «Преступления и наказания», и, наконец, я нес в редакцию переводный рассказ ради подкрепления моих слабых дел, из-за хлеба насущного.

Передо мной предстала целая галерея пишущего люда разных рангов. Был тут: Страхов, почти забытый теперь философ, ставший виновником закрытия «Времени» за его статью «Роковой вопрос» по поводу польского восстания [26]; Майков, «наш флотер-поэт», как окрестил его Анухтин; Алексей Егорович Разин, поэт-бородач Мей, тут же нервно набрасывавший стихи, чтобы немедленно пустить их «в обращение»; другой поэт — Федор Бер, высокий человек, напоминавший верстовой столб, с русской, слегка вьющейся шевелюрой, под пиджаком, достаточно потертым, носивший красную кумачевую косоворотку, как символ свободы, что не помешало ему стать потом ярым черносотенцем; Николай Курочкин, брат переводчика Беранже, врач-сатирик, буржуй в самом неприглядном смысле; еще один поэт, Анухтин, художник, золотушный юноша, и, наконец, Всеволод Крестовский, «мастер на все руки», принятый во всех литературных кругах.

На мое появление никто не обратил внимания, и я чувствовал себя очень неловко; заметил меня Разин и тотчас поспешил перезнакомить со всеми присутствующими.

— Потерпите немного. — ободрил он меня. — сейчас вон из той двери выйдет Федор Михайлович: пожалуйста, не робейте только... В случае надобности приду к вам на подмогу, — добавил он со своей доброй улыбкой.

И, наконец, я увидел его. Немного выше среднего роста, он смотрел старше своих сорока лет, шел сгорбившись и слегка переваливаясь. Порою казалось, будто он хочет налететь на кого-то и, точно спохватившись, замедляет шаги. Глаза его быстро перебегали от одного лица к другому. Толстая мрачная складка легла у него между бровей, густых, взъерошенных; губы как-то нервно подергивались. Бегающие глаза его остановились вдруг на мне. Я с большим трудом мог выносить его испытующий, можно сказать, пронизывающий насквозь, взгляд, от которого становилось неловко, даже как будто жутко.

— Это что? — спросил меня отрывисто Достоевский. — Статья? Рассказ?.. Не надо... Не надо... Довольно... У нас все есть...

— Я принес на ваше усмотрение перевод... С французского, из Амедея Ашара. — выпалил я скороговоркой. — Рассказ недавно напечатан в «Фигаро».

— Находка! Зачем нам? Даром время потеряли, — ответил, пожимая плечами, Достоевский и круто отвернулся от меня.

В это время Разин, обещавший притти мне на подмогу, поймал писателя и что-то горячо стал ему доказывать. Достоевский вернулся ко мне, снова пронзил меня испытующим взглядом, взял рукопись из моих дрожащих рук, погладил меня по голове, к великому моему изумлению и конфузу, и бросил на ходу:

— Придите через два дня.

Я занес в малейших подробностях описание и впечатление этой первой встречи моей с знаменитым писателем в мой дневник. Через два дня я пришел за ответом и узнал, что Разин много говорил обо мне с Федором Михайловичем, который принял мой перевод, участливо стал расспрашивать о Юге, о моей жизни в Петербурге и, наконец, дал мне рекомендательные письма к редактору еженедельного журнала «Русский Мир» и к кому-то из членов редакции «Русского Слова».

Получив работу в обоих изданиях, я отправился благодарить Достоевского и с этого времени стал бывать у него. Я позволял себе иногда, пользуясь его разрешением, приходить к нему без стеснения.

Знакомство мое с ним закреплялось все сильнее, и в один прекрасный день я попросил его продиктовать несколько данных из его жизни до и после каторги. Дав мне самые незначительные сведения о себе, он устно добавил:

— Я много страдал, страдаю и теперь от напуганий, от самых близких ко мне и от неудовлетворенности жизнью... Когда-нибудь продиктую вам много интересного и поучительного... теперь не пришло еще время... Жду давности. Пусть немного уляжется в сердце... Обещаю вам исполнить ваше желание... Напомните только мне о моем обещании. У меня очень слабая память, и я рассеян. Так вы уж непременно напомните.

И я напоминал... спустя целых пятнадцать лет, и не в Петербурге, а из прожинии, куда мне пришлось переселиться ненадолго в качестве подневольного переселенца. Проще сказать, меня выслали, но выслали в родные места, а не в отдаленные, благодаря знакомству с революционерами-шестидесятниками. Один из товарищей моего отца по Морскому кадетскому корпусу умело заступился за меня, и я очутился не в Архангельской губернии, а на Юге, на Украине. А до того печального времени, пока меня не выслали, я частенько напоминал Федору Михайловичу о его обещании, иногда очень настойчиво, и всегда получал один и тот же ответ, что «не пришло еще время», что «надо с силами собраться»...

Так мелькал год за годом. После вторичной женитьбы своей (кажется, в 1867 году) Достоевский уехал за границу, где провел около четырех лет [31]. По возвращении его с Запада, я очень редко стал видеться с ним, так как летние месяцы он проводил в Старой Руссе, в собственном доме, а зимою был очень занят, хворал и страшно нервничал. В коротких беседах с ним мне все чаще приходилось слышать его проникновенные рассуждения о всемирном братстве и правде народной, и бывали вечера, когда, беседуя на эту тему, он загорался особенным энтузиазмом, казалось, вещал, как древний пророк. Необыкновенным вдохновением дышал его облик. Недуг, подрывавший силы писателя, вынуждал его предпринимать поездки в Эмс, где он проводил почти все лето. Пришлось мне, наконец, исчезнуть из Петербурга и года три с лишним не видаться с Федором Михайловичем.

Ранней весной 1876 года, живя в деревне, я решил написать ему, напомнить о его обещании. Письмо вышло длинное, так как, хорошо зная рассеянность и забывчивость Достоевского, я должен был подробно упомянуть об обстоятельствах, вызвавших мое напоминание. Ответ последовал не скоро, и в нем Достоевский обращался ко мне, как к лицу незнакомому. Очень может быть, что, прекрасно помня меня петербуржцем, он подумал, что теперь имеет дело с каким-нибудь однофамильцем моим. От него этого можно было ожидать, несмотря на то, что в письме моем я спрашивал его, помнит ли

он один из чудных летних вечеров, когда я, по его любезному приглашению, приехал к нему в Старую Руссу, и мы, гуляя с ним в старом саду, примыкавшем к его дому, набрели на гнездо какой-то ночной птицы, взволновавшей Федора Михайловича своим отчаянным криком, что заставило его прекратить разговор и быстро удалиться из сада. Мне удалось очень картинно изобразить этот памятный мне вечер, когда Федор Михайлович, бог весть почему, настолько стал тогда нервен, что вынужден был даже прибегнуть к валериановым каплям.

На это место моего послания он не отозвался ни единым словом, несомненно — по забывчивости, о которой он упоминает в своем ответе. Он не раз впоследствии повторял мне про эту черту своего характера.

Вот ответ Достоевского полностью:

«Петербург, 15 апреля 1876 года. Милостивый государь Петр Васильевич! Простите, что долго не отвечал на письмо Ваше от 18 марта: или был занят, или недоверов. Благодарю Вас сердечно за ваши хорошие слова обо мне. Что касается до Вашего предложения прислать Вам мою точную биографию, то прямо Вам заявляю, что в настоящее время я к тому неспособен. Это возьмет у меня много времени и даже труда, и это для меня не так мало, как Вы думаете. Вследствие падучей моей болезни, которая, впрочем, почти уже меня не беспокоит, я отчасти потерял память и, верите ли, забыл (буквально — забыл, без малейшего преувеличения) сюжеты моих романов и лица выводимые, даже «Преступление и наказание». Тем не менее общую-то связь жизни моей помню. Не подписанные статьи мои хоть и были (критические во «Времени»), но я от них отрекаюсь. Но вот я могу Вам обещать: летом, в июне, я, вероятно, буду в Эмсе, где буду лечить мою грудь, и там составлю Вам мою биографию, — я такую, какой еще нигде не бывало, хотя и не бог знает какую длинную (в четверть листа печатных); напишу по-своему, так, как не пишут биографии литераторов в лексиконах. С этим материалом и сделайте, что Вам угодно.

«Биографию же брата моего не обещаю в полности, ибо наполовину не знаю, где и когда он напечатал иные свои вещи. Что до фотографической карточки, то ее у меня никогда не бывало. Есть какая-то в продаже, но не знаю, откуда она: я никогда не снимался, на меня совсем не похожая. К лету, однакоже, может быть, и сниму сь (многие пишут и просят), тогда и пришлю Вам. Прошу принять уверение в глубочайшем к Вам уважении Вашего покорнейшего слуги. **Ф. Достоевский**».

Федор Михайлович уверяет здесь, что никогда не снимался (до 1876 года). Тем не менее у известного писателя Александра Петровича Милюкова в 1866 году я видел фотографию группы писателей (А. И. Пальм, С. Ф. Дуров, А. П. Плещеев, А. П. Милюков и другие), где сидит и Достоевский. Николай Степанович Курочкин, принимая на себя редакцию «Иллюстрации», в 1862 году, просил Достоевского сняться в открытой тогда «светописи» художника Оже (кажется, первой в то время в Петербурге), и Федор Михайлович исполнил его просьбу. Эта карточка воспроизведена была в «Иллюстрации» и лет через пять в «Воскресном Досуге». Но лучше всего то, что дня через четыре по получении ответа Достоевского мне была прислана карточка Федора Михайловича, на обратной стороне которой стояла пометка: «Снято в 1861 году». Никакого письма при карточке не было. Предположив, что после этого Достоевский уехал в Эмс, я только осенью послал ему письмо в Петербург и спустя три месяца получил желанный ответ, пересланный мне в Петербург отцом из деревни, откуда мне уже дозволено было вернуться в столицу. Я приехал больным и собирался, оправившись, повидаться с Достоевским, а тут и получился пересланный мне ответ его следующего содержания:

«Петербург, 13 января 1877 года. Милостивый государь, многоуважаемый Петр Васильевич! Я не знаю, как и извиниться перед Вами в том, что не сдержал данного Вам мною обещания и даже не ответил на любезное письмо Ваше от 30 сентября. По последнему обстоятельству была причина, не знаю — достаточная ли, чтобы извинить меня в Ваших глазах. Дело в том, что с лета и почти вплоть до настоящей минуты я все время был гораздо более нездоров, чем когда-либо. И однако, работа с изданием «Дневника» (то-есть не с одним сочинением его, а и с изданием) оказывается, чем дальше, тем выше моих сил (физических). Сверх того было много хлопот и других. Не исполнив обещанного летом и получив Ваше напоминание в октябре, я решился непременно написать для Вас мою автобиографию, хоть урывками и в разные сроки. Вот почему и не ответил Вам ничего, ожидая, что хоть и поздно, а пошлю биографию и при посылке объяснюсь. Но, начав писать, я бросил работу, — урывками оказалось невозможно писать: я почувствовал, что эта статья вызывает слишком много сил из моей души, слишком поднимает передо мною прожитую жизнь и просит большей любви от моего сердца в исполнении этой, незнакомой еще мне работы. А потому не знаю, что Вам теперь и сказать. Если буду свободен и здоров, то напишу непременно, потому что уже сам хочу и потребность чувствую написать это, не по обещанию только, а и для себя.

но когда напишу — не знаю. Если же напишу, и Вам еще будет нужно, то, конечно, отдам Вам, а не кому другому.

«Ну, вот я и написал, а между тем чувствую, что Вы, без сомнения, имеете право на меня сердиться. Что мне делать? Будьте здоровы и извините меня. А в ожидании примите уверение в искреннем уважении Вашего покорного слуги. Федор Достоевский.

«Не рассердитесь на помарки в письме, не почтите за небрежность. Д.».

В коротенькой записочке я поблагодарил Федора Михайловича за этот ответ и известил его о моем возвращении в Петербург. И вдруг спустя два дня, вечером, в мою квартиру позвонил дорогой неожиданный гость. Он смотрел совсем стариком. Желтый, обрюзгший облик его не предвещал ничего хорошего...

— Наконец, — сказал Федор Михайлович, — я могу загладить мою вину перед вами: принес кое-что. Поговорите... и остальное к этим отрывкам передам вам, как могу, как сумею. Запишите теперь или после. Дело ваше.

Он просидел у меня долго, рассказывал постепенно, с отступлениями, волнуясь при воспоминаниях о страданиях, перенесенных им в Сибири, и в столице, и в семейной жизни. Я едва успевал записывать. Он вдруг прервал меня:

— Это далеко еще не все, что я рассказал... Но когда-нибудь закончу... А сейчас прощайте. Заходите. Я ведь близко живу.

И, нежно простившись, поспешно ушел, наотрез отказавшись от моих проводов.

Но досказать Федору Михайловичу не пришлось, хотя после этого памятного вечера он прожил еще около четырех лет, в течение которых мы с ним время от времени встречались.

VIII

В редакции журнала «Время» братьев Достоевских.—Первое знакомство с Салтыковым при чтении его рассказа.—Дальнейшие встречи с ним.

...И я помню твердо, это было ровно шестьдесят пять лет назад. Я опять принес в редакцию журнала «Время», издававшегося братьями Достоевскими, уже заказанный мне новый перевод какого-то рассказа старого французского романиста Амедея Ашара. Войдя в маленькую приемную, я попросил секретаря редакции доложить обо мне. Из смежной комнаты послышался голос: «Попросите обождать немного», но тотчас же вслед затем другой голос убедительно говорил: «Нет!

нет! Пусть войдет и послушает... Начинающим это полезно!» Голос, разрешавший мне вход в «святая святых», принадлежал самому Федору Михайловичу Достоевскому. Кроме него в «святая святых» сидели: Михаил Михайлович, родной брат автора «Униженных и оскорбленных», тоже беллетрист, переводчик гетевской поэмы «Рейнике-Лис»; Вс. Вл. Крестовский, автор пламенных стихотворений, а впоследствии романа «Петербургские трущобы»; Александр Петрович Милюков, историк литературы, некогда причастный к делу Петрашевского, старый приятель Достоевских, гвардейский офицер Петр Алексеевич Бибиков, только что совершивший поездку на Юг, Александр Егорович Разин; Федор Николаевич Берг в своей кумачевой косоворотке.

М. М. Достоевский сидел на диване и читал повесть в гранках. Возле него помещался Милюков и изредка заглядывал в набор.

— Мы читаем новую, свеженькую вещицу талантливого писателя, — сказал мне Михаил Михайлович. — Присаживайтесь и слушайте. Поучайтесь, как писать надо... Просто, естественно, занимательно и без претензий.

Говоря это, Михаил Михайлович улыбался, как будто давая мне понять, как невинно слаб был мой рассказ, который он забраковал дней за десять перед тем, и который был написан в обличительном духе, во вкусе тенденциозных беллетристических произведений конца 50-х годов.

Когда чтение возобновилось, я узнал, что в повести рассказывается деревенская история, героиня которой, старушка-помещица, живет одиноко, почти ни с кем из соседей не видится и проводит время в беседах с монахами и монахинями, вечно гостящими в ее усадьбе. У старушки есть собачка Бутузка таких же почтенных лет, как и ее хозяйка, любящая ее до безумия. От жиру собачонка еле двигается; нрав у нее прескверный: на всех дворовых, за редкими исключениями, рычит и смотрит враждебно, и тот, на кого она больше всего рычит, подвергается гонению со стороны хозяйки. Малейшую обиду, нанесенную Бутузке, помещица принимает за личную обиду.

Юродствующая старушка из-за собачонки поссорилась и со своим племянником.

Я с удовольствием слушал эту повесть, в которой с большим мастерством описывалась деревенька, где происходило действие, ее природа, ее люди со всем их бытом до мельчайших подробностей. Помещица была изображена так выпукло, что мне казалось, будто я еще так недавно где-то встречал подобную личность. От повести на меня веяло деревней, старым барством, воздухом и поля, и рощи,

и сада... Мне вспомнилось мое раннее детство и целая длинная вереница дворового люда нашей усадьбы и соседних: плотники, столяры, мельники, коровницы. Все это были типичные фигуры, которых я помнил прекрасно: настолько живо они походили на лица, выведенные в повести неизвестного мне автора. Я с нетерпением ожидал того времени, когда узнаю его имя. Временами мне казалось, что в повести есть места, сильно напоминающие Тургенева. Та же простота, та же художественность, манера, настроение.

Автор заинтересовавшей меня повести обнаружился очень скоро. Окончив чтение, Михаил Михайлович Достоевский и его сосед Милюков почти в один голос воскликнули: «Мило, очень мило. Талантливо!» А Федор Михайлович, встав со своего места и подойдя к господину, сидевшему как-то в сторонке, сказал:

— Мне приятно, Илья Александрович, что вы берете сюжеты ваших рассказов из быта деревенского... У нас еще с сороковых годов затрагивали этот быт. И все же, скажу прямо, это — непочатый угол. А скажите правду, это портрет с натуры?

— Вы угадали, скрывать не стану, — ответил приятным, мягким баритоном автор, которого я раньше не приметил. — Помещица, о которой я рассказал, как сумел, была моя соседка, жила от меня очень близко, и мне постоянно приходилось видеть, как знаменитую Бутузку, мою героиню четвероногую, выводили торжественно на прогулку... Вы рады, Федор Михайлович, что я черпаю сюжеты из деревенской глуши. Мне деревня симпатичнее города: я вырос в деревне и, божьей милостью, живу в ней и теперь. Хотелось бы и старость встретить в ней... Все написанное мною раньше тоже написано в деревне и тоже не выдумано...

— Вы хорошо сделали, — продолжал Федор Михайлович, — что дали вашу вещь нам, а не Некрасову. Там, пожалуй, и не оценили бы вашей Бутузки, — и Федор Михайлович словно впился глазами в автора повести и выжидал, что именно он ответит.

Но автор не сказал ни слова. Федор Михайлович отошел от него, нервно пожав ему руку, и, подойдя ко мне, спросил:

— Принесли? Потрудились над отделкой перевода? Отлично! Не правда ли, я отлично сделал, что задержал вас и вы прослушали эту милую вещь... хоть и не всю? Не раскаиваетесь? Хотите, познакомлю?

— Вы предупредили мое желание, Федор Михайлович. Мне страшно нравится повесть этого писателя.

Автор «Бутузки» разговаривал в это время с Разиным и, сколько помнится, с Александром Устиновичем Пореником, литератором-неви-

димкой, много писавшим, но никогда не подписывавшим своего имени.

— Вот вам, Илья Александрович, еще поклонник вашего дарования, — сказал Федор Михайлович. Назвав меня, он прибавил: — Молодой библиограф, но пишет и стихи, и прочее... Он, как познакомится с вами, сейчас начнет выспрашивать вас — где и что писали.

— Салов! — сказал с доброй улыбкой, пожимая мне руку, автор «Бутузки».

Небольшого, немного выше среднего роста, прекрасно сложенный, блондин или скорее шатен, с подстриженными волосами и небольшой бородкой, с большими ясными, выразительными глазами, Илья Александрович Салов, хотя и был одет безукоризненно по моде, производил впечатление настоящего деревенского жителя. Вся его привлекательная фигура дышала простором степи, ласкающим светом вешнего солнца, каким-то равновесием сельского обитателя. На вид ему было лет под тридцать. Держался он прямо, не горбясь, молодцовато. В глазах то вспыхивал, то потухал огонек, и очерк рта, немного чувственного, и густые-прегустые брови красноречиво говорили о том, что это человек с темпераментом.

— Рад с вами познакомиться! — с искренностью, которая всегда была ему присуща, в чем я убедился потом, сказал Салов. — Вот Федор Михайлович отрекомендовал мне вас, как молодого, но рьяного библиографа. А стоит ли этому отдаваться всей душой, со всем пылом? Тут много самого кропотливого, усидчивого труда: сиди, не разгибая спины, глотай архивную пыль, — а вознаграждается ли такая работа? Нет, это занятие неблагодарное... И, чтобы усердно заниматься библиографией, надо жить вечно в городе, да и не просто в городе, а в центрах, где есть хорошие книгохранилища... Впрочем, привычка — вторая натура... А вы, верно, уж так втянулись в ваше дело, что вас редко манит на свежий воздух, в деревню?

Я ответил, что библиография — моя стихия, что ею я стал заниматься с шестого класса гимназии, что это занятие ничуть не мешает мне любить природу деревни, и, что если средства позволят, я на короткое время думаю летом пробраться в родные места, на Юг. И спросил у него при этом:

— А вы и сейчас из деревни?

— Нет, я из Москвы. Я служу чиновником особых поручений при генерал-губернаторе... Вы удивлены? Проповедую и показываю в своих произведениях любовь к деревне, а сам на службе маюсь... Так надо. Так мать пожелала. Но близится время, когда я выйду в отставку и стану вольным казаком. Хотя я и теперь не вечно

торчу в канцелярии. Меня часто назначают в командировку, и я разъезжаю по селам, по деревням, набираюсь новых впечатлений... А в прошлом году взял отпуск да и махнул на Кавказ. Немного полечиться надо было.

— Полечиться? — переспросил я с недоверием, глядя на фигуру Салова, от которой веяло здоровьем, на его телосложение, далеко не намекавшее на какие-либо недуги.

— Да, и серьезно полечиться! Разъезжая по делам службы, я однажды всю ночь простоял в жаворе, точно аист в воде. Только, стоя в воде, я лягушек не ловил, а поймал гораздо худшее — ревматизм. Из командировки чуть не прямо в постельку... Потом подал рапорт о болезни, попросился в отпуск. Отпустили и даже некоторую субсидию дали... А вы куда отсюда?

Я сказал, что никуда собственно, и хочу пофланировать, так как немножко заработался.

— Вот и отлично! Пройдемтесь немножко, а потом заглянем в трактирчик. Тут, на Караванной, есть один, где весьма прилично готовят нашу московскую селянку... Поболтаем. Расскажу вам кое-что о московской литературной братии.

И с места в карьер, еще не дойдя до трактира, Салов начал мне длинное повествование о скульптуре и литературе Рамазанова, о его маскарадных проказах и любовных приключениях, о фельетонисте Колошине, отставном гусаре, издававшем иллюстрированный журнальчик «Зритель» [2], в котором в начале своей литературной карьеры работали и В. П. Буренин, и А. И. Левитов, и Глеб Иванович Успенский, и другие писатели, впоследствии составившие себе имя, в том числе и П. И. Вейнберг. Рассказывал Салов о своем знакомстве с Катковым, тогда еще англоманом и либералом, и критиком Аполлоном Григорьевым, А. Н. Островским и Щедриным, наезжавшим в Москву. В одном литературном кружке Салов присутствовал при чтении самим Щедриным «по двух отрывков из «Губернских очерков»: «Гегемонием» и «Зубатов» и был поражен, когда прочел эти рассказы в печати, в «Московском Вестнике» Плещеева [3]: настолько они были неузнаваемы, исковерканы цензурой. Кстати сказать, эти вещи и в собрании сочинений Салтыкова-Щедрина долго еще печатались в изуродованном виде, без восстановления мест, изъеденных цензурной молью. Щедрин, — рассказывал он, — читал недурно, но как-то мрачно.

От рассказа о своем знакомстве с Островским Салов перешел к театру и торжественно объявил мне, что если он страстно любит сельскую природу, то в городе столько же пристрастен к сцене и полюбил ее еще гимназистом (учился он в Пензенской гимназии), и даже

играл в качестве любителя, когда в Пензу приезжала какая-то бродячая труппа.

— Мне было лет двадцать с небольшим, — рассказывал Салов, — когда я непременно хотел сделаться драматургом. Я чуть не целый год готовился к этому и наконец состряпал две пьесы во вкусе Кукольника: «Каритан» и «Битва под Ахалцыхом». Переписал, издал за свой счет и послал в «Современник» для отзыва. И выругали же меня за мои драматические потуги!.. Говорили мне, будто сам Некрасов постарался. Смешно теперь вспомнить, а тогда я пережил много горьких часов. Я вскоре сжег все оставшиеся у меня экземпляры этих пьес и постарался забыть о них. Мне было и грустно, и жаль потраченного времени... Эта литературная неудача, впрочем, подвинула меня испробовать силы в другом роде. Я решил написать повесть. Мне это было нетрудно. Взял я да и рассказал одну из семейных историй наших, в которой действовала моя двоюродная сестра с материнской стороны. Вижу, вышло неплохо, правдиво; я тогда описал нашу родовую усадьбу, вывел интересную личность нашего буфетчика — и получилась вторая повесть. Я только слегка переделал их. Это — «Пушиловский регент» и «Забытая усадьба». Не хвастая, скажу, что обе повести очень понравились Каткову, и он взял их у меня без разговоров.

Салов не без гордости говорил мне, что все до сих пор напечатанные им вещи: «Забытая усадьба», «Пушиловский регент», «Лесник», «Мертвое тело», «Барин», «Трактир» — нравится потому, что не выдуманы, а взяты из действительности, написаны без лукавого мудрствования. Он изображал, что было и как было, в настоящей обстановке, ничего не разукрашивая, ничего не прибавляя, и рассказывал при этом просто, так, как он чувствовал описываемые им события и людей. Конечно, он выработал себе известные литературные приемы, манеру повествования. Но его уверению, форма ему давалась легко. И если что затрудняет его, так это — желание передать вполне точно свои ощущения, свои впечатления. Особенно ему всегда хочется до тонкости изобразить какой-нибудь уголок природы во всем ее своеобразии, во всей красоте, хотя, признается он, с каждым новым произведением легче ему выполнить задуманное в отношении той или другой картинки деревенской природы и лиц, близко стоящих к ней.

— Вот сегодня, — говорил с воодушевлением Салов, — Федор Михайлович похвалил меня за то, что я не отнес свою «Бутузку» Некрасову. Я на это промолчал. А почему? Потому что у Некрасова огромное критическое чутье. Когда после «Пушиловского регента»

и «Забытой усадьбы» я написал маленький рассказ «Лесник» и послал его нашему поэту на суд, Некрасов прислал длинное письмо, в котором дал мне несколько драгоценных советов, сделал мне много комплиментов относительно того, что я хорошо знаю и понимаю деревню, и в конце концов просил меня рассказ переделать, согласно его указаниям. И я, конечно, послушался его — и рассказ в новом виде мне самому понравился гораздо больше.

Так мы беседовали с Саловым довольно долго, — пока, наконец, не стали запирать трактир. Я вынес из беседы с этим милым, в высшей степени общительным человеком самое приятное впечатление. Оно у меня не изгладилось и доныне. Эту первую встречу с Саловым я занес тогда же в мой дневник. Как сейчас, вижу это в своем роде красивое, умное, энергичное лицо, эти загорающиеся особенным блеском, выразительные глаза в те минуты, когда Салов передавал впечатления своих приключений на охоте, когда он маленькими, но сочными мазками рисовал мне какое-нибудь явление природы. Он умел рассказывать живо, коротко, ярко.

И трудно сказать, что было лучше: устные ли его рассказы, или написанное им. И здесь, и там он оставался самим собою — художником до мозга костей, превосходным пейзажистом, умеющим уловить в природе те тонкие, характерные черты, что доступны далеко не всякому наблюдателю, хотя бы и самому внимательному, добросовестному, доступны только жанристам очень вдумчивым, необыкновенно любовно относящимся к своим сюжетам.

Много лет прошло после этой первой встречи. Салов замолк надолго; слышно было, что он где-то служил земским начальником. А затем он снова выступил в печати, и о нем заговорили, особенно после того, когда он напечатал свои шедевры в «Отечественных Записках» 1877 — 1881 гг.: «Мельница купца Чесалкина», «Грызуны», «Паук», «Соловьятники», «Аспид», «Ольшанский молодой барин», «Арендатор» и пр.

Во время его наездов в Петербург чисто по литературным делам мне приходилось встречаться с ним изредка. Но один раз судьба нас свела в ресторане, и мы, вспоминая нашу первую встречу, просидели довольно долго. Как я узнал, Салов вынес много самых безотрадных впечатлений из своей службы. Зато материал у него оказался громадный и благодарный. Когда я спросил его, любит ли он природу попрежнему, он ответил утвердительно, но прибавил, что больше природы он научился любить человека, и радуется этому от всего сердца, потому что это дало новый толчок его творчеству, раньше почти бессознательному, а теперь вполне осмысленному, и что про-

изведения нового периода его деятельности несравненно содержательнее.

Во многом это был прежний Салов, особенно когда он с присущим ему воодушевлением рассказывал об охоте, и не в одиночку, а в многочисленной компании, словом — об охоте иной. По его словам, это — настоящая поэзия, которая заставляет встряхнуться, заставляет трепетать сердце и задает самую плодотворную работу организму. Но наружность писателя была далеко не та. У него, как сам он шутил над собою, «прибавилось лица», то-есть появилась уже лысина; под глазами образовались мешки, и былой приятный баритон отдавал хрипло стью. Тем не менее, хотя Салов и приближался к пятидесятому году, но был крепок и хвалился, что может писать без устали, а писать приходится очень много, так как его наперерыв приглашают всевозможные издания — и крупные, и мелкие, и он едва успевает удовлетворять требования издателей.

После этого прошло еще лет двенадцать, и я снова свиделся с Саловым. Он зашел в редакцию «Всемирной Иллюстрации», которою я тогда заведывал, как редактор, и в которой Салов помещал изредка свои повести и рассказы. Он постарел еще больше. Время порядком тронуло его облик, но не коснулось его живой, чуткой души. Он попрежнему восторженно рассказывал о своей жизни на лоне природы, о своей охоте, и когда я совершенно откровенно признался ему, что охоты не люблю и даже чувствую к ней отвращение, он назвал это крайней сентиментальностью и дивился искренно, как я не понимаю столь высокого удовольствия.

— Важно ведь не то, что на охоте испытываешь приятное щекотание нервов, радуешься, что затравил зверя, не сделал промаха и так далее. Важно иное: обстановка охоты, созерцание природы, особенно в хороший летний, а то и осенний день, обмен впечатлений, встречи, случаи... Мне охота всегда давала большой материал, и не мало моих рассказов внушено мне, так или иначе, охотой.

Я дал ему высказаться, и мало-по-малу мне удалось переменить разговор и навести его на литературу. С неменьшим увлечением Салов стал рассказывать о своих встречах в литературном мире, сыпал анекдотами, передавал свои впечатления знакомств с Островским, Писемским, Некрасовым, Плещеевым, Лажечниковым, Достоевским. И вдруг спохватился и начал хохотать неудержимо.

— Боже мой, да ведь все это я вам рассказывал, когда мы впервые встретились у братьев Достоевских... Вот что значит старческая забывчивость! Ведь вы еще кое-что из моих рассказов записали...

И он вновь стал говорить о влиянии природы на его творчество: он гордился тем, что понимают ее, чувствуют ее великие тайны. Природа — это его конек. Если у него есть слабые вещи, то это потому, что он увлекался фабулой рассказа и забывал выдвинуть на первый план природу человека. У него, — говорил он, — было пламенное воображение: если он слышал рассказ о каком-нибудь случае, в особенности из деревенского быта, он редко когда не угадывал конца. Оттого у него нет в его произведениях несообразности, ничего неестественного... Впрочем, не ему судить о своих вещах. Пусть судит читатели. А их у него очень много, и они понимают его и любят. Он говорил об этом без тени хвастовства.

Мы расстались не скоро, и это была моя последняя встреча с необыкновенно симпатичным писателем, действительно понятым и любимым.

IV

Встреча с Некрасовым.—Два слова об А. Н. Иволгине.—Выдержка из дневника.—Некрасов у Иволгина.—Его рассказ о своих ранних работах.—Маленькая характеристика Иволгина; его застенчивость и беды от нее.—Визит Некрасова ко мне.—Щедрость Некрасова.—Ф. А. Зиновьев.—Еще о Некрасове, о его суевериях.—С. Т. Славутинский и его видения.

Мне живо припоминается один прескверный осенний вечер, бурный и дождливый, когда вода в Неве поднимается «выше ординара», и с Петропавловской крепости уже с довольно редкими промежутками начинают палить пушки в знак любезного предупреждения подвальным обитателям низменных прибрежных мест столицы, чтобы эти пасынки судьбы знали о грозящем им наводнении. Я с трудом шел «в пальтеце, подбитом ветром», и в дряных калошах. Неистовый северяк подгонял меня вперед, стараясь сорвать у меня с головы шляпу, надвинутую чуть не на глаза. Он пронизывал меня насквозь, хлестал по лицу и, очевидно, задался целью выучить меня терпению. А времени для этой выучки было достаточно, потому что до Большой Зеленинной улицы, где я жил и куда пробирался тогда, оставалось добрых версты две, если не больше. Несмотря на усталость, я удвоил шаги, но упорный северяк назойливо подкарауливал меня и, когда я приближался к Троицкому мосту, сорвал, наконец, с меня шляпу, которую я принялся ловить. А в эту самую минуту мне грозила и другая беда: на меня готов был наехать извозчик. Но из пролетки быстро высунулся седок и немного хриплым голосом крикнул: «Стой! Стой!» Затем, обратясь ко мне, сказал: «Не по дороге ли нам?..

Пожалуйста, садитесь ко мне, без церемонии... Будьте так добры». Я сел, поблагодарил и... узнал моего благодетельного спутника. И он, в свою очередь, признал меня: «Э, отец! да мы знакомы». Ведь вы, кажись, на прошлой неделе заходили к нам, в «Современник». Не конфузьтесь, ради бога. Вы куда же? Я ответил, что пробираюсь к себе на квартиру, на Большую Зеленину.

— Да ведь и я туда же, — словно обрадовавшись, воскликнул добрый человек, в котором я, конечно, не мог не узнать Некрасова. — Да, — повторил он, — я на Большую Зеленину... Мне к Иволгину надо... Вы, верно, отец, знакомы с ним? Умудрился сильно захворать и обнищал. Надо выручать!..

Еще бы не знать Иволгина! Его знала вся молодая литературная братия. Милый, обязательный, с чуткой душой, Александр Николаевич Чижик, как он подписывался под юмористическими стихами, и как мы все называли его, был настоящий поэт, чистокровный, поэт божией милостью. Нежный лирик, он ради насущного хлеба разменялся на мелочи, вместо лирических стихов писал юмористические, потому что на них был большой спрос, и он мог их писать, не ожидая настроения, когда угодно и где угодно: в каком-нибудь сквере, на улице, в трактирчике. Обеспечив на целую неделю свое пропитание, Александр Николаевич позволял себе, по его собственному выражению, большую роскошь — беседу с музой: писал «настоящие стихи». Он печатал их под псевдонимом «А. Волгин» и нередко плакал над своими стихами, которые, по какому-то несчастному недоразумению, появлялись всегда в захудалых журнальчиках, плативших ему гроши, а часто и совсем не плативших.

Когда все это я передал Некрасову, он заметил, что Иволгин все же счастливее его, Некрасова, потому что ему не приходится писать на заказ всякую чушь.

— Поверите ли, — говорил Некрасов, — я одних азбучек «насочинял» более тридцати штук... Сборники поздравительных стихотворений «выпускал из себя», сказочки пеленые сочинял, да еще в стихах, «нравственные повести» изготовлял... И все на рынок, все на рынок... и почти задаром... А наш Иволгин — сам себе хозяин, пишет то, что заблагорассудится... Да и журнальчиков теперь больше... А тогда — раз, два, да и обчелся... Я когда вспоминаю о моих злополучных годах в бессонную ночь, так вскакиваю с постели и хожу в волнении по комнате, до сердцебиения...

Я помню этот разговор с Некрасовым от слова до слова.

Иволгин жил в самом начале Зелениной улицы, а я в противоположном конце ее. Как я ни отказывался, Некрасов все-таки подвез

меня до самого дома, где я жил, а потом повернул назад к Волкову.

— Вот что, отец — сказал он мне на прощанье, — если с вами денежная беда случится, напишите мне без стеснения. Слышите, непременно... Будьте счастливы!

Мне плакать хотелось от ласковых слов этого милого, доброго человека, которого злостно поносили враги его, на которого клеветали люди самой сомнительной репутации, а также и те легковерные, для которых всякий вздорный, непроверенный слух имеет значение и является чуть не откровением. Придя домой, я не ложился спать, находясь под обаянием этой неожиданной, отрадной встречи, забыв о дожде, о буре, о мучительной дороге от Колокольной улицы до Дворцовой набережной, где произошла эта встреча. «Если бы не шляпа, — думал я, — не ехал бы я бок о бок со знаменитым поэтом». И я решил никогда не расставаться с виновницей счастливой встречи. При первом гонораре я купил себе новую шляпу, а эту, старую, драгоценную для меня, спрятал в сундучок, где лежали мои любимые книги и разные реликвии, в числе которых были четыре номера герценовского «Колокола» с напечатанными в нем моими сообщениями. Больше двадцати лет хранил я заветную шляпу, до тех пор, пока ее не съела моль, во время одной отлучки моей из Петербурга «по не зависящим от меня обстоятельствам». В тот памятный мне вечер до утра просидел я по моей клетушке, представляя себе все подробности моей встречи, припоминая интонацию голоса Некрасова, его оригинальные выражения, его жестикуляцию. Много восклицательных знаков стояло на страничках моего тогдашнего дневника, на которых я записал впечатления дня, мою встречу.

Вот выдержка из этих страничек. Опускаю, конечно, все лирические восторги.

«Я был на волосок от неминуемой катастрофы. Меня уже обдал пар лошадиного дыхания, когда извозчик, по приказу седока, мгновенно осадил коней... Я сейчас узнал своего спасителя, пригласившего меня сесть в экипаж, узнал Некрасова. Я впервые был так близко от него. Он невысокого роста, одет щегольски; несмотря на скверную погоду, на нем цилиндр... Его глаза по временам как-то странно загораются и как будто пронизывают собеседника. Говорит он несколько сиповатым голосом и порою как бы нараспев. Речь его дышит искренностью, прорываются в ней самые задушевные нотки. Странно, что речь свою он пересыпает словом «отец»... Он с большим вниманием слушал меня, особенно, когда я рассказывал ему о моем детстве, об обидах, которые причиняла мне мачеха, о суро-

моего отца, о моих литературных попытках, на которые отец смотрел косо.

«Когда я рассказывал о строгости отца, Некрасов как-то неприятно усмехнулся и глухим голосом отрывисто бросил мне: «Ну, мой-то был похуже». При этих словах он даже насупился и долго не прерывал меня.

«Я имел неосторожность спросить у него о его матери. Он сразу как то запнулся, голос его стал дрожать. «Нет, о ней я не могу говорить без трепета сердечного... Простите, отец, — сказал он. — Если когда-нибудь ко мне зайдете, я прочту вам мои стихи о ней. Эти стихи, отец, не стыжусь признаться, омыты слезами...»

«Мне было совестно, и трогало меня, что Некрасов говорил со мною, как с равным; у него нет того покровительственного тона, каким говорили со мною Краевский, Писемский, Федор Достоевский, Майков. Задушевностью тона, простотой обращения и искренностью с ним может сравниться только Полонский».

На другой день после встречи с Некрасовым я горел нетерпением повидаться с Иволгиным. Как только я вошел к нему, он, вопреки запрещению доктора, вскочил с постели и принялся меня обнимать. Так же, как я, он не спал всю ночь после посещения Некрасова, который решительно очаровал его своей простотой, участием, ласковостью. Чижик прочел ему несколько стихотворений. Некрасов подбодрил его, дал много хороших советов и, узнав, что Иволгин не особенно давно был за границей, в Италии, начал делать характеристики заграничных мест. Италию он назвал холодной красавицей-попрошайкой, о Швейцарии выразился, что от нее веет противной мелочностью и педантизмом; от немцев, — говорил он, — в конце концов тошнит, а французы хотя и милы, но отталкивают своей нечистоплотной веселостью и узкостью, односторонностью. «Пусть Россия не умыта, не чесана, а все-таки она истая красавица, и я ее бесконечно люблю!» — восклицал Некрасов. Он велел хозяйке поставить самовар, послал ее за молоком и сдобными булками, сам заварил чай, напоил больного, выпил за компанию два стакана и, оставив Иволгину пятьдесят рублей, уехал, обещав прислать «лучшего доктора» и хорошего вина. На прощанье он спросил, нет ли у Иволгина старого гривенника или пятиалтынного на счастье. У Иволгина нашелся старый пятак.

— Поеду в клуб, — сказал Некрасов, — и с этим пятаком буду играть на ваше счастье; выиграю — поделюсь с вами.

Дня через три посланный от Некрасова вручил Иволгину письмецо с приложением ста рублей.

— Не унывайте, с пятаком выиграл много — и посылаю вашу долю... Дайте посланному рублевую бумажку, а мне пришлите, отец, если есть, несколько стихотворений на просмотр, — но не шуточных, а лирических.

Чижик долго берег это коротенькое послание, писанное карандашом на обороте какого-то счета, но в очень трудную минуту сбыл некрасовский автограф одному коллекционеру за двадцать рублей.

К Некрасову за помощью Иволгин не захотел больше обращаться, несмотря на уговоры товарищей: он был невероятно деликатен, совестлив, застенчив.

В силу этой застенчивости, он не отозвался и на призыв Некрасова, просившего прислать ему несколько стихотворений Александра Николаевича на просмотр. «Если мне удастся, — говорил он нам, — написать что-нибудь особенно выдающееся, я пошлю ему, а посредственные, хотя и искренно мне, посылать совестно».

Из-за совестливости он нередко терпел нужду и не решался высказать правду людям, его эксплоатировавшим до крайности. К ним, между прочим, принадлежал и Старчевский, редактор приснопамятного «Сына Отечества» [46]. Иволгин писал у него фельетончики, рецензии, разные обозрения. Старчевский очень странно с ним расплачивался за все это. За статьи он платил двадцать пять рублей, а фельетончики или по три и по две копейки за строчку. Если Старчевскому нравился фельетон, Иволгин получал по три копейки, не нравился — по две копейки. Разумеется, Старчевскому фельетоны злополучного Чижика нравились очень редко, и Чижик покорно молчал. Кроме того, Старчевский и расплачивался с ним неаккуратно, затягивая плату. Чижик терпел, терпел и вынужден был уйти от «старой лисы», как называли Старчевского большая часть сотрудников «Сына Отечества». Но это стоило ему огромных усилий. Много раз он, тайком от товарищей, приходил в редакцию, чтобы возобновить писание фельетонов, уходил, возвращался, и эта комедия длилась до тех пор, пока кто-то из его друзей не отправился к «старой лисе» и не объяснился с ним на чистоту.

Иволгин, как только освободился от эксплоататора, стал усердно работать в «Русском Мире», написал несколько лирических пьес и две из них выгодно пристроил в «Невском сборнике» В. С. Курочкина [47]. Это были «Сорренто» и «Шут». После этого он встретился на Невском с Некрасовым, который упрекнул его, что он «такие прекрасные стихи» отдал в сборник, а не в какой-нибудь толстый журнал. И он довольно сухо простился с Иволгиным, который с горя, придя домой, сжег несколько стихотворений своих, почти готовых для

печати. Некрасов суховато простился и со мной, когда я шел тогда по Невскому с Иволгиным: он словно забыл обо мне. А между тем память у него была отличная вообще, а на лица еще более.

Вскоре мне пришлось, однако, напомнить ему о моем существовании. Журнальчик, в котором я работал усердно, потерпел крушение. Издатель поссорился с редактором, считавшим себя основателем и собственником журнала. Их ссора кончилась дикой дракой в типографии, принадлежавшей издателю, и журнал перестал существовать, хотя третейский суд и признал его собственностью редактора. Сотрудники остались на мели...

Острая нужда захватила меня своими щупальцами. Друзья настояли, чтобы я обратился к Некрасову. Я собирался это сделать, но жестокая простуда свалила меня в постель. Хлопотать обо мне пришлось другим. Письмо мое к Некрасову снес один из моих друзей. Впрочем, это сделал бы и просто знакомый, даже шапочный знакомый. Уж такое хорошее время было тогда, в шестидесятых годах, когда писатели жили необыкновенно дружно между собою, и каждый, как только мог, готов был помочь собрату по перу, устроить его вещь в знакомом журнале, поделиться с ним скромным заработком, поспорить с издателем по поводу гонорара и прочее. Да, то было другое время, другие нравы в литературном мире: рознь не давала себя знать. Журналы спорили, вели ожесточенную полемику, но враги литературные мирно сходились вне журнальной деятельности. Исключения существовали, но были редки. Я знаю множество случаев, когда писатели диаметрально противоположных воззрений, очень считавшиеся друг с другом на почве журнальной, из кожи лезли, помогая друг другу на почве житейских интересов. Ссорились и не мирялись издатели, но не из-за убеждений, а из-за подписчиков. В числе таких непримиримых врагов были Краевский и Панаев, хотя оба были женаты на родных сестрах Брянских, дочерях знаменитого артиста. В этой ссоре был виноват Краевский, делец высокой пробы, до которого Панаеву, в этом смысле, было, «как до звезды небесной, далеко»...

Нечего и говорить, что на мой призыв о помощи Некрасов откликнулся немедленно. Навестив меня, Некрасов прежде всего поблагодарил меня за то, что я обратился к нему, не забыв моей встречи с ним в осенний бурный вечер. Оказав мне существенную помощь, он, кроме того, достал мне работу, надолго обеспечившую меня от питания впроголодь.

Некрасов необыкновенно красноречиво, картинно передал мне эпизод из трудных лет своей жизни, когда он однажды, оставшись без пристанища, провел ночь на улице, а потом нашел приют у нищих.

На другой день после посещения Некрасова я записал его рассказ. Года через полтора я попросил у него позволения воспользоваться записанным мною для предполагаемого биографического очерка Некрасова. Он поблагодарил, дал полное согласие и добавил, что Зиновьеву он, у себя в кабинете, «в добрый час» рассказал об этом эпизоде еще подробнее, и тот также записал; и что поэтому следует заглянуть в запись Зиновьева.

Федор Алексеевич Зиновьев, отставной военный, был талантливый беллетрист и, между прочим, обратил на себя внимание большой вещью, написанной в драматической форме и напечатанной в «Современнике» под заглавием «Дворянские выборы». Об этом произведении много говорилось в печати и в обществе, и оно произвело некоторого рода сенсацию. Раньше он редактировал литературный журнал «Северный Цветок» [42]; поместил множество мелких рассказов и целую повесть в «Сыне Отечества», и, подписываясь псевдонимами «Ф. Бряжский» и «Ю. Волнистый», был деятельным сотрудником «Искры» ее лучших времен, писал в «Библиотеке для Чтения» при редакции Писемского [43]. Он умер в молодых летах в какой-то деревушке, у своих родственников. Некрасову очень нравились «Дворянские выборы» Зиновьева и некоторые его рассказы, и он вообще очень ценил его дарование, нередко выручал Зиновьева из беды, часто приглашал его к себе и вел длинные разговоры об охоте, так как Зиновьев был тоже страстный охотник.

Заработав несколько рублей у Старчевского в «Сыне», если это было летом, Зиновьев отправлялся с ружьем бродить по окрестностям Петербурга. Тут ему везло не столько по части дичи, сколько по части встреч и новых знакомств, не выключая и романических. Большой барин по рождению, настоящий народник в душе, он, больше встреч с прекрасными дачницами, любил встречи с крестьянами, которых и изображал, как он выражался, «в натуральном виде», в своих талантливых очерках.

Старчевский с большой охотой печатал их, еще и потому, что получал из провинции похвалы за них. Когда в «Сыне Отечества» появились впервые его рассказы «Вражда» и «Базар», Старчевский получил чуть не с десяток писем от подписчиков, хваливших эти вещи и интересовавшихся, кто их автор. Манерой рассказа Зиновьев напоминал Левитова, что особенно чувствуется в его очерке «Коробочник», напечатанном в «Библиотеке для Чтения». Зиновьев читал нам, его приятелям, этот рассказ в рукописи, и мы приветствовали эту талантливую вещь, предполагая, что он отдаст ее в «Современник», а он взял ее и понес ее Старчевскому. И тут произошла

чудо: в Старчевском вспыхнул благородный порыв, и он сказал Зиновьеву, что ему жаль такой прелестный очерк помещать в газете. Зиновьев отнес его к Писемскому, который сперва сунул куда-то очерк и никак не мог его найти, и напечатал тогда, когда Зиновьев собирался вновь написать этот очерк, по памяти, для другого издания.

Зиновьев поделился со мною записью рассказанного Некрасовым эпизода из его жизни. В этой записи было для меня много нового, чего не рассказал мне Некрасов. Почуя в приюте нищих, он видел интересный сон. Ему приснилась родная деревня Грешнево, старая барская усадьба отца, чумазые, грязные ребятишки, с которыми он так любил играть в солдатики и в охоту, и которых его отец порою стегал хлыстом, когда был сильно навеселе... Снились мужики, которых истязал тот же деспот-отец, угнетавший и свою несчастную жену, мать поэта. Он, как няню, видел ее во сне в ту ночь, делился с ней мечтами, читал ей стихи. Но виденье исчезло, и на место матери появился мужик, весь в крови и грязи, валявшийся в ногах у жестокого барина... И юноше снится, как страшно жаль ему этого мужика, как пламенно ему хочется броситься на отца, отнять у него этого страдающего человека. Я списал у Зиновьева все то, чего не было в моей записи, и обе они легли в основу моего очерка «Скорбные годы народного печальника», где нет ни прикрас и ничего выдуманного «ради красоты слога». Рассказанное мне Некрасовым несколько разнится от того, что позднее Некрасов передавал Суворину. Очень может быть, что Суворин напечатал этот рассказ по памяти, а она, пожалуй, немного изменила ему [41]. Впрочем, дело не в мелочах, а в самой сути рассказа, в тех интересных фактах, которые Некрасов передал и мне, и Зиновьеву, и, значительно позднее, Суворину. Зиновьев рассказывал мне, что Некрасов несколько раз обещал ему начать повествование о своих злоключениях в юношеские годы, начинал и не кончал, срываясь с места и отзываясь недосугом. А когда, наконец, исполнил обещание, то разошелся, делал отступления, впивался взглядом в лицо собеседника, точно хотел узнать, какое впечатление произвел на него этот печальный рассказ, и усыплял его возгласами: «Так-то, отец... Трудно поверить!» А в заключение закрыл лицо руками и долго оставался в этом положении.

Я сохранил о Некрасове самую светлую память, такую же, как большинство шестидесятников, моих собратьев по перу, и горько мне было читать те клеветы, которые распускали про него лица, совсем мало знавшие поэта, или люди, подобные Николаю Успенскому, двоюродному брату Глеба Ивановича Успенского. Николай Успенский не пощадил поэта тогда, когда поэт ничего не мог возразить ему.

потому что был в могиле [15]. Но люди, знавшие Николая Успенского в дни его полного падения, когда за косушку водки он, по чьему-либо заказу, мог оклеветать кого угодно, должны были бы обелить память Некрасова. Есть еще живые свидетели щедрости поэта, его удивительной отзывчивости. Эти его качества я испытал на себе не раз. У меня были тяжелые дни, и Некрасов заказал мне несколько переводов для «Отечественных Записок», и за них я получил такой гонорар, какого никогда не платили самые щедрые издатели. При этом Некрасов еще говорил мне: «Если, отец, этот капитал вас не устранивает, возьмите малую толику вперед в конторе, после сочтемся!»

Однажды я очутился на Юге и оттуда послал ему несколько стихотворений. Зная его аккуратность, я удивлялся, что не получаю от него ответа. И вдруг он мне шлет деньги за стихи, еще им не рассмотренные. Он мне писал:

«Извините меня, пожалуйста: письма ваши приходили летом, и я их тогда не видал. Стихотворение «Отень» не потеряно, но завалялось в бумагах, которых с весны еще не разбирал. Я посылаю вам за него деньги, а стихотворение из-дних непременно найду и напишу вам о нем. Стихотворение «Женское дело» не могу напечатать. Если у вас не отбила охоту моя неаккуратность, то присылайте мне ваши стихи. Постараюсь впредь быть аккуратнее в ответах. Примите уверение в моем искреннем уважении. Н. Некрасов».

Вернувшись в Петербург, я пошел благодарить Некрасова, а он засмеялся и говорит: «Зайдите в контору, там еще вам следует получить за стихи «Где лучше?», напечатанные в «Складчине». — Да ведь это сборник в пользу голодающих самарцев, и стихи я, конечно, даром дал, — возражаю ему. — «Ну, нет, отец, пусть литературные богачи делают сборнику подарки, а я всем небогатым поэтам, чьи стихи проходили через мои руки, заплатил. Не обижайтесь, ради бога, отец!» И как я ни протестовал, он поставил на своем: деньги присланы были мне на квартиру с рассыльным.

Сколько раз мне приходилось хлопотать за кого-либо из бедствующих писателей, и если я обращался лично или письменно к Некрасову, он самым сердечным образом относился к моей просьбе.

Напечатал он как-то в «Отечественных Записках» стихотворение небезызвестной поэтессы О. А. Ленко. Вручая ему стихи, она, между прочим, сказала Некрасову, что у нее большая семья, что она литературным трудом пытается помогать мужу-чиновнику. Этих слов было довольно для Некрасова. Он вынес ей щедрый гонорар за стихи, а по напечатании их в журнале, контора известила Ленко, чтобы она пожаловала «за причитающимся ей гонораром». О. А. Ленко пошла

не в контору, а к Некрасову и сказала ему, что это недоразумение, что за стихи он сам уплатил ей давно. «Ну, так значит, — ответил Некрасов, — заплатил я вам мало за хорошие стихи; прочитал их в книжке еще раз: совесть заиграла, я и добавил... Простите, но, кажется, я имею право платить за чужой труд то, что следует!» Рассказывал мне этот случай. Любя прибавила: «Мне не только полагалось таких денег за строчку, но и одной шестнадцатой не платил даже родной мой дядюшка, Николай Александрович Степанов, знаменитый карикатурист, когда я сотрудничала у него в «Будильнике» [18], а ведь он был человек не скупой!..»

Некрасов был немного суеверен вообще, и как все игроки — в частности. Он носил в кармане жилета разные талисманы и между ними старую трехкопеечную монету, полученную им от нищенки, как часть платы за написанное им ей прошение.

— Вот, отец, — сказал он мне однажды, в минуту откровенности, — вы не верите во все это странное, а я очень верю.

И когда я ответил ему, что, напротив, я страшно верю во всякие предзнаменования, предчувствия, во все то, «что не снилось нашим мудрецам», что со мною случались удивительные вещи, Некрасов заметил мне:

— Только вы, отец, уж не проговаривайтесь там, среди радикалов ваших... Они вас осмеют и сожалительно спросят, не верите ли вы еще и в бога?..

И рассказал мне следующее. Его мать была очень набожная женщина, и когда чуяла беду, грозившую ей со стороны хмельного, домашнего раздраженного мужа, бросалась перед иконой, жарко молилась — и гроза или утихала, или проносилась мимо нее... Однажды муж, вернувшись с охоты, очень неудачной, еще не входя в дом, стал бушевать во дворе и по-своему расправляться с дворовыми. Быстро она помолилась, сняла крестик, висевший у изголовья ее кровати, и положила его на порог крыльца, через которое отец Некрасова должен был войти в дом. С грубым окриком ступил он на порог, — и тут совершилось настоящее чудо: отец внезапно смолк, ни слова не произнес, прошел к себе в кабинет, запорся и вышел оттуда лишь на следующее утро и был смиреннее до самого вечера. Проделывать то же самое с крестиком бедная женщина боялась, когда являлась в этом надобность, чтобы, как говорила она, не искушать божьего милосердия. Некрасов как-то сидел и работал особенно напряженно. Это было в полуденный час. Вдруг дверь скрипнула, и по комнате словно пронесся легкий ветерок. Некрасов обернулся и остолбенел. Дверь была плотно заперта, но возле нее

стоял его отец, сумрачный, полуодетый, с поднятой кверху рукой. Некрасов признался, что у него волосы встали дыбом и его точно пригвоздило к месту, где он сидел. Сделав над собою невероятное усилие и встав, метнулся он к двери: запертая, она скрипнула, и отец исчез. Он приходил известить сына о своей смерти, последовавшей как раз в то самое время, когда Некрасову явилось это видение.

— То ли еще со мной было, — прибавил к рассказу этому Некрасов. — Вот, спросите когда-нибудь о разных случаях со мной, о которых я ему передавал, у Степана Тимофеевича Славутинского, нашего старого сотрудника. Он вам красно расскажет. А если будет в ударе, то расскажет кое-что и про свои видения!

Степан Тимофеевич Славутинский, умерший в восьмидесятых годах, кажется, рязанский помещик, был очень талантливый беллетрист, теперь, к сожалению, совершенно забытый. А в пятидесятых-шестидесятых годах он пользовался известностью. Его «Читальщица» и «История моего деда», напечатанные в «Русском Вестнике», когда в этом журнале печатались Щедрин, Л. Н. Толстой, Крестовский-псевдоним, Тургенев, обратили на себя внимание.

В «Современнике» и «Русском Слове» он поместил повести из народного быта: «Жизнь и похождения Трифона Афанасьева», «Своя рубашка» и роман «Беглянка». Он превосходно знал жизнь народа, еще лучше старый дворянский быт, и на этой канве умел вышивать красивые, живые узоры. Типичный представитель старого барства, аристократ в благородном, лучшем значении этого слова, он имел также большие знакомства и связи в литературном мире. Некрасов, Полонский, Плещеев были его друзьями.

Примкнув к движению шестидесятых годов, монархист в душе, он к семидесятым годам, разочарованный, отшатнулся от этого движения и углубился в старину, из которой и брал материалы для своих произведений, появлявшихся в «Русском Вестнике», «Древней и Новой России» и «Историческом Вестнике», где помещены его «Родные места», «Из семейных воспоминаний», «История моего деда», «Генерал Измайлов и его дворня», «Крестьянские волнения в Рязанской губернии», «Из Острогожской охранки» и прочее. Последний беллетристический очерк «Капитан Перелетов» он напечатал, по старой памяти, у Некрасова, в «Отечественных Записках». Это была, в сравнении с прежними его повестями и рассказами, вещь слабая, и Некрасов поместил ее только по дружбе, и то без подписи имени автора. Под конец жизни Славутинский жил в Вильне, где и умер.

Славутинского можно было назвать настоящим духовидцем. Когда он задумал написать рассказ «История моего деда», этот самый дед

несколько раз будто бы являлся к нему по ночам и повествовал о своей жизни подробности, о которых Славутинский и не подозревал. Это так заинтересовало писателя, что он наводил справки у многих лиц, помнивших его деда, и ночные рассказы покойника, по словам Славутинского, подтверждались. Покойный дед, явившись в последний раз к талантливому внуку, предупредил его, что написанную им вещь ждет успех. И это подбодряло Славутинского в его работе. Яков Петрович Полонский передавал мне, что однажды Славутинский посетил его совсем в неурочный час. Он был бледен, взволнован и спешил поделиться с другом впечатлением происшедшего с ним в тот день. Рано утром явился к нему старый мельник, давно умерший, и указал ему порывисто на окно. Славутинский взглянул — и явственно увидел зарево пожара за окном, горевшую мельницу и еще какое-то здание, объятое пламенем. «Непременно сгорели они мне не даром, — говорил Славутинский. — Я так любил эту мельницу, у которой часто просиживал в детстве, на ступеньках ее, с мельником вдвоем... А теперь она сгорела, да и тяцкая, должно быть, тоже». Дней через пять Славутинский получил известие, что в усадьбе его, действительно, сгорели и мельница, и тяцкая, но будто бы днем позже, как являлся к нему мельник. Следовательно, это было, по мнению Славутинского, предупреждение. В своих предчувствиях Славутинский веровал твердо, и если он грустный приходил к друзьям, те уже понимали причину его грусти.

Очень может быть, что мы находимся накануне того времени, когда область иного таинственного, неразгаданного, — сны и так называемое предчувствие, то, от чего принято пренебрежительно отворачиваться теперь людям чистой науки, — найдет разгадку в ней самой, в этой науке, что сразу уничтожит понятие о темном суеверии отсталых умов[1].

X

Ранние воспоминания.—Посетители трактирчика-клуба на Петербургской стороне.—Горский, Салиас, Тиханович.—Фигуры литературной колоды И. И. Панаев, Щербина и Краевский.—А. Я. Панаева-Головачева.—Д. В. Григорович — художник и фантазер.

Мы сидели дружественной компанией в нашем излюбленном трактирчике на углу Большого проспекта и Введенской улицы, на Петербургской стороне. Комната, или, вернее, полкомнаты, где про-

[1] От того что суеверие будет научно объяснено, суеверные люди конечно, не станут передовыми, как наивно верит суеверный автор. *Ред.*

исходили наши заседания не менее трех раз в неделю, была узкая, тесная, с нависшим потолком и вдобавок загромождалась какой-то рухлядью в одном углу. Но нам она казалась милой, уютной, дорогой, родным уголком. Много отрадных часов провели мы здесь, беседуя и о жгучих вопросах дня, и о событиях в литературе, и обо всем, чем красна молодость.

— А что свободна наша комната? — входя гурьбой в трактирчик, спрашивали мы у «приказчика на отчете» Арефьича, большого поклонника и покровителя чернильной армии, в особенности молодых писателей. И если получали в ответ, что комната занята, мы уходили огорченные и, побродив немного, наведывались еще раз, и лишь после вторичной неудачи расходились по углам.

На этот раз мы почему-то забрались спозаранку, чем был немало удивлен старый будочник, стоявший с алебардой, мимо которого мы всегда проходили по пути в трактирчик, и часто заговаривавший с нами. Нас было пятеро: Кузьма Юдич Сачков, мелкий чиновник, стихотворец, писавший почти исключительно на темы о канцелярской службе, о неприглядной тьме бедняков; его большой друг и собутыльник Петр Горский, помещавший недурные повести и рассказы не только в мелких изданиях, но и в толстых журналах: в «Современнике», во «Времени» братьев Достоевских, в «Библиотеке для Чтения» при редакции Писемского. В рассказе «Высокая любовь» он вывел своего друга Сачкова, изобразив попутно быт литературной богемы. Рассказ этот очень нравился Достоевскому и был напечатан в его журнале. В те времена литературный труд заурядного писателя, хотя и даровитого, оплачивался более чем скудно, и Горский брался за всякую другую работу: колол дрова, таскал кули на бирже, сортировал сельди и прочее. Были с нами еще: Александр Николаевич Изюмов, Всеволод Крестовский тогда еще не автор «Петербургских трущоб» и «Панургова стада», а деятельный сотрудник «Русского Слова» и целого ряда толстых журналов и еженедельных изданий.

В нашем кружке он считался аристократом, материально обеспеченным; его все любили, ценили его талант, его пылкость и ставили ему в заслугу, между прочим, и то, что товарищем его по университету был Писарев.

Мы сидели и толковали о лекции профессора Платона Васильевича Павлова, прочитанной им публично по поводу тысячелетия России, рассуждая о том, уйдут или не уйдут его за эту лекцию [47], когда на пороге нашей комнаты появился немного худощавый, с бледным лицом шатен. Он отставил ногу вперед, сделал рукой классический жест и торжественным голосом произнес:

Приветствую дворянский съезд!
Я опоздал... Упрека чаю,
Но съезд пускай меня не съест,
А с сухарями даст мне чаю!

«Дворянским» назвал он наше заседание потому, что все мы, за исключением Чижика, ютились на Большой и Малой Дворянских улицах. Это был юный поэт Владимир Григорьевич Тиханович. Он печатался в «Искре», «Гудке» Минаева, во «Времени» Достоевских, в «Свистке». Талант его был замечен, и на него возлагались надежды, а он взял да и умер чуть ли не на двадцатом году. Злая чахотка свела его в могилу, полного жизни, сил, в самом расцвете таланта. Образованный, начитанный, он знал отлично языки, страстно любил литературу. Иностранных поэтов цитировал наизусть, декламируя на память чуть не половину «Книги песен» Гейне. Любил он и понимал природу своей чуткой, нежной душой, и эта любовь, эта нежная душа выливалась в его лирических пьесах, от которых веяло росистым лугом, простором полей, украинским небом. Он был лириком чистой воды, но почему-то считал себя юмористом. Лирические свои стихотворения Тиханович декламировал в нашей компании только после долгих упрашиваний, как-то робко, как будто конфузясь, зато юмористические читал он с охотой, экспромтом, неожиданно.

Раз кто-то из нашего кружка шутливо подчеркнул его дворянское происхождение. Тиханович ничего не ответил, задумался, подошел к окну, вынул свою записную книжку и что-то стал строчить в ней. Спустя минут десять-пятнадцать он подошел к нашему столу и прочел:

Дворянин я. Ну, так что же?
Чем же лучше я плебея?
Как и он, трудясь до пота,
Я один гроши имею.
Как и он, я зачастую
Зачерствелую ем корку,
Как и он, курю на трубки
Я российскую махорку.
И терплю от сытой власти
Угнетающую муку...
Дай же, брат мой по страданью,
Загорелую дай руку!
Я пожму ее скорее,
Чем одетые в перчатки:
Руки те хотя наглецы,
Да владельцы-то их гадки.
Гадки тем, что их притворство
Маскируется с искусством,
А мужик — тот нараспашку
И всегда с открытым чувством...

Ильинович подсел к нам, заявил, что очень доволен сегодняшним днем, что ему повезло на хорошие карты. Он в руки не брал карт, презирал всякие игры, «коммерческие» и азартные, и мы были изумлены его словами.

— Ну да, мне повезло сегодня на хорошие карты... литературной колоды: ведь в ней же есть и фигуры, а простые карты! — острил он. — А я видел несколько королей, с умилением рассматривал их и с одним беседовал даже. А именно: я отдал Некрасову свое сатирическое стихотворение. Сказал, что если цензура пропустит, он с удовольствием поместит в «Свисток». Мельком поглядел и на червонного короля — на Ивана Ивановича Панаева, пустившего в ход слово «хлыщ», которое так привилось теперь в литературе и в обществе; все равно как Достоевский выдумал тоже популярное теперь выражение: «стушеваться», известное еще со средины сороковых годов. Не правда ли, господа, Панаев — фигура интересная во всей литературной колоде, хотя поистрепала слегка судьба, или, лучше сказать, время.

Мы согласились, и нам так понравилось уподобление больших писателей карточным фигурам, что мы, выйдя из «заседания», продолжали, говоря о литературе, называть литературных корифеев фигурами, и это слово долго еще оставалось в нашем обиходе...

Прошло не более месяца, как мы беседовали здесь об одном из столпов «Современника»,—и судьба покалечила его. Панаев умер скоропостижно. В день смерти он еще утром много работал по делам журнала, потом сделал несколько визитов кое-кому из литературных друзей и к вечеру заехал к своему родственнику М. А. Алмазову, востоковеду, причастному к литературе, и у него почувствовал себя дурно. Вернулся он домой часов в одиннадцать и лишь с помощью лакея едва добрался до постели, а минут за двадцать до полуночи он был уже мертв.

Панаев был популярен не только в литературном мире, но и среди простонародья, потому что бедный люд приходил к нему за помощью — и денежной, и всякого рода — и всегда получал ее. Наборщики и прочие служивые «свинцовой армии» типографии Карла Вульфа, где печатался «Современник», прямо боготворили его; он крестил у них детей, делал им подарки, хлопотал за них в разных учреждениях. Нелюбивый, краткий, простак в обращении, доброжелательный, он умел заставить полюбить себя. И те, кто был им недоволен, как одним из редакторов «Современника», все-таки отдавали ему должное, как человеку доброму и снисходительному, и даже слегка глумились над его добротою. Случалось мне слышать,

как ни перед чем не останавливающиеся «остроумцы» говорили: «Панаев поразительно добр, он готов был бы по чьей-нибудь просьбе отдать свои любимые брюки, уступить жену и так далее»...

Поэт Тиханович был прав, причисляя Панаева к хорошим картам литературной колоды, к фигурам. Блестящий фельетонист, беллетрист так называемой «натуральной школы», повестями которого восхищался Белинский, его друг, Панаев с честью прослужил литературе около тридцати лет и некогда имел большой успех. Его нравоописательные очерки: «Барышня», «Барыня», «Прекрасный человек», «Тля», «Онагр», «Актеон», «Опыт о хлыщах» и роман «Львы в провинции» читались с жадностью. Едва ли не первый он ввел в литературу стихотворные пародии, которые, так же, как и фельетоны, печатал под псевдонимом «Нового поэта». Одна из его пародий сошла за оригинальное стихотворение достаточно известного поэта. Вот что мне рассказывал по этому поводу Алексей Михайлович Жемчужников, основатель и главный деятель знаменитой фирмы «Козьма Прутков».

Однажды Панаев держал пари, что напишет пародию во вкусе Фета, и что публика примет ее за настоящую фетовскую пьесу. На вечере одного из литературных вестовщиков он вынул из бокового кармана листок и сказал:

— Раньше чем напечатано будет, прочту вам интересное стихотворение нашего любимого поэта, только что мне присланное. угадайте — чье?

И он превосходно прочел:

Густолиственных кленов аллея,
Для меня ты значенья полна:
Хороша и бледна, как лилея,
В той аллее стояла она.
И, головку склонивши уныло
И глотая слезу за слезой,
«Позабудь, если можно, что было», —
Прошептала, махнувши рукой.
На нее, как безумный, смотрел я.
И луна освещала ее;
Расставаясь с нею, терял я
Все блаженство, все счастье мое!
Густолиственных кленов аллея,
Для меня ты значенья полна:
Хороша и бледна, как лилея,
В той аллее стояла она...

— Фет! Фет! Как это мило — восклицали в один голос присутствовавшие. Кто-то попросил дать ему списать стихи.

То же самое проделал Панаев у других знакомых. И стихотворение пошло ходить по рукам. А затем А. Дюбюк или кто-то другой из композиторов попросил у Панаева позволения положить слова мнимого Фета на музыку. Панаев выиграл пари и положил конец мистификации, напечатав стихи в фельетоне «Современника» под своим псевдонимом («Новый поэт») и под заглавием «Будто из Гейне». Пари это обошлось Панаеву не дешево. Он зашел в нотный магазин Н. Гутхейля и попросил дать ему романс «Густолиственных кленов аллея». Какого же было его удивление, когда на нотах он прочел: «Слова Фета». «Сколько экземпляров этого романса вы напечатали?» — спросил Панаев. Оказалось, что всего выпущено пятьсот экземпляров, и около пятидесяти уже было продано. Не долго раздумывая, Панаев купил все остальные экземпляры, объяснив издателю, что стихи, положенные на музыку, вовсе не Фета. Приобретенным романсом он долго растапливал камин у себя в комнате, и Жемчужников застал его за этим делом.

Панаев одевался великолепно, даже изысканно; по уверению его близких приятелей, у него было более дюжины брюк, и он постоянно возобновлял их запас. «Мне показалось, что Панаев смотрит сегодня как-то особенно гердолию, — говорил Дружинину Григорович, — верно, опять сшил себе новые, изумительные брюки!» Дружинин на такую шутку морщился, так как и сам любил одеться щегольски. В комедии Григоровича «Замшевые люди» одно из участвующих лиц говорит другому: «Какие у вас симпатичные брюки?» Григорович говорил мне, что эта фраза — подлинное выражение Панаева, который не мог смотреть равнодушно на красивые брюки. Точно так же он не в состоянии был скрыть неприятного чувства при виде дурно сшитого платья, плохого белья, немодного галстука. Желчный, злой Щербина не раз попрекал Панаева этой слабостью, его франтовством, и в своей «Физиологии Нового поэта», назвав его «беспощадным Ювеналом каленкоровых манишек», говорит, будто Панаев в своих фельетонах «пишет гимны в честь портного» и спешит доложить своим читателям:

Что его до мелкой пряжки —
Славный Шармер одевал,
Что голландские рубашки
Утро каждое менял...

В этой «Физиологии» говорилось про «Нового поэта», что —

Он не может похвалиться
Ни талантом, ни умом:
Пусть бедняжка отличится
Перед всеми хоть бельем...

Панаев, будучи на редкость добряком, не только не рассердился на Щербину, которого не раз выручал из беды, но взял да и напечатал целиком в своем «Современнике» эту грубую и пошлую карикатуру и послал ее автору, жившему в Москве, в маленькой посылке при письме, в котором стояло следующее:

Великому греко-российскому сатирику
Николаю Щербинасу.

Своей сатирой чудной вы
Надсмяли не много шуму, —
Шлю за нее кусок халвы
И целый фунт рахат-лукуму!

Московский поэт Борис Николаевич Алмазов, передававший мне это, рассказал, что Щербина съел полученные сласти и выругал пославшего их. «Панаев, — говорил он приятелям, — человек без всякого самолюбия. Вместо того, чтобы вызвать меня на дуэль, посылает мне гостинцы, да еще такие, которые я обожаю... Пошлю ему горчицы и кайенского перцу... Пусть обжирается!» А Панаев, действительно, объедался этими приправами и за завтраком, и за обедом, и за ужином, запивая их дорогим вином. Крайнее злоупотребление всевозможными пряностями, острыми сырами, увлечение джином сильно способствовали развитию сердечного недуга у Панаева, и, по убеждению докторов, ускорили печальную развязку.

Одною из слабостей Панаева было тяготение к полусвету, быт которого он изучил превосходно, до мелочей. Он давал мастерские портреты дам полусвета, картинки их жизни, силуэты обожателей этих особ, начиная от армейцев и кончая титулованными лицами, разными гешефтмахерами и прочими. Очерки этого рода, являвшиеся новостью в литературе, имели большой успех в публике, и, быть может, из-за них фешенебельные читатели знакомились с «Современником». У «этих милых дам» «Новый поэт» почерпал обильный материал для своих фельетонов и был своим человеком в гостиных и будуарах представительниц полусвета. О Панаеве ходили по поводу его слишком частых визитов к «камелиям» рассказы, похожие на анекдоты. Рассказывали, будто он ухитрился перессорить между собою четырех «камелий», и что известная тогда кокотка Арманс послала ему вызов. Один великосветский знакомый Панаева нарочно посетил его, чтобы выведать, правда ли это. Панаев успокоил знакомого, но самым серьезным образом уверил его, что на днях определяется юнкером в какой-то полк.

Похороны Панаева были на редкость многолюдны. Громадная толпа народа от литераторов и чиновников до рабочего люда вклю-

чительно, провожали это от Преображенского собора на кладбище Фарфорового завода: чуть не вся тогдашняя литературная семья присутствовала на них. Проводить писателя в последнее жилище явился его недоброжелатель и конкурент Андрей Александрович Краевский, одна из видных фигур литературной колоды.

Его появление не мало удивило всех знавших «среброкудрого Андрея», который при жизни Панаева не стеснялся рассказывать про него небылицы и ненавидел его до смешного, несмотря на то, что был его шурином. Рассказывали, что этой ненавистью пользовались некоторые писатели. Одному беллетристу соредактор Краевского вернул рукопись его рассказа. Беллетрист тогда проделал такую штуку: он отправился к Краевскому, добился у него аудиенции и сказал ему, что по неопытности понес этот рассказ Панаеву, а последний объявил ему, что это такая плохая вещь, что ее даже в «Отечественных Записках» не примут, и что, хотя Краевский ничего не смыслит в «изящной словесности», но все-таки поймет, что рассказ никуда не годится. Краевский, — как рассказывал мне сам автор, — пронизал насквозь своим орлиным взором беллетриста и прежде всего объявил ему, что «Панаинка» врет и сам невежда круглый, а затем перелистал рукопись к твердым почерком надписал на ней: «Желаю, чтобы было напечатано в ближайшей книжке!» И рассказ был помещен.

По поводу присутствия Краевского на похоронах Панаева кто-то из юных поэтов написал даже стихотворение. Помню только его начало:

Изумляется берег весь невский,
Егеря затрубили в рога,
Что Андрей Александрыч Краевский
Очутился у гроба врага...
Он с притворною грустью шагает
И хоть думает: «Вот благодать!»,
Но теперь мертвеца не ругает,
Чтобы грязью потом закидать...

Вдову Панаеву, тогда очень красивую женщину, Авдотью Яковлевну, на похоронах вел под руку Некрасов. Будучи добрым другом своего товарища по изданию «Современника», Некрасов был еще более близким другом его жены. Панаева была дочерью знаменитого трагика Якова Григорьевича Брянского и получила воспитание для того времени сносное. Она была умна и задорно привлекательна: особенно хороши были у нее бойкие, выразительные черные глаза, которыми она умела управлять... и побеждать. Панаев женился на ней молодым, страстно влюбившись в нее. Многие из писателей, в особен-

вости из сотрудников «Современника», ухаживали за нею, были поклонниками ее красоты и таланта, которого у нее нельзя было не признать. Панаева писала интересно, умела всегда придать внешнюю занимательность своему произведению. Под псевдонимом Н. Станицкого она поместила много повестей и рассказов в «Современнике» и в сотрудничестве с Некрасовым написала два больших романа «Три страны света» и «Мертвое озеро». В литературном мире она одно время считалась «писательницей, подававшей надежды», но критика шестидесятых годов развенчала Станицкого — и Панаева смолкла. Будучи уже в возрасте бальзаковских героинь, Авдотья Яковлевна вторично вышла замуж за Аполлона Филипповича Головачева, и по смерти его вынуждена была снова взяться за перо. Она растеряла своих друзей, прежние литературные связи и под конец влачила грустное существование, вечно нуждаясь и с трудом пристраивая свои рассказы. В конце концов бывшая львица страшно озлобилась, возненавидела людей. И это настроение красной нитью проходит через ее литературные воспоминания, в которых так мало правды и так много слепой ненависти к хорошим людям, к заслуженным деятелям.

В литературных кругах ходило много анекдотов о Панаевой-Головачевой. За ней ухаживал какой-то блестящий гвардеец; она каталась с ним, ужинала и так далее. Панаев, у которого приличие стояло на первом плане, заметил ей однажды: «Кажется, я не мешаю тебе веселиться, приятно проводить время, но... il faut sauver les apparences». Панаева в ответ на этот упрек засмеялась и объявила мужу, что она задумала новую повесть, и ей необходимо писать с натуры, потому что «так будет вернее». В конце концов добрый Иван Иванович поверил этому «объяснению» и чуть ли не стал рассказывать в кругу приятелей об этой оригинальной затее жены, перед умом которой он преклонялся. Некрасов понимал ее лучше, больше, но его горячая дружба к ней все же скоро остыла. Мне рассказывали за верное, что к первому периоду дружбы Некрасова с Авдотьей Яковлевной относятся его грациозная лирическая песенка:

Мы с тобой бестолковые люди;
Что минута, то вспышка готова...

В последний раз я встретился с Авдотьей Яковлевной как раз за год до ее смерти (она умерла в марте 1893 года). Она принесла мне большой рассказ, листов в пять, для «Всемирной Иллюстрации», которую я редактировал. В то время писательнице было семьдесят три года, но, несмотря на такой почтенный возраст, она удивляла

своей бодростью, держалась прямо: все еще выразительные глаза были ясны, и в них по временам вспыхивали недобрые огоньки, когда, увлекаясь воспоминаниями, она касалась лиц, ей неприятных, которым, несмотря на давность времен, она не могла простить. С особенным раздражением говорила она о Писареве, не скупясь на гривуазные анекдоты о нем, не щадя его романических историй, сгущая краски в портретах героинь его личных романов. Не могла она забыть «оскорбления», нанесенного ей критиком, который «свел к нулю» всю ее деятельность в своей статье «Кукольная трагедия с букетом гражданской скорби. «Если бы Панаев был жив, — говорила она с уверенностью, — он за такую невозможную статью вызвал бы Писарева на дуэль...» Она послала дерзкое письмо «этому выскочке», «неотесанному молокососу», а он вернул ей письмо и карандашом начертал внизу его: «Таланты утрачиваются от недостатка упражнения и от катиска времени».

Зато глаза писательницы подергивались маслянистой влагой, делались у ней томными при воспоминаниях о тех «бесчисленных» поклонниках (она сильно подчеркивала эти слова), которые отдавали ей должное, как женщине и романистке. Ее «Роман в петербургском полусвете» «читался нарасхват», и она получила множество самых лестных писем, превознесших ее, от лиц, даже ей незнакомых.

«Тургенев, получая книжку «Современника», — с гордостью хвалилась она, — прежде всего искал моего рассказа и, если находил, с жадностью набрасывался на него. Он сам в этом признавался мне!» О Тургеневе она отзывалась, между прочим, как о «величайшем баснике», «из которого женщины могли сделать что угодно».

Дружинин, большой знаток и переводчик Шекспира, был, по ее словам, истинным ценителем ее произведений и мог бы написать блестящую статью о них, если бы этого не запретила ему сделать романистка Ахматова, писавшая под псевдонимом «Лейла», будучи очень близка с ним.

Мне очень хотелось навести мою собеседницу на воспоминания о Гончарове, но она говорила о нем как-то вскользь, объявив, что он был мало интересен, смотрел почти всегда «нахлаком». Она припомнила что в «Современнике» около года или больше Гончаров помещал скучные заметки, общественные и литературные. Щербина написал на него шуточное пятистишие:

Неповоротлив, слаб, ленив:
Но в силах он любить, пленяться,
Коль надо, даже побраниться;
И непомерно он блохлив,
Зане блоху ловить ленится...

К ней г Панаевой, Гончаров относился прекрасно, быть может, за то, — шутила она, — что она «его поила отличным чаем, его любимым напитком». Однажды он подарил ей на память оттиск своего рассказа «Иван Саввич Поджабрин» и на обложке начал писать ей стихи. Быстро «вывел» четыре строчки, потом задумался, выпил машинально лишний стакан чая, сверх нормы, и стал прощаться, сказав, что докончит стихи при удобном случае, что иногда ему очень хочется писать стихи. Вот эти четыре строчки, списанные мною с обложки оттиска «Ивана Саввича Поджабрина»:

Дай бог, чтоб вы не испытали
Ни пресыщенья, ни нужды
И никогда бы не питали
Ни к людям, ни к себе вражды...

Мне очень хотелось поскорее напечатать принесенный Панаевой-Головачевой рассказ, но меня затруднял его размер. Я сказал ей об этом, просил у ней денька два на прочтение, и она согласилась. Я стал перелистывать рассказ. Мне он показался очень знакомым... В конце концов пришлось убедиться, что это очень легкая, лишь в нескольких незначительных местах, переделка старого рассказа И. Станицкого — «Необдуманный шаг».

Когда Авдотья Яковлевна снова посетила меня в условленный день, я решительно не знал, как приступить к тяжелому объяснению. Пришлось прибегнуть к небольшой хитрости — попросить отсрочки еще на день и при этом сказать ей, что я раньше читал этот рассказ. Она с изумлением взглянула на меня и сказала с оттенком раздражения:

— Ну, так что ж? Во-первых, я его переделала, а во-вторых, все то ново, что хорошо забыто... Я делаю честь вашему журналу, помещая у вас вещь, которая нравилась звездам нашей литературы...

— Но все-таки она теперь устарела, — робко заметил я разгневанной писательнице.

Она вышла из себя: ее ноздри раздувались, глаза смотрели на меня с нескрываемой ненавистью.

— Вы слишком молоды еще, чтобы понимать прекрасное! — почти закричала она мне, в то время почти пятидесятилетнему человеку, потребовала у меня рукопись обратно и, не простившись, походкой королевы вышла из комнаты.

В числе поклонников Панаевой-Головачевой был и Дмитрий Васильевич Григорович, этот яркий выразитель эпохи сороковых годов, один из первых наших писателей-народников и большой знаток

искусства. Он остался ей верен до конца и зачастую помогал писательнице и делом, и советом. Благородный, великодушный, аристократ в лучшем смысле этого слова, «каждый дюйм джентльмен», по собственному выражению, Григорович долгое время считался львом в нашей столице, одевался у французских портных, носил одноглазку и не пропускал ни одного бала, ни одного маскарада. Петербургские франты подражали Григоровичу в выборе костюма, в манерах, во вкусах. Он был тонким гастрономом, эстетом до мозга костей и чрезвычайно интересным собеседником. Про него можно было сказать, что он «говорит, как по писаному». Когда он рассказывал самую простую историю, пустячок, его можно было заслушаться. Он увлекал слушателей и сам увлекался своим рассказом, давая простор фантазии, ради которой жертвовал правдой. Очень часто он рассказывал невозможные вещи, и ему все-таки верили: настолько правдоподобно обставлял он свой рассказ. Сверстники Григоровича, привыкшие к его фантастическим повествованиям, и те затруднялись определить иногда, правду он говорит, или «сочиняет».

Однажды в ресторане Григорович собрал тесный кружок слушателей и, между прочим, стал рассказывать о своих увлечениях и победах. Он встречался в маскараде с одной высокопоставленной особой, которую заинтересовал тем, что нарисовал до мелочей картину ее прошлой жизни, и особа моментально влюбилась в него. От нее веяло особенными духами, добываемыми из одной породы кактуса, цветущего в сто лет раз, небольшой флакон которых стоит около пяти тысяч франков. Особа, за которой строго и слишком усердно следили, предложила ему устраивать свидания в извозчичьей карете. Григорович, скрепя сердце, согласился. «Скрепя сердце», потому что он во всем, решительно во всем, любил комфорт... Особа попросила у горничной ее платье, за которое щедро заплатила, переоделась в него, ушла с Григоровичем из маскарада, наняла извозчика, и влюбленные поехали куда-то за город. Так виделись они ежедневно в разное время, чтобы сбить с толку стражей, следивших за особой, которая, наконец, сделалась матерью. Этот акт произошел в той же извозчичьей карете, и сам Григорович вынужден был заменять акушерку... В одну темную ночь, — когда это произошло, — они сидели дольше обыкновенного, вышли из кареты и положили ребенка у ворот воспитательного дома... «Я не в состоянии продолжать дальше», — говорил Григорович, ероша волосы и поднося платок к глазам. Этот рассказ, варьируя его до бесконечности, он передавал многим...

«Чем больше спи, тем больше хочется», — говорят французы, и эта поговорка вполне оправдывалась на Григоровиче. Все больше и

больше забираясь в область невероятного, он как будто чувствовал ненасытимость: она росла в рассказчике, и точно какая-то сила, неодолимая и ему самому неведомая, влекла его в непроходимые дебри лжи.

«Если бы не моя проклятущая лень, — говорил мне Шеемский, — я бы продолжил моих «Русских лгунов» и расписал бы милейшего Дмитрия Васильевича во-всю... Сколько раз он меня заставлял разевешивать уши и верить небылицам, которые без счета плел, по одурения! Зашел я раз в книжную лавку Василия Петровича Печаткина. А там Григорович что-то серьезно-пресерьезно рассказывает и уже разошелся, потому что щеки даже горят... Поздоровались мы, он стал болтать другое, а Василию Петровичу торжественно объявляет, что, мол, досказу после мою историю. «Вот бы, — отвечает ему Печаткин, — вы, Дмитрий Васильевич, это самое написали бы... Только чтобы правды больше было... И тиснуть бы этот рассказ в нашу «Библиотеку»!» Засмеялся Дмитрий Васильевич и говорит: «Не стоит... Скажут—выдумка... Теперь век неверия!» А рассказывал он в сто первый раз, как императрица французская каталась в Булонском Лесу, а он, Дмитрий Васильевич, шел пешком... Остановила она лошадь, вышла из кабриолета и спрашивает, была ли так красива его мать, как сам он... (Григорович, действительно, был очень красив в молодости, обладая интересной и мужественной наружностью.) Тут низко цвел каштан; сорвала его, подала ему, велела поцеловать ручку и, вскочив в экипаж, смеючись, проговорила: «Увидимся там-то в маскараде, вы с этим цветком прогуливайтесь в зале, я к вам и подойду!». Покатила дальше и долго оглядывалась на него...»

Мне Григорович рассказывал, выйдя однажды со мною из редакции журнала «Время» братьев Достоевских, о том, какой у него был интересный, хотя и мимолетный роман с одной богатой аристократкой-неаполитанкой. Она была форменный урод, но ее огромные черные глаза поражали своей необычайной красотой и действовали магнетическим образом, как взор змеи на кролика, которого она собирается пожрать. Рассказчик был влюблен в эти глаза до безумия, и неаполитанка делала с ним, что угодно. Как-то заставила его спрыгнуть с высокой горы, и он не разбился потому, что догадался растопырить фалды своего сюртука, наподобие зонта, и благополучно спустился на землю. В другой раз она приказала ему съесть в один присест с лишком три сотни устриц. Он съел, а потом под благовидным предлогом ушел, вскочил в ближайшую аптеку и принял там рвотного. Его роман кончился тем, что муж обладательницы удивительных глаз

поймал влюбленную парочку, катавшуюся по заливу, и сбросил обоих из лодки, ударив их крепко по голове веслами.

«Она, — повествовал Григорович, — утонула, а я спасся, потому что, падая в воду, поспешил затаить дыхание и зажать пальцами нос и уши. Так продержался около часа, вынырнул на поверхность воды и доплыл до берега, хотя пришлось плыть версты две, если не больше... Вернувшись домой, я выпил три бутылки «лакрима кристи» и проспал пять суток, как убитый. Приходили власти, свидетельствовали меня и, убедившись, что я жив, оставляли меня в покое... А затем я уехал из Неаполя... Кажется, что о моем романе, о финале его, одна неаполитанская газета напечатала несколько фельетонов...»

Григорович рассказывал все это с мельчайшими подробностями, плавно, картинно, попутно набрасывая характерными штрихами места происшествия, изображения природы, собственные ощущения. Он много подкупал этим своих слушателей, и если они деликатно помалкивали после рассказа, он самодовольно говорил: «Вы поражены, не правда ли?.. То ли еще со мною случалось!..»

Григорович-«фантазер» и Григорович-деятель, радетель какого-нибудь плодотворного, прекрасного предприятия, — это были два разные лица, ничего общего друг с другом не имеющие. В жизни он был глубоко правдив, честен, верен своему слову, аккуратен, точен. Все знавшие его давно, чуть не с первых шагов в литературе, удивлялись стойкости его характера и уравновешенности. Но французская кровь (по матери он был француз) все же проглядывала в нем, сказывался ее темперамент, энергия и стремительность при созидании чего-либо. У него была бездна вкуса, изящного, тонкого вкуса настоящего художника. Нельзя было не признать в нем большого знатока искусства и художественных предметов.

Помню, как-то я показал ему фарфоровую небольшую чашку с рисунком от руки. Недолго осматривал он ее, полюбовался, похвалил и сказал: «Это фарфор Попова, сделанный по его заказу за границей; таких чашек было не особенно много... На вашей изображена последняя сцена из поэмы Альфреда де-Виньи «Потоп». Григорович замечательно верно определил происхождение этой вещи, которая действительно принадлежала Василию Степановичу Попову, известному статс-секретарю императрицы Екатерины.

Точно так же не ошибся Дмитрий Васильевич и насчет старинных графинов с позолотой, из которых я угощал его деревенской наливкой. «Графины — русские, сделаны на Императорском заводе, — объявил он, — и думаю, что это из коллекции графа П. В. Завадовского», как и было в действительности.

XI

С. И. Шубинский, как человек и писатель.—Несколько слов о Петре Петровиче Каратыгине.—А. В. Старчевский; его грубость и скупость.—Рассказы Старчевского о Сенковском (бароне Брамбеусе).—Слабость Сенковского; его взгляд на русскую литературу; его самомнение.

Однажды осенью 1860 г. в редакции «Русского Мира» я увидел бравого гвардейского офицера. Высокий, статный блондин, он держался с большим достоинством и имел чрезвычайно солидный, деловитый вид. Говорил много и разумно, удивлял своей начитанностью и познаниями в исторической области. Но принес он не статью, а беллетристику — обличительный рассказ «Один из ростовщиков».

— Если мой первый рассказ вам понравился, — сказал он Гиероглифову, — то этот новый заинтересует вас еще больше. Мой герой списан без церемонии, прямо с натуры... Впрочем, скоро я брошу рассказы и перейду к моей любимой истории. Михаил Дмитриевич Хмыров, узнав, какую массу исторических материалов я поглотил за сравнительно короткое время, прямо посоветовал мне не разбрасываться и сосредоточиться на истории, на восемнадцатом веке... Я готовлю для вас большой очерк об Антоне-Ульрихе Брауншвейгском... Ведь вы возьмете, не правда ли?

Гиероглифов ответил стереотипное «очень рад» и прибавил, что это очень хорошо, если автор, чувствуя призвание к занятиям историей, остановится на этом.

— Ведь вот, — сказал он, бросая лукавый взгляд в мою сторону, — я знаю еще одного начинающего молоденького писателя, который страстно любит историю литературы, занимается библиографией, собирает сведения о всех писателях и... тем не менее, пишет и печатает рассказы и стихи, минуя свою специальность... Кстати, вы не знакомы?

И, назвав мою фамилию, он сказал:

— А это Сергей Николаевич Шубинский... Мне кажется, что вы можете быть полезны друг другу.

С этого и началось мое знакомство с Шубинским, которому тогда было лет двадцать пять с небольшим.

Оказалось, что мы оба начали свою литературную деятельность в одном и том же году. Несмотря на молодость, Шубинский был очень практичен для своих лет, действовал во всем вполне осмотрительно, расчетливо. Из развлечений любил только театр, а больше всего тяготел к книгам. Он шел определенной дорогой, был исправным слу-

жакой, отличался удивительной аккуратностью. Одет был, что называется, с иголочки; все в нем было прилично, манеры у него были спокойные, и каждое слово как будто продумано, взвешено. Любил он и посудачить, перемыть косточки своих знакомых, литераторов в особенности, но это выходило у него как-то округленно, обточенно, без сучка, без задоринки и чрезвычайно благопристойно. Только значительно позднее его сарказм, его ирония стали выпуклее, ярче, беспощаднее; по отношению ко многим деятелям печати в его характеристиках и остротах уже слышались нотки раздражения и брюзжанья. Но всегда он был крайне осмотрителен.

Для первого знакомства он предложил мне зайти к нему — посмотреть, как много у него выписок из разных книг и исторических архивов. Все в его квартире было неимоверно аккуратно, все на своем месте. Папки с выписками все перенумерованы, в каждую вложен листок с содержанием заключающихся в ней материалов. Нигде ни сора, ни пылинки; все не только прибрано, установлено, но и как будто приглажено. Показав мне свои «богатства», Шубинский много говорил о своих занятиях вне службы, с каким удовольствием он напишет несколько очерков по имеющимся у него историческим материалам и... сколько он при этом заработает. Надеясь на таких добрых, хороших, опытных советников, как М. Д. Хмыров и Михаил Иванович Семевский, он думает деятельно заняться разработкой русских исторических материалов. Его страшно интересует в особенности быт восемнадцатого века, нравы тогдашних служилых людей, помещиков, крестьянства. Он читает до одурения, запоем и ради этого часто изменяет своему правилу вести самый регулярный образ жизни.

Познакомившись со мной покороче, он помогал мне в моих библиографических изысканиях, водил по букинистам, у которых в те времена можно было доставать редчайшие книги за грош. Урезывая себя до последней степени, он тратил все накопленные деньги на покупку книг, на копии с архивных документов, и мало-помалу у него составилась богатая историческая библиотека. Умеренность и аккуратность были отличительными чертами его характера. В его квартире, в рабочей комнате царил идеальный порядок. Газетные вырезки, выписки, материалы для статей были строго систематизированы, хранились в папках, занумерованных, снабженных описанием содержимого. Самый почерк у него был ровный, каллиграфический, особенной красоты. Шубинский любил свое дело, был ему горячо предан, и, обладай талантом, несомненно, выдвинулся бы, был бы хорошим ученым.

Сергей Николаевич без церемонии экзаменовал меня по моей специальности и убедившись в моей обширной памяти, старательности

и работоспособности, нашел мне довольно хорошо оплачивавшуюся работу — составление каталога книг и рукописей для одного морского офицера, большого библиомана. Сам же Сергей Николаевич уже начинал тогда собирать книги, из которых потом составилась ценная историческая библиотека и при ней архив Шубинского, тщательно хранившего всю переписку, как редактора журналов «Древняя и Новая Россия», «Исторический Вестник», будучи уже незаурядным исследователем восемнадцатого века.

До отъезда моего «по независящим обстоятельствам» на Юг я довольно часто виделся с Шубинским и научился ценить его доброжелательство, корректность, благородство, удивительную верность своему слову, стремление оказать товарищу услугу, возможную поддержку, помощь. Нередко он казался сухим, в его тоне слышались насмешка, сарказм; он не прочь был посудачить, перемыть косточки знакомых и незнакомых, но из-под этой сухости, этого неприятного тона невольно выглядывала прекрасная душа, человечность, отзывчивое сердце.

Один молодой писатель, его знакомый, в борьбе с голодом и холодом и несчастными обстоятельствами занемог и должен был лечь в больницу. Как только Шубинский узнал об этом, он стал аккуратно посещать больного писателя и никогда не приходил с пустыми руками, принося фрукты, сласти, книги.

С года нашего знакомства Шубинский уже стал печатать свои исторические рассказы и очерки: «Принц Антон-Ульрих Брауншвейгский», «Князь Иван Долгорукий», «О князе Меньшикове», «Поручик Федосеев», «Граф А. И. Остерман». Написанные легко, очень популярно, они имели свой круг читателей, и журналы печатали их чрезвычайно охотно. Изменив своему намерению посвятить себя исключительно истории, Сергей Николаевич поместил две беллетристические вещицы: одну в юмористическом журнале «Заноза», издававшемся поэтом М. П. Розенгеймом. — под заглавием «Коньков», обличительный, интересно написанный рассказ, а другую в «Сыне Отечества» (после ухода Старчевского), заглавия которой не припомню. Кажется, этим дело и окончилось, и Сергей Николаевич, с 1864 по 1874 год включительно, отдавшись любимому делу, стал усиленно печатать исторические рассказы и материалы в «Петербургских Ведомостях» В. Ф. Корша, с которым был дружен, в «Северном Сиянии» Хмырова, «Всемирном Труде» д-ра М. А. Хана, «Русском Архиве», «Всемирной Иллюстрации» и других изданиях. Здесь им напечатаны были рассказы: «Дочь Бирона», «Убийство Спиклера», «Невица Габриелли», «Русский чудак XVIII столетия», «Березовские ссыльные», «Русский помещик XVIII

столетия», «Граф К. Г. Разумовский», «Придворные шуты и шутовские свадьбы» и так далее.

От легких исторических рассказов Шубинский перешел к материалам по истории восемнадцатого века и сопроводил примечаниями «Записки фельдмаршала графа Миниха» и «Письма леди Рондо», жены английского резидента при русском дворе.

Расставшись с Шубинским и проживая на Юге, я как-то потерял его из виду. И вдруг получаю от него совершенно неожиданно письмо. Это было уже в исходе семидесятых годов.

Он писал:

«Насилу удалось мне, благодаря знакомству с редактором «Детского Чтения», где вы работаете, обнаружить ваше местопребывание. Куда это вы так стремительно скрылись, добровольно или подневольно — не знаю?.. Уже третий год, как я редактирую литературный исторический журнал, выходящий ежемесячно, случайным крестным отцом которого очутился Василий Степанович Курочкин, небезызвестный вам поэт-переводчик и основатель «Искры». За год до своей преждевременной смерти он, встретясь со мной, придумал журналу удачную кличку «Древняя и Новая Россия». Программу помогли мне выработать друзья-приятели Ефремов, Карнович, и Бестужев-Рюмин. При их благосклонном участии и при содействии Костомарова, Забелина, Соловьева, Иловайского, Мордовцева и прочих историков и других писателей журнал подвигается вперед и обещает быть интересным. Присоединяйтесь к сонму моих многочисленных сотрудников. Присылайте биографические очерки, библиографические заметки. Журнал сам высылается. Плата у нас скромная, но аккуратная. Жду ответа. Стихи ваши в журналах вижу, но занимаетесь ли вы серьезным вашим делом — не имею понятия. Преданный С. Шубинский».

Приглашение Сергея Николаевича я принял и стал деятельно сотрудничать в «Древней и Новой России». Между тем срок моего изгнания окончился, я должен был ехать в Петербург, но... остановка была за пустым — за пустым карманом. Сергей Николаевич, когда я написал ему об этом, тотчас выручил меня самым любезным образом. Он вообще был человек обязательный, и я знаю немало случаев, когда он являлся многим на подмогу, во-время выручая из беды...

И вот мы снова свиделись. Сергей Николаевич был тем же бравым полувоенным, но уже в чине полковника на службе, и тот же чин ему был дан и в литературе. Однако с журналом ему не повезло, чисто по вине издателя. «Древняя и Новая Россия» хирела. В конце концов Шубинскому пришлось оставить редактирование журнала, в который он, можно сказать, вложил всю душу. Это была отличительная черта

Сергей Николаевича. Он весь отдавался всякому делу, им задуманному или ему порученному. Хлопотал, ночей не спал. Работоспособность у него была изумительная, знаний много, и ко всему этому прибавился еще и огромный опыт.

Урок «Древней и Новой России» не прошел для него даром. У него были все качества настоящего, заправского журналиста. И скоро ему пришлось приложить все свои способности и силы к новому, задуманному им и осуществленному Сувориным историческому органу — «Историческому Вестнику». Сергей Николаевич работал над ним до изнеможения, обставил его выдающимися сотрудниками, делал все, чтобы устоять «в борьбе с равнодушием публики», и добился весьма благоприятных результатов. Издание приобрело популярность и тесно связало с собою имя своего редактора. По разным обстоятельствам я не принимал участия в «Историческом Вестнике», но знакомство мое и добрые отношения с Шубинским продолжались.

Он был правою рукою Суворина, который, как издатель, ценил в Шубинском его уменье сторговаться с писателями. Однажды приезжает ко мне Шубинский и предлагает написать для «Русского Календаря» очерк современной литературы, при чем необходимо было дать краткие сведения о каждом писателе, его характеристику, перечислить главные работы и прочее.

— Вам, — говорил Шубинский, — как специалисту-библиографу, это не составит никакого труда, стоит только сделать выдержки из ваших карточек. Срок даем вам десятидневный. За работу Суворин предлагает вам пятьдесят рублей... Цена, по-моему, прекрасная!

Я засмеялся по поводу такой щедрой расценки. Тогда Шубинский начал надбавлять по десяти рублей и дошел до сотни.

Я избавил его от излишнего затруднения торговаться со мной категорическим отказом, и Шубинский уехал от меня огорченный и недовольный.

В другой раз меня поразило какое-то странное отношение к писательской работе в сущности доброго и отзывчивого Сергея Николаевича. Приняв на себя редактирование одного захудалого иллюстрированного журнала, я стал вербовать сотрудников. Поехал и к Шубинскому. Он дал полное согласие и порекомендовал мне еще, как замечательного полезного работника, Петра Петровича Каратыгина, прекрасного беллетриста и компилятора. «Только много вы ему не давайте, он вечно нуждается и будет доволен очень малым... Смотрите, не избалуйте его, — наставительно и участливо говорил мне Шубинский. — Я держу его немножко в черном теле, — прибавил Сергей Николаевич, чтобы он больше ценил постоянную работу.

которую я дал ему!» Вскоре после этого Каратыгин умер почти в нужде, и Шубинский написал в «Новом Времени» теплую статью о покойном, о том, что он работал ради насущного хлеба, из-за грошей...

Кстати об этом забытом и мало оцененном писателе. Он был сыном знаменитого артиста и остроумца Петра Андреевича Каратыгина, сыном нелюбимым. Я знал его в пору расцвета его недюжинного таланта, когда он деятельно сотрудничал в «Современнике» 1861—1863 гг.

Большой театрал, — унаследовавший эту страсть от отца и дяди, известного трагика, — Каратыгин не пропускал ни одного спектакля французской казенной труппы и был своим человеком за кулисами. Нужда одолевала его в семидесятых-восьмидесятых годах, а он все-таки не изменял своей привычке изящно одеваться, быть всегда в цилиндре и в перчатках. Сперва он служил, а потом исключительно жил литературой. Робким, забитым, запуганным смотрел он в последние годы своей невеселой жизни. Был он удивительно добросовестный работник. Сидит, бывало, по целым дням в Публичной библиотеке, чтобы написать крохотный исторический очерк, а то и объяснение к картинке для иллюстрированного журнала. У него было много автографов артистов и писателей, между прочим — Некрасова, М. Л. Михайлова, Писемского и других. Пером владел он мастерски, и у него найдется не мало блестящих страниц, которым могли бы позавидовать многие из крупных писателей. Удивительная скромность мешала ему выдвинуться в литературе, которую он любил как-то трепетно, любовью старого неисправимого идеалиста.

По-прежнему Сергей Николаевич вел со мною длинные разговоры о восемнадцатом веке и старался, будучи ярым панегиристом Петра, открывать мне новые черты в характере и действиях великого преобразователя. Он «обожал этого «мощного властелина» и прощал ему все, до необузданного нрава и ненужной жестокости включительно, прощал то именно, что Сергей Николаевич порицал в каждом простом смертном. В эту пору моего знакомства с Шубинским я не мог не заметить, что его сарказм, его ирония по отношению ко многим деятелям печати дошли до крайних пределов, и потки раздражения все чаще и чаще стали звучать в его разговоре. Раздражение в людях сквозило в его беседах со мною, доставалось от него порой и самому Суворину. Но он оставался все тем же приятным, остроумным собеседником, джентльменом, корректным, благородным человеком, почти всегда благожелательным. Я помню, в каком восхищении от Сергея Николаевича была одна семья, которая однажды

провела вместе с ним вечер в Зоологическом саду. Он сыпал остротами, давая меткие характеристики многим литературным деятелям,—на что он был большой мастер — и не стеснялся говорить правду относительно людей, с которыми была тесно связана его деятельность. В тот вечер я подметил в Сергее Николаевиче еще одну прекрасную черту—любовь к детям. Мальчик, теперь уже взрослый, избравший себе тот тернистый путь, каким шел и его отец, обратил его особенное внимание богатством знаний своих, которыми он тогда обнаружил. Узнав, что он страстно любит книги, Сергей Николаевич был восхищен этим и убедительно просил обращаться к нему за любой книгой, которая понадобится. «Я берусь достать безвозмездно всякую, какую вы от меня потребуете». — сказал он своему юному собеседнику.

Начиная с девяностых годов Сергей Николаевич, немного устав, как он выражался, «возиться с «Историческим Вестником», охотно принимал участие и в других популярных изданиях и вернулся к тому роду произведений, с какого началась его литературная карьера. Он напечатал целый ряд исторических рассказов и очерков: «Бабушка», «Солдат Нагиба», «Жена Суворова», «История Медного Всадника», «Последний граф Головкин», «Царь-охотник», «Аристократка александровского времени», «Тайный брак» и многие другие.

Последние годы Шубинский не жил, а страдал: так тяжел был недуг, сведший в могилу этого деятеля, столько поработавшего на своей ниве, столько задавшего работы и другим в интересах науки и заработка. Он оставил по себе добрую память, потому что в жизни делал больше добра, чем ошибок. И, пробыв гостем земли без малого восемьдесят лет, он, конечно, их прожил не даром...

Еще в начале нашего знакомства С. Н. Шубинский рассказал мне о своей первой литературной неудаче. Свой очерк «Один из ростовщиков» он раньше «Русского Мира» носил к Альберту Викентьевичу Старчевскому, издателю журнала «Сын Отечества». Тот принял Шубинского не только нелюбезно, но и прямо невежливо, не попросил даже сесть, хотя сам восседал за богатым письменным столом в вольтеровском кресле. Надменно и свысока он объявил, что у него в «Сыне Отечества» с самого основания его работают лучшие литературные силы, что в пробах пера он не нуждается, за них почти ничего не платит, что литературные новички должны считать за честь печататься в таком издании, как «Сын Отечества», расходящемся в громадном количестве и открывающем путь дебютантам в другие журналы, и прочее. Потом он пробежал несколько страниц я, со словами: «Плохо, непригодно для печати», бросил рукопись на стол.

— Я выскочил, — рассказывал Шубинский, — как ошпаренный от этого сухого, до грубости неприветливого журналиста, газета которого неизвестно ради чего имела такое широкое распространение.

— Но отчего же, — возразил я Шубинскому, — вы не дали понять этому невеже и нахалу, что, как журналист, он должен подавать пример вежливости, что вы уже печатались далеко не раз и так далее?

Но Шубинский откровенно признался мне, что «заводить историю» со Старчевским боялся, страшась, что это повредит ему, молодому офицеру, по службе, что Старчевский мог налгать начальнику на него, и что вообще он предпочитает уйти от зла.

Спустя много лет мне припомнился этот рассказ, когда разорившийся и почти обнищавший Старчевский с униженным видом обивал пороги и крупных, и мелких редакций, развлекал редакторов анекдотами, иногда, против обыкновения, довольно скромными, лебезил до неприличия... Грустно было смотреть на этого седого, как лунь, старца, кланявшегося низко, пожимавшего обе руки, улыбавшегося своими сухими синими губами, открывавшими редкие, порченые зубы. Шубинский по отношению его оказался человеком незлопамятным и даже великодушным. Он поместил несколько работ Старчевского в своем «Историческом Вестнике».

Я всегда был нервен и впечатлителен, и рассказ Шубинского о крайне нелюбезном приеме Старчевского взволновал меня и разжарил. Я тогда же решил пойти к Старчевскому и воочию убедиться, так ли он относится к молодым писателям. Но предварительно я отправился к Афанасьеву-Чужбинскому и взял у него рекомендательное письмо к Старчевскому. С этим «оружием» я и направился в редакцию «Сына Отечества». Кажется, Альберт Викентьевич тогда уже не жил во дворце, то-есть в роскошнейшем доме, купленном им у знаменитого строителя Исаакиевского собора Августа Августовича Монферрана, а занимал более скромное помещение. По крайней мере, я помню довольно тесную приемную, в которой я мучился очень долго. Черпаю из моего дневника все то, что произошло дальше.

— Что надо? — не поднимая головы от стола, спросил меня Старчевский, когда, держа маленький свертон моей рукописи, я вошел в редакторский кабинет.

— Поляки, — ответил я на этот грубый вопрос скороговоркой и внушительно, — народ чрезвычайно вежливый и обыкновенно входящего посетителя просят садиться... Я принес вам рассказ на просмотр и письмо от Александра Степановича Чужбинского.

Оценивший Старчевский вскочил с кресла, смерил меня с головы до ног взглядом и, все-таки не приглашая меня сесть, сказал:

— Поляки бывают разные... но и самые вежливые разговаривают со взрослыми, почтенными людьми иначе, чем с юнцами.

— Среди образованных поляков, — задорно возразил я, — таких, которые были бы грубы с молодыми людьми потому только, что они молоды, я не встречал... А я был знаком с очень многими поляками, и у меня было не мало товарищей из этой нации...

Старчевский неприятно ухмыльнулся и сказал:

— Позвольте, милостивый государь, ваше письмо и рукопись вашу, милостивый государь... Прошу вас, пока я прочту письмо, сесть на том диване, хотя бы с ногами (он выговаривал «з ногами»), милостивый государь.

Я поместился на стул и мысленно решил ретироваться, взяв рукопись обратно. Старчевский быстро пробежал письмо, еще быстрее просмотрел мой рассказ и торжественно объявил, что он Александра Степановича любит, и что если я не переписал откуда-нибудь мое «произведение», то он выкроит из него вещичку и поместит ее в «Сыне». Я потребовал рукопись обратно, заметив Старчевскому, что это только некоторые плохие журналисты издают газеты при помощи ножниц. Старчевский вдруг переменил тон и сказал просто, вежливо и без кривляний:

— Нет, уж вы мне не портите отношений с моими друзьями... Рассказ я напечатаю целиком... Не будьте на меня в претензии: у меня сегодня отвратительный желудок... Два раза к клистиру прибегал — и ничего. До свидания. кланяйтесь Александру Степановичу и на меня не жалуйтесь.

Рассказ мой был напечатан, но деньги, очень нескоро, я получил только при содействии того же Чужбинского.

Когда, спустя много лет, я встретился со Старчевским в редакции одного иллюстрированного журнала, он с заискивающей улыбкой сказал мне:

— Узнал, узнал. Это вы у меня начинали в «Сыне», и я вас принял с распростертыми объятиями. Правда?

Мне бесконечно было жаль его, этого несчастного старика, и я не стал уверять его, что «распростертых объятий» вовсе не было.

После этой встречи он часто бывал у меня по делу. Приносил для продажи автографы разных лиц, прося где-нибудь пристроить их, читал мне черновики своих статей, о которых я также должен был хлопотать, и так далее.

— Я хочу, — сказал он мне однажды, — написать воспоминания о Степане Дудышкине, покойном критике и соредакторе «Отечественных Записок» Краевского. Дайте мне, какие у вас есть, материалы для биографии его, хочу освежить мою память.

Я дал, и когда статья Старчевского появилась в печати, я увидел, что «воспоминания» о Дудышкине просто были компиляцией, написанной по материалам, взятым у меня. Я без стеснения заметил это Старчевскому.

— Какой вы странный и щепетильный! — ответил он мне развязно. — Мне платят в этом журнале страшно дешево; так неужели за такую цену я стану для них ломать голову, припоминать, тревожить мою несчастную память? Ей-богу, не стоит игра свеч... Я с голоду пропаду, если стану долго сидеть над моими воспоминаниями... И притом у меня так перемешалось все в памяти, что надо иметь много времени для приведения в порядок всей путаницы, какая у меня в голове. А ведь вы знаете, сколько я перевидел на своем веку? Был помощником редактора в «Библиотеке для Чтения» при Сенковском, издавал «Сын Отечества», возрождал «Северную Пчелу», редактировал «Современность», «Родину» — и голова кружится, если начну припоминать, где я работал или что я редактировал!

Рассказывать Старчевский, однако, очень любил и времени на это не жалел. Бывало, придет он ко мне рано вечерком, да и засидится чуть не до утра. Повествуя о каком-нибудь деятеле из мира литературного или артистического, он, главным образом, касался интимной жизни этого лица и передавал вещи изумительные и... однообразные; скабрезность играла здесь довольно видную роль.

Не щадил он ради пикантных подробностей даже своего большого приятеля, вернее сказать, друга, Осипа Ивановича Сенковского, у которого Альберт Викентьевич был правой рукой. Большой умник, энциклопедист, изобретатель, немного помешанный на изобретениях, человек серьезный, вечно занятый, барон Брамбеус был невероятным женолюбом, но тайным, умевшим скрыть от самого бдительного ока эту свою страсть. Хорошенькие горничные были постоянным предметом его вожделений и стоили ему больших денег, в особенности, если приходилось тушить скандал... Далеко за городом у него были наняты на чужое имя дачи, исключительно для зимнего сезона. Сюда он приезжал в карете, из которой выпархивала птичка, или уже ручная, или дикая, которую барон Брамбеус приручал. Старчевский, на которого, как уверился хитроумный барон, можно было положиться, знал очень многие тайны своего сластолюбивого друга и порою должен был замести его следы или пролагать новые пути при амурных

похождениях неутомимого Фомы. По уверению Старчевского, у барона был необыкновенно зоркий глаз, от которого трудно было спрятаться хорошенькой или сколько-нибудь смазливенькой горничной, кухарке, няньке, кормилице.

Супруга Сенковского, рожденная баронесса Раль, писательница, смутно подозревала ученого мужа в грехе против седьмой заповеди, в особенности, когда ее красивая горничная, недавно нанятая, вдруг неожиданно попросила расчет и исчезла, а вслед за ее исчезновением Осип Иванович стал ранее обыкновенного уезжать в типографию и запаздывал возвращением. Аделаида Александровна Сенковская в один прекрасный день сделала внезапную ревизию типографии, но муж был осмотрителен и оставил на дежурстве Старчевского. «Осип Иванович, — объявил он жене своего патрона, — уехал к Масальскому на дачу, оттуда опять заедет в типографию и вернется немного позже». При этом Старчевский искусно перевел разговор на произведения госпожи Сенковской, плохие и скучные, и бессовестно стал их хвалить напропалую.

В литературе Сенковский был изрядным самодуром, кривлялся, лицемерил, если не всегда, то довольно часто. В минуты откровенности Старчевский не раз передавал мне, как надменно смотрел барон Брамбеус на русскую литературу, как недвусмысленно выражался о ней. «Русская литература, — говорил он своему помощнику, — жалка, не самобытна, несравненно беднее турецкой по силе фантазии и по полету мыслей... Пушкин и Лермонтов, оба вместе, не стоят мизинца нашего Мицкевича и Красинского. А раздутому Гоголю не мешало бы поучиться хоть у Крашевского... Русский язык сам по себе ничтожен, вещественно убог и груб... Нечистая сила занесла меня в эту дрянную литературу. Если бы я не презирал ее, я бы совершил переворот в ней и в языке...» Такую ересь Сенковский проповедывал уже в пятидесятых годах. Была ли это его задушевные мысли, или просто он злился и говорил парадоксы, — этого Старчевский не мог себе уяснить. Сенковский только притворялся откровенным, а на самом деле никому не открывал тайника души своей. По мнению Старчевского, он для всех остался загадкой, и довольно мудреной.

Однажды он самым серьезным образом просил своего помощника разобрать стихи трех заурядных, почти бездарных поэтов, превознести их до небес и показать, что они прямые последователи Пушкина. Старчевский пожал плечами на такую просьбу и сказал, что не умеет писать таких парадоксальных статей. Сенковский нахмурился и сказал: «А я умею. Каждый хороший, заправский журналист должен

обладать искусством жонглирования и эквилибристики». И с этими словами он присел к столу и в какие-нибудь полчаса написал маленькую статейку, в которой самый простой и пустой стих заурядного стихотворца объяснял гениальным выражением, отсветом истинно поэтического вдохновения. Старчевский твердо помнил, что она по мысли была сущим вздором, но написана удивительно талантливо, остроумно.

Если Сенковскому приходила охота быть фигляром, то этот каприз свой он исполнял мастерски и притом без всякого труда. Скучный рассказ, банальную повесть, сухую статью он умел преображать в нечто неузнаваемое. Он делал это очень часто на глазах Старчевского, разговаривая с ним. Но поступал и наоборот, преимущественно с теми писателями, которых почему-нибудь недолюбливал. Он вводил в рассказ длинные, тягучие периоды, вычеркивал красивые места, образные выражения, затемнял смысл и часто приделывал несуразный или глупый конец.

XII

Журнал «Русский Мир».—Его сотрудники.—Четверги у его редактора Гиероглифова. — Первая встреча с С. Н. Тернигоревым. — «Русские лгуны».—Вскользь об одном романисте.—Его шутки.—Характеристика его у Некрасова.—Псевдоним Некрасова.

На самом рубеже шестидесятых годов Владимир Яковлевич Стоюкин, тогда молодой учитель-словесник, впоследствии знаменитый педагог, историк литературы, основал еженедельную газету «Русский Мир». В короткое время она испытала много превращений, переходила из рук в руки, и наконец владельцем ее сделался хозяин музыкального магазина в Петербурге, Федор Тимофеевич Стелловский. Он старался привлечь подписчиков приложениями нот, давать их чуть не при каждом номере целыми тетрадями. Редактором пригласил он начинающего писателя Александра Степановича Гиероглифова, происходившего из духовного звания и где-то служившего. Он был прогрессист, считал себя большим знатоком политики, но пока заявил себя только изданием книжки о Поль-де-Коке, составленной по Мирекуру. «Русскому Миру», с осени 1860 года начавшему выходить объемистыми тетрадями in quarto, в светлоголубой обложке, новый редактор старался придать чисто литературный характер, и охотно давал место начинающим литераторам, вербуя сотрудников большею частью среди молодежи. Тогда в «Русском Мире» сотрудничали: Всеволод Крестовский, армейский офицер П. А. Шлихтер;

Лев Корхов, крестьянин по происхождению, писавший под разными псевдонимами обличительные очерки из провинциального быта; нездоровый водевилист В. С. Пеньков, заведывавший торгово-промышленной хроникой; Егор Федорович Моллер, сын художника, бывший актер, очерки, рассказы и фельетоны которого многие журналы, в том числе и «Библиотека для Чтения», и «Русское Слово» (в первые годы существования), печатали, как неизбежный балласт; доктор Николай Степанович Курочкин, Сергей Николаевич Шубинский; молодой, очень благообразный блондин, в безукоризненно сшитой паре, подвижной и разговорчивый, литературный дебютант, оказавшийся Сергеем Николаевичем Терниговым, превратившимся позднее, лет через десять, в Сергея Атаву, обличителя дворянского оскудения; участвовали здесь еще, изредка, впрочем, Михаил Павлович Розенгейм, тогда бывший в славе и в моде, и робкий поэт А. И. Апухтин. Музыкальным отделом заведывал Александр Львович Элькан, журн. милый, обязательный господин, бог весть для чего, скрывавший свое еврейское происхождение.

Со всеми этими писателями я тогда и познакомился; с некоторыми из них, впрочем, раньше. Крестовского и Розенгейма я встретил впервые, кажется, в редакции журнала «Светопись», издававшегося фотографом Ф. Оже, который прогорел на этом журнале.

Сергей Николаевич Терниговъ, сын тамбовского помещика, в «Русском Слове» напечатал свое первое произведение — рассказ «Красные Талы. Детство Горелова», — вещь свежую и талантливую, дышавшую большой искренностью. Видно было, что он великолепно знает деревню и свой помещичий быт, и что у него много тонкой наблюдательности. Когда я стал от души хвалить эту вещь, он, охорашиваясь и как-то странно двигая шеей, — что у него было привычкой, — объяснил мне, что он писал прямо с натуры и присмотрелся ко всему с очень молодых лет, что у него есть еще несколько очерков в портфеле, а еще больше замыслов в голове. Он назидательно толковал мне, что сильно продешевил свой рассказ, поторопился, настаивая на скорейшем его напечатании, ради скорейшего получения денег, и что потом уж не даст себя подковать, всегда будет «держаться своей цены», и так далее. Объявил, между прочим, что он — страстный охотник и собачек, милых, дорогих собачек, любит больше людей. Он без умолку болтал всю дорогу, когда я провожал его в типографию, в которой печатался «Русский Мир» и приложение к нему «Гудок», выходившее под редакцией Минаева.

Терниговъ, впоследствии сокрушавший «своих», то есть дворян, принес однажды Гиероглифову интересный очерк «Черствая доля»,

в котором рассказана была трогательная история молодой крестьянки, исстрадавшейся в эпоху крепостного права и кончившей самоубийством. Очерк произвел эффект, когда, еще до появления в печати, был прочитан на вечере у Гиероглифова, у которого по четвергам собирались пишущие в повременных изданиях и в департаментах, то-есть литераторы и чиновники, и бывало очень весело. На этих четвергах бывал иногда и Благосветлов, появлялись художники, карикатурист И. В. Иевлев и П. М. Боклевский, иллюстратор гоголевских типов. Всеволод Крестовский декламировал свои стихотворения. Афанасьев-Чужбинский занимал общество бесконечными рассказами из военной жизни и из мира картежников. Первые рассказы Чужбинский обыкновенно начинал стереотипной фразой: «У нас в полку...», а вторые никогда не обходились без истории о шулерских проделках. Оживлял общество, приглашенный на эти вечера Терпигорев, тогда уже большой краснобай, балагур, любивший поврать, увеселявший разношерстную компанию анекдотами и рассказами об охотничьих приключениях, о собаках, которых он прямо обожал. О них он рассказывал, как о людях, и выказывал себя тонким знатоком собачьей психологии. Только изредка он касался помещичьей среды, не щадя красок, не стесняясь именами.

На один из таких рассказов попал Благосветлов. Он слушал Терпигорева с возрастающим интересом и, теребя свои, по-солдатски подстриженные усы, сказал рассказчику:

— Вы превосходный рассказчик и знаете великолепно свою среду. Советую вам, как можно больше, эксплоатировать ваше знание. Вы будете иметь несомненный успех. Заходите ко мне, побеседуем... Заходите, но не с пустыми руками...

Терпигорев воспользовался приглашением «мрачного радикала», как называли Благосветлова многие его собратья по перу, даже сотрудники из «Русского Слова».

В «Гудке» Терпигорев печатал обличительные статейки из жизни цинических обывателей. Очевидно, он знал всю подноготную разных «деятелей» родных ему мест и выводил их на свежую воду, прикрываясь многочисленными псевдонимами. В нем уже как будто сквозил будущий автор «Оскудения», — ненавистник старого барства, которому он потом мстил за что то и на обличениях которого зарабатывал хорошие деньги.

Терпигорев показался мне тогда добрым малым, хорошим товарищем, отличным собеседником; в нем было много симпатичного. Не нравилось мне только его постоянное стремление «присочинить» что-нибудь. Он делал это, или чтобы «пустить пыль в глаза», или

ради мистификации. «Сочинял» он небылицы, хвастал, вообще подражал сказочному барону Мюнхгаузену довольно правдоподобно, талантливо и очень скоро забывал о том, что говорил неправду. Этим он ставил многих в комическое, а иногда и в трагическое положение.

Грехом этим страдал один из древнейших русских журналистов, Павел Свиньин, основатель «Отечественных Записок», которого Пушкин окрестил «Павлушкой, медным лбом», и который, говоря словами его эпиграммы, «имел ко лжи большое дарованье»...

Тому же греху был причастен и сам автор очерков «Русские лгуны» — Писемский. Врал он редко, да метко. Вернулся он как-то навеселе домой поздно вечером и застал у себя гостей. Был он немножко в растрепанном виде и на вопрос кого-то из гостей, что с ним, рассказал подробно, как он подвергся нападению пятерых диких кабанов, как его едва спасли парголовские мужики, за что он и отдал все деньги, какие у него были. Когда первому попавшемуся извозчику он рассказал о своем приключении, тот так расчувствовался, что взялся довезти его даром...

Но пальма первенства по части «сочинительства» принадлежит милому и высоко симпатичному Григоровичу, о страстишке которого я уже говорил в другом место.

Вспоминая о Григоровиче, как о великом «фантазере», невольно приходит на память и один небезызвестный романист Д. Это был больной виртуоз в области «не любо — не слушай». Но разница между ним и автором «Антона Горемыки» — огромна. У Григоровича, если можно так выразиться, было отвлеченное лганье, не соприкасавшееся с явлениями текущей жизни, тогда как Д. «сочинял» небылицы на живых и мертвых, выдумывал факты из современной действительности. То он, как близкий к правящим сферам, увольнял какого-нибудь министра, то торжественно объявлял о назначении кого-либо на высокий военный пост, рассказывал о никогда не бывшем «скандале в благородном семействе», о только что прослушанном им произведении Гончарова, которое не только никогда не писалось, но и не снилось автору, и прочее. Изобретательность и фантазия Д. по этой части были поразительны. Во многих литературных кружках его называли «Скоробренкой». У него очень трудно было отличить ложь от правды, и опытные люди никогда не повторяли того, что им любезно передавал «виртуоз».

В «Современнике», в «Свистке», Некрасов как-то поместил юмористические стихи под заглавием «Песни об «Очерках», из лирической драмы «Видение на Неве», написанные по поводу прекращения газеты «Очерки», издававшейся старым журналистом Аммосом Николаевичем

Очкиным [18]. Руководил газетой Григорий Захарович Елисеев при содействии Максима Алексеевича Антоновича. В данный момент не помню, своей ли смертью умерли «Очерки», или власти принудили умереть газету, но это был яркий прогрессивный орган, о прекращении которого сожалели и проницательные, и непроницательные читатели. Так вот в этих стихах Некрасова есть меткая, хотя и коротенькая характеристика Д.:

Я не охотник до Невского:
Бродит там всякий народ;
Встретишь как раз Д . . . . го —
Что-нибудь тотчас соврет;
После расскажешь за верное —
Скажут: и сам ты такой.
Дело такое прескверное
Было однажды со мной...

Разумеется, Некрасову претил не один этот «талант» Д., а и а и другие более серьезные «способности» этого даровитого писателя-художника и типичного карьериста, достигшего земли обетованной... Некрасов как будто провидел в «Скоробрешке» автора доклада о вредном направлении «Отечественных Записок», после которого журнал «приказал долго жить»...

Приведенные строки о Д. выпущены в отдельных изданиях стихотворений Некрасова. Кстати, под стихотворением «Песня об «Очерках» в «Свистке» поэт подписался псевдонимом «Савва Намордников».

Как передавал мне сам Некрасов, этот псевдоним имеет свою маленькую историю. Министр Абрам Сергеевич Норов, стоявший во главе народного просвещения, тот самый, про которого Тютчев писал с нежностью, что он —

Поставлен новым поколеньям
В благонадежные вожди, —

запретил к выпуску второе издание стихотворений Некрасова. Давний приятель и почитатель поэта, граф Аллерберг, выхлопотал ему разрешение на это издание. При свидании с ним, поздравляя поэта, граф сказал: «А все-таки вас обкорнали, на вас надели намордник. Вы можете теперь под шуточными стишками так и подписываться — «Намордников».

— Я поставил, — прибавил поэт, — деревенское имя перед удачно выдуманной фамилией, и вышел псевдоним, очень понравившийся моим литературным друзьям Ковалевскому, Добролюбову,

Михайлову. Наносите это, отец, на свои картотеки. — сказал мне в заключение Некрасов.

Возвращаясь к даровитому беллетристу. С его «особым талантом» впервые познакомил меня основатель первой дешевой еженедельной газеты (превращенной потом в ежедневную) «Сын Отечества», тот же Альберт Викентьевич Старчевский. Он знал и «узнал со всех сторон» Д. в бытность свою соредактором Сенковского по «Библиотеке для Чтения», в которой Д. сотрудничал еще в качестве литературного новобранца. Последний принес ему однажды неважную статейку для смеси. Старчевский читал ее, морщился и готов был уже вернуть ее автору. Но тот был догадлив и поспешил свойственной ему скороговоркой сообщить замечательную новость, которую он, видите ли, «от рассеянности забыл сообщить». Сейчас он узнал, что Осип Иванович (Сенковский) немедленно решил распродать свое имущество и переселиться навсегда в Варшаву. Старчевский остолбенел и начал одеваться, чтобы ехать к Сенковскому, а Д. «ловил момент» и попросил назначить статейку в набор, сказав, что он сам отвезет ее в типографию. Шутник после этого как в воду канул и пришел в редакцию, когда книжка «Библиотеки для Чтения» вышла с его статейкой. Он стал плакаться Старчевскому на свою судьбу, что враги подмутили над ним, и не преминул выдать им соответственные аттестаты.

— Однако, — рассказывал мне Альберт Викентьевич, — я скоро раскрыл этого шустрого и изобретательного литератора... Я встретился с ним через много лет, когда он за свои романы получал уже хорошие деньги и до некоторой степени был уже в силе. Мне казалось, что годы должны были повлиять на него, но очень ошибся. Приветливо поздоровавшись со мной, Д—ский быстро разочаровал меня: он высыпал передо мной целый короб самого отборного вранья.

С большим юмором передавал мне все это неистощимый Альберт Викентьевич.

С другим старым журналистом, Владимиром Рафаиловичем Зотовым, Д. проделал такую штуку. Принес он ему для журнала «Пантеон», где Зотов был помощником редактора, длинные стихи, что-то в роде поэмы. Зотов пробежал рукопись и вернул ее автору с излюбленной в пятидесятые и шестидесятые годы стереотипной фразой: «Длинность не выкупается забавностью».

Д. выждал год, — срок, достаточный вполне для того, чтобы усталый редактор, заваленный рукописями, мог законно забыть о стихотворении, — одном из многих, которые он видел мельком. И вот почтенный Владимир Рафаилович получает из Харьковской

губернии, из села Красные Грозья, большую поэмку об адвокатстве женщины при следующем письме:

«Милостивый государь! Мне всего шестнадцать лет. Я живу безвыездно в глуши старой деревеньки. Сама себя образовала путем чтения. Я обожаю книги. Их много было в библиотеке моего дедушки, особенно старых журналов. В них я с наслаждением перечитывала ваши стихи, повести, театральные пьесы. И мне блеснула мысль показать вам, именно вам, а не кому другому, мои опыты в стихах. Над посылаемой вам поэмой я много думала, много трудилась. Я несколько раз переделывала ее. Мой знакомый, один учитель, немного причастный к литературе и бывавший в Петербурге, рассказывал мне, что вы сильно покровительствуете женщинам, пробующим свои силы в литературе. Скажу вам искренно, это еще больше подвинуло меня отослать вам мое сочинение. Отдаю его на суд ваш. Будьте снисходительны к шестнадцатилетней скромной поэтессе. Уважающая вас почитательница ваша Евгения Сарафанова.

«P. S. Ответа мне не надо. Напечатаете — буду в восторге; отвергнете — тихо перестрадаю».

Зотов признался мне, что он был в восхищении и от письма, и от стихов. Он поместил их в ближайшей книжке «Пантеона» и ждал нового письма. Оно пришло, но не по почте. Его принес сам Д.

Письмо было коротенькое:

«Плакала от счастья. Благодарю, благодарю. Напишу много, когда волнение мое уляжется. А пока, если можно, пришлите мне какое-нибудь вознаграждение: я — девушка бедная. Преданная Сарафанова».

Д. получил гонорар. Лишь спустя много лет Зотов узнал, что он был жертвой смелой мистификации. Проделку Д. ему раскрыл Петр Александрович Ефремов, наш известный библиограф, который видел случайно эту самую рукопись Д. у Виктора Павловича Гаевского, заведывавшего в пятидесятых годах беллетристическим отделом «Отечественных Записок» Краевского.

Ефремов, на мой вопрос, что это за Евгения Сарафанова в «Пантеоне», и рассказал мне эту потешную историйку, а Зотов подтвердил ее достоверность, прибавив много подробностей.

Между прочим, придя в восхищение от письма и стихов Сарафановой, он послал то и другое в Рязань своей большой приятельнице Надежде Дмитриевне Хвощинской, которая печатала стихотворения у него, и в «Литературной Газете» конца сороковых годов, и в «Пантеоне» Ф. А. Кони, где Зотов заведывал разными отделами. Хвощинская, впоследствии прославившаяся под псевдонимом «В. Крестов-

ский», романистка, разочаровала Зотова и со свойственной ей чуткостью заподозрела и в письме, и в стихах какую-то фальшь. Она написала другу своему, что стихи Сарафановой слишком мужские, как будто деланные, совсем не в тоне письма шестнадцатилетней девушки. «Не провинциальная ли это мистификация?» — спрашивала она в заключении письма.

Порывшись в своем обширном архиве, Зотов показал мне оба письма Сарафановой, сфабрикованные Д., и тут же подарил в мою коллекцию шутливые, нигде не напечатанные стихи своего сочинения по адресу изобретательного Д.:

У нас поверье есть в народе:
Когда где льют колокола,
Пускать там надо в разном роде
Вранье, без меры, без числа...
Наш Д—ский, это зная,
Так мыслит: «Где-нибудь у нас
День каждый, верно, Русь родная
Колокола льет про запас»...
Мудреному поверью верен,
И так как к делу он ретив,
То он и врет, как сивый мерин,
Про совесть вовсе позабыв...

У Д. был обширный круг знакомых в литературном мире, с которыми он всеми силами старался поддерживать если не дружеские, то милые, приятельские отношения; он вел переписку со многими корифеями родного слова, чем и хвастался среди знакомых, принадлежавших к литературе, но друзей у него было очень мало. И эти немногие друзья, и вообще собратья по перу, не могли простить ему того, что охотно прощали Григоровичу... И не мудрено: у Григоровича была масса привлекательных симпатичных черт, чем Д. похвалиться не мог. Его успевали в конце концов раскусить, и тут уж рассказам о его скупости, об умении рожь молотить на обухе, конца не было... Про его некоторые «действия» ходили слухи довольно легендарного характера. Шутники рассказывали будто «Скоробрешка» неспроста и подписывался — Гр. Д—ский, а не Г. Д—ский, с тем, чтобы сокращение его имени принимали за сокращение графского титула, тем более, что такие графы действительно существуют. Многие отказывались утверждать, что Д—ский был отъявленным крепостником, будто не лучше относился и к вольнонаемным служащим, живя у себя на хуторе... Трудно было разобраться во всех этих слухах, — где ложь и где правда, но так или иначе в них отражалась несимпатия

к Д—скому, даже некоторая враждебность. Он это знал хорошо, но делал вид, что не замечает. И притом это было ему все равно, так как он был уверен, что никакие слухи и пересуды карьере его не повредят, и что его литературный заработок от этого не пострадает: его произведения охотно будут принимать всюду: и в прогрессивных органах, и в изданиях ярко консервативных.

Только такие стойкие органы, как «Дело» и «Отечественные Записки» не печатали его произведений, и Благосветлов, редактор первого журнала, вернул Д—скому без всяких объяснений его рукопись на другой день по ее доставлении. Говорят, будто рассвирепевший Д—ский отправился после этого к тогдашнему начальнику Главного управления по делам печати Лонгинову и просил его обратить особенное внимание на усиливающееся вредное направление «Дела». Благосветлов говорил мне, что он прямо недоумевал, отчего вдруг Лонгинов потребовал его к себе для объяснений и предупреждал, что закроет журнал при первом удобном случае. Благосветлов догадался потом, откуда шла эта напасть, после беседы с одним из служащих Главного управления, рассказавшего ему о визите мстительного Д—ского.

В своей 12-й сатире «Газетная» Некрасов, описывая читальную комнату петербургского «Английского клуба», упоминает об одном посетителе, которому —

... уж три четверти века,
Но он крепок и силен на взгляд.
Про него бесконечны рассказы:
Жаден, скуп, ненавидит детей.
Здесь он к старости пишет приказы,
Чтобы дома не тратить свечей.
Говорят, одному человеку
Удалось, из-за плеч старика,
Прочитать, что он пишет: «В аптеку.
Чтоб спасти бедняка-мужика,
Посылал ты, — нелепое барство.
Впредь расходов таких — не иметь.
Деньги с мира взыскать... а лекарство
Для крестьянина лучшее — плеть».

В литературных кружках того времени говорили, что натурой для изображения этого типа Некрасову послужил до некоторой степени Д—ский, что поэт схватил черты его скупости, его взгляды на мужика и многое другое...

По части скупости с Д—ским мог соперничать разве только Александр Петрович Пятковский, небезызвестный в свое время литератор.

XIII

Библиографы Ефремов и Межов.—А. П. Пятковский.—Его первое изд.—Его мания в последние годы.

На «четвергах» у Гиероглифова я часто встречался с Шубинским, о котором я уже говорил. Шубинскому я был обязан знакомством со многими писателями, между прочим, с Петром Александровичем Ефремовым, библиографом, знатоком Пушкина, Жуковского, Лермонтова, Радищева, большим любителем книг и... цветов, с Михаилом Дмитриевичем Хмыровым, историком, собравшим громадную коллекцию журнальных и газетных вырезок.

Хмыров жил бедно, ел впроголодь, питаясь нередко студнем из мелочной лавки да чаем, зато составил себе превосходную библиотеку, над которой дрожал, как над единственным любимым детищем. Доброты он был неимоверной и делился со всеми, кто к нему обращался, своими знаниями, материалами. Мало того, рылся бывало по архивам, переписывает там какой-нибудь интересный документ по просьбе не только приятеля, но и мало знакомого. Его добротою пользовалось немало лиц достаточно бесцеремонно, уносили его материалы, книги, добытые им с таким трудом, путем лишений, путем недосыпаний и недосыпаний. А он никогда не сердился и готов был снова снабжать книгами просящего, только умоляя его об аккуратности.

В этом отношении Ефремов представлял прямую противоположность Хмырову. Хотя Петр Александрович не прочь был поделиться с близкими людьми кое-какими знаниями своими, случалось, одалживал и книги, но поступал с неаккуратными более, чем энергично. Один небезызвестный писатель получил от Ефремова копию с какой-то рукописи, хранящейся в Лермонтовском музее. Он просрочил только на два дня возврат этой копии, и Ефремов прислал ему дерзкое письмо, в котором, между прочим, говорилось, что он привык иметь дело с честными людьми, а не с плутами и мошенниками. В заключение Ефремов предупреждал писателя, что если через день тот не вернет владельцу рукопись, то он потянет его в мировой суд. Писатель вернул рукопись Ефремову с извинениями и выражением сожаления, что Ефремов поторопился со своими жесткими мерами и позабыл элементарные правила приличия. Писатель, ныне покойный, вскоре после этого встретился с Ефремовым в Публичной библиотеке, и тот стал извиняться в своей излишней горячности. В пустом споре он резко обрывал противника, говорил грубости. Раз я встретился с ним у Александра Константиновича Шеллера. Ефремов сидел около часа

в течение этого времени давал аттестации литераторам: одного называл проходимцем, другого — ослом, третьего — проституткой, и ни о ком не сказал хорошего слова. По уходе его Шеллер сказал с грустью: «Вот таков он всегда. Желчен, раздражителен, сплетни собирает на улице и потом составляет на основании их мнение о человеке. Ведет себя мужиком неотесанным, а других судит».

В одно время с Ефремовым, через Шубинского я познакомился и с другим библиографом, Владимиром Измайловичем Межовым. Множество указателей составил он по географии, этнографии, истории, археологии, педагогии, сибиреведению и так далее, а все-таки настоящим библиографом не был, памятью не обладал, был бездарен и невежествен. Пушкинскую «Летопись села Горохина» он, не долго думая, включил в указатель статей исторического содержания, а «Детей Кайна» Захер-Мазоха — в отдел духовных книг. Он никогда ничего не читал, и не мудрено, если «Преступление и наказание» Достоевского собирался втиснуть в составлявшийся им указатель книг и статей по юриспруденции, да приятель отговорил его. Получив субсидию от какого-нибудь министерства или Академии Наук на издание того или другого указателя, библиограф или, правильнее, каталогист. Межов шел к переплетчику, заказывал ему нарезать известное число карточек, а карточки раздавал девицам, которые и списывали заглавия статей из повременных изданий. За сотню карточек платил он дешево, никогда не проверял их, и работу свою ограничивал раскладыванием карточек на полу своей квартиры по отделам. Случалось, что при наборе метранпаж указывал составителю грубые ошибки при систематизации заглавий и до известной степени спасал указатель от грос-курьезов. Межов был большой женолюбец и, чтобы побольше вращаться в женском обществе, заказывал барышням списывание статей на карточки, которые счетом принимал от переписчиц, балагурил с ними, отпускал любезности во вкусе писарей военного ведомства и старался подольше задерживать своих работниц. Бог весть, когда он успевал работать, так как днем возился с барышнями, писавшими карточки, а по вечерам, иногда до позднего часа, выходил на Невский и на Литейный «искать развлечений», не высказывая при этом особой брезгливости, подобно полу Федору Бергу и журналисту Пятковскому, успокоившемуся в этом отношении лишь на старости лет, когда, в качестве почтенного издателя, ему было уже неловко отдавать дань своим прежним привычкам.

Александра Петровича Пятковского я знал еще тогда, когда он дебютировал в литературе, приехав из родной Тамбовской губернии и поступив в университет. Он вращался среди литературной моло-

рёзки в либеральных кружках и участвовал в разных мелких изданиях. В шестидесятых годах модной болезнью была «гражданская скорбь», и, отвечая духу времени, Пятковский издал недурной сборник стихотворений под заглавием «Гражданские мотивы». Как ни молод был тогда Пятковский, но знал цену презренному металлу и, конечно, издал книжку не ради славы, не для удовольствия, поэтому и старался всеми способами распространять ее. Он сам обходил книгопродавцев и, что называется, «всучивал» свой сборник, усиленно торгуясь насчет скидки. Свои набеги на книгопродавческие фирмы он устраивал аккуратно, методически — и в конце концов распродал книжку. Николай Курочкин познакомил Пятковского с Некрасовым, который и пригласил его участвовать в «Современнике», где он поместил ряд статей и рецензий по истории литературы и нашей общественности. Еще будучи студентом, он участвовал в «Журнале Министерства Народного Просвещения», в «Северной Пчеле» при новой редакции [49], в «Руси», «Якоре» [50], где напечатаны его статьи о Фонвизине, Жадовской. Умел прекрасно устраиваться, именно там, где аккуратно и хорошо платили, — и нужда никогда не стучалась к нему в дверь. Он был с молодых лет более чем расчетлив, и по мере того, как росла его известность в литературе, росла и его удивительная скупость. Не скупился он только при сближении с «жертвами общественного темперамента». Не мало анекдотов в литературном мире ходило про эту черту его, то-есть про скаредность.

Другой отталкивающей чертой в Пятковском было его юдофобство, доходившее у него до болезни. Сотрудник «Современника», позднее, «Отечественных Записок», умеренный прогрессист,—он был завзятым юдофобом и все свои беды и неудачи, в особенности по изданию «Наблюдателя» [51], он приписывал проискам ненавистного ему племени.

— Если бы не они, — говорил он своим приятелям, усиленно делая на слове «они» ударение, — журнал мой имел бы несравненно больший успех. Они, наверное, подкупают разных лиц на почте, чтобы уничтожить все объявления о «Наблюдателе», рассылаемые мною. Как раз в день рассылки их я проходил однажды мимо почтамта и был удивлен, как пахло гарью: так пахнуть может только от жженой бумаги... И это, я убежден, сжигали мои объявления. В этом меня никто не разубедит. Мои враги изобретательны... Если бы я внезапно нагрянул в свое время в экспедицию почтамта и потребовал отправки моих «наблюдательских» объявлений при себе, я все-таки не был бы спокоен: подкупленные чиновники ухитрились бы уничтожить добрую половину, если не все объявления, на пути, в почтовом вагоне...

Он говорил это, искренно веря в свое детское заблуждение, говорил с дрожью в голосе.

— У меня, в «Наблюдателе», как в органе прогрессивном, сотрудничают многие сотрудники «Новостей», а между тем, в этой газете, одного направления с моим журналом, никогда не скажут о нем ни слова, — жаловался мне он однажды. — А отчего? Оттого, что на мое издание евреями наложен запрет, «херим» по-ихнему... И стыдно Нотовичу быть таким послушным рабом своих соплеменников.

Своих гостей он душил жалобами на своих мелких врагов, рассказами об их происках. Повествуя об этом, он запирал двери кабинета и говорил вполголоса. И жалок, и смешон был этот, в сущности неглупый, очень начитанный и сведущий человек.

Его охотно печатали такие прогрессивные издания, как «Дело», некрасовские «Отечественные Записки», «Вестник Европы», «Неделя». Они, конечно, не знали о его средневековых воззрениях на евреев. Он долго скрывал свое юдофобство и свою юдобоязнь и, если выкладывал перед своим близким приятелем свои задушевные мысли, подозрения, подходил перед этим к двери, заглядывал в другую комнату, не подслушивает ли кто его, и, вернувшись, говорил: «Ведь они всюду следят за мной, и, конечно, моя прислуга подкуплена». На этом основании он менял беспрестанно прислугу и, нанимая новую, пресерьезно увещевал ее не льститься на подкуп, не слушаться тех, кто будет просить ее следить за барином. Многие из прислуги после таких разговоров, подозревая, что барин не в своем уме, на первых же порах уходили.

С годами юдофобство Пятковского росло все больше и обратилось у него в своего рода манию вместе с манией преследования. Раз я встретил его на улице: он был бледен, взволнован, озабочен. Оказалось, что он возвращается из Попечительного о тюрьмах комитета (что то в этом роде), и там на лестнице кто-то два раза умышленно толкнул его, а он должен был смолчать, потому что у толкнувшего его, прилично одетого господина ему прямо бросился в глаза семитический тип.

— Ведь эти люди, — нервно говорил Пятковский, — повсюду следят за мной. Они поручили своему агенту выследить меня в комитете и, зная, что я недавно получил чин действительного статского советника, вызвать меня на какой-нибудь решительный шаг, добиться составления протокола и бросить мое имя в скандал... именно в такое время, когда я уже в этом чине.

И этим «чином» он очень гордился. Мне лично пришлось в этом убедиться. С Пятковским я познакомился еще в семидесятых годах,

несколько раз был ему полезен, а потому, когда он сделался издателем журнала, для меня доступ к нему не сопровождался никакими затруднениями: я входил к нему без доклада. Пришел я к нему как-то я, едва приотворил дверь, услыхал его негодующий голос: «Я тысячу раз вам говорил, что у меня, слава богу, есть чин, и не маленький. Слуга должен это помнить и не твердить мне: «барин, барин». Для друзей и приятелей я — Александр Петрович, а для слуг — ваше превосходительство. Запомните это и скажите там, на кухне, что чины даются не зря... Если кто-нибудь спрашивает меня, желает видеться со мной, вы должны сказать: «Сейчас доложу его превосходительству», или — «Генерал сегодня не принимает, генерала нет дома». Ступайте. Да, кстати. Куда вы изводите керосин? Всего неделю с небольшим куплен фунт, а сегодня опять покупать надо. Помните, что я вам сказал...» Когда я вошел, Александр Петрович стал жаловаться на распущенность прислуги, сказал, что у немцев слуга, обращаясь к своему господину, всегда прибавляет: «господин профессор», «господин советник» и так далее, а у нас?.. Я поспешил перевести разговор на другую тему...

Очень скоро после этого свидания, обращаясь за чем-то письменно к Пятковскому, я умышленно поставил на конверте: «Его высокопревосходительству». Он не понял моей шутки и, свидевшись со мною, сказал мне, обняв меня за талию:

— Я, голубчик, пока еще — действительный статский, а вы никогда мне — «высокопревосходительству». А может быть, это с вашей стороны невольное пророчество? Тогда сердечно благодарю. Вы, вообще, доброжелательный человек... Вот я знаю еще одного очень доброжелательного человека: это — Некрасов. Помню, какие прекрасные, полезные советы давал он мне, когда я, приехав из Тамбова в Петербург, впервые посетил его. Он очень обласкал меня, интересовался моими литературными предприятиями, дал две-три рекомендательные записки и был вообще в высшей степени участлив. Когда Добролюбов умер, а с Чернышевским случилось несчастье, он вспомнил обо мне и пригласил меня участвовать в критическом отделе «Современника».

XIV

П. П. Вейнберг.—Метранпаж «Искры».—Ее сотрудники.—А. Анухин.

Благодаря Афанасьеву-Чужбинскому, толкнувшему меня на тернистый путь писательства, я со дня моего водворения в Петербурге не мог пожаловаться на отсутствие работы. Чужбинский усердно забо-

тился об этом, и я стал печататься как в толстых ежемесячниках, так и в тощих еженедельниках.

— У вас, — сказал он мне однажды, — есть интересный материал о власть имущих лиходеях вашей Хохландии; так отчего бы вам не поделиться таким материалом с «Искрой»? Журнал ходкий, бойкий, и нескупые издатели его платят хорошо...

Очень скоро я отправился в редакцию названного журнала, где потом пришелся ко двору и приобрел целый ряд интересных знакомств. Особенно хорошую память оставил у меня один симпатичнейший человек. Выше среднего роста, с красивым лицом, большими проникновенными глазами, с доброй улыбкой и приятным, ласковым голосом, он невольно располагал к себе. Правдиво объяснил он мне, что редактор «отлучился на время, скоро придет, а пока он заменяет его». Был это уже и тогда приобретавший популярность в литературе Петр Исаевич Вейнберг, в то время ревностный вкладчик «Искры», сотрудник целого ряда изданий прогрессивного направления, писавший под разными псевдонимами в «Искре», ее радетель. В следующем (1861) году он, не покидая ее, основал еженедельный журнал «Век», к сожалению, просуществовавший всего два года и скончавшийся «в борьбе с равнодушием публики», по тогдашнему общепринятому выражению [52].

Как сейчас, вижу это продолговатое, немного бледное лицо моего собеседника с черными пламенными очами, с характерным носом восточного типа, этот прямой стройный стан, эти выхоленные руки с их нервными движениями, слышу этот мягкий баритон, вспоминаю эти изящные манеры светского человека, в лучшем значении этого понятия, и, наконец, веселую, образную речь... Не мог не обратить я внимания и на безукоризненный, щегольской костюм друга «Искры».

Годами двумя раньше меня приехал Вейнберг в Питер и едва ли не в каждой редакции, где принимался за работу, делался желанным гостем, а еще вернее — своим человеком, несмотря на то, что был подчас очень нервен, вспыльчив и строптив при защите своих законных прав. Редакторы его ценили, помимо всего, за удивительную быстроту работы. Смеялись, что он писал на ходу, завтракая или обедая. Кроме быстроты техники, он писал с огоньком, бойко, остроумно, умел схватить известное настроение, знал вкусы публики. Его фельетоны имели обширный круг читателей, а юмористические стихотворения выучивались наизусть. Все в шестидесятых и семидесятых годах, и старое, и молодое поколение, повторяли восьмистишие «Гейне из Тамбова» (популярный псевдоним Вейнберга): «Он был титулярный

советник. она — генеральская дочь» или «Разочарование» и «Мы с ней молчаливо сидели».

Живо помнится мне и мое первое знакомство с Петром Исаевичем.

Произошло оно при следующей, памятной мне обстановке. Я принес тогда в «Искру» стихотворение, под заглавием «Ливрея». В страшно накуренном кабинете редактора было много народу. Шел о чем-то оживленный, необыкновенно шумный спор. Какой-то писатель, красивый, молодой, читавший что-то в гранках, по временам отрывался от работы, чтобы вставить меткое замечание в спор, или рассеянно блуждал взором по комнате. Один из его взоров скользнул случайно и по мне, и я почувствовал, что краснею. Писатель заметил мое смущение, сложно сорвавшись с места, подошел ко мне, протянул руку и спросил, не жду ли я кого-нибудь. Я объяснил «цель моего пребывания», показал мои стихи и прибавил, что в «Искру» я уже несколько раз присылал сообщения из провинции. Пока я говорил это участливому господину, он пробегал мою «Ливрею».

— Не будь я Вейнбергом, если сейчас же не отошлю ваше стихотворение (бедовое оно!) в типографию, чтобы оно попало в этот же номер, — воскликнул он весело и прибавил: — Вы набили руку, у вас выработанный стих... А скажите, пожалуйста, вы недавно приехали с Юга глотать наш промозглый воздух? — очень дружески спросил он меня.

— А отчего вы думаете, — заметил я Вейнбергу, — что я с Юга?

— Оттого, что у вас южный говорок и особая манера дополнять речь жестикуляцией, — ответил он.

Вейнберг очень меня обласкал, посоветовал уйти «по английски» — не прощаясь, и если я хочу познакомиться с обеими братьями Курочкиными, — притти пораньше в редакцию и принести еще что-нибудь, какую-либо заметку о провинциальных курьезах.

— А пока, — сказал он, прощаясь, — оставьте мне ваш адрес: вы жаждете увидеть вашу «Ливрею» в печати, и я, как только номер «Искры» выйдет, пришлю его вам.

Такая удивительная обязательность, такое внимание к скромному литературному новичку меня прямо изумили. При следующем свидании я откровенно высказал это Вейнбергу.

— Не удивляйтесь, — почти нежно ответил он мне. — Я был в вашем положении, когда очутился в чужом городе без друзей, без знакомых... и первый, кто сказал мне теплое, бодрящее слово, был Александр Васильевич Дружинин. Он тогда редактировал «Библиотеку для Чтения», приютил меня в ней, дал мне работу.

— И у меня, — сказал я Вейнбергу, — нашелся такой же участливый человек: Афанасьев-Чужбинский.

— Он наш сотрудник, — ответил Петр Исаевич, — жаль только, что такого милого человека губит страстишка к картам... Игрок он отчаянный, попадает в шулерам, не вылезает из долгов.

Со дня переселения моего в Петербург я стал вести дневник, и вот что я пометил в нем, после первой встречи моей с Вейнбергом:

«Мне повезло сегодня: я приобрел прекрасного знакомого — журналиста, поэта и критика Вейнберга. Он, не знаю почему, почувствовал сразу большую симпатию ко мне, много рассказал о своих литературных дебютах и злоключениях, сообщил, как пробивал себе дорогу, делал очень удачные характеристики своих соратников и обещал расширить круг моих литературных знакомств».

В этом же дневнике, недели две спустя, стояло следующее: «Все, что я приносил в «Искру», я отдавал прямо Вейнбергу, а он, не читая даже, делал на рукописи моей пометку: «набрать сейчас».

И я сам отвозил написанное в типографию, кажется, Департамента уделов. Здесь я познакомился с милейшим метранпажем, стариком, видавшим виды, знавшим много литераторов. От него я впервые услыхал о хозяевах «Искры» — Василии Степановиче Курочкине и Николае Александровиче Степанове, знаменитом карикатуристе, и о сотрудниках журнала: Дмитрии Минаеве, актере-поэте Гавриле Николаевиче Жулеве, родном брате артистки Жулевой, писавшем под псевдонимом «Скорбного поэта», флотском офицере, враче Василии Ивановиче Богданове (псевдоним — «Влас Точечкин») и преподавателе новгородском, Иване Павловиче Можайском, популярном поэте-юмористе «Дяде Пахоме». Метранпаж хвалил Курочкина: «Беспутный, но хороший малый, добряк, разумник, чуткая душа»; отзывался с похвалой, но сдержанно и о Степанове: «Добрый-то добрый, хотя уж очень расчетливый, чужого не возьмет, да и своего не упустит». Совсем без церемонии хулил старик Минаева: «Противный, надоедливый человек, грязный терташ, себя обожает; все, кроме него, дураки... Притащит бутылку коньяку, да и всю, пожалуй, тут же и разопьет, а потом пакости зачнет болтать и кривляться». Сердечно отзывался о Богданове: «Простак, умница, интересный рассказчик, острослов». Характеристики всем этим писателям, скажу правду, давал он вернейшие.

Милому старику я обязан многим, вот чем. Когда я поинтересовался процессом печатания, он посоветовал мне скорее учиться набирать, потом приправлять рисунки и прочему. «Увидите, — говорил он мне пророчески, — как вам это пригодится». И действительно, как приго-

дилась мне эта наука впоследствии! Он сам стал меня, в относительно свободные часы, учить набору. Часы эти он умудрялся выкраивать в воскресенье.

Уроки он сопровождал напутствиями, наставлениями: «Будете редактором или свободным сотрудником где-нибудь, прошу вас работайте больше для народа, покажите всем, какой это мудрец, сколько разума сквозит в одних пословицах и поговорках его, сколько талантов вышло из простонародья, как терпелив наш пахарь», и так далее. У старика была целая полка наполнена вырезками из разных изданий, в которых говорилось о народе, или заключавших в себе стихи, рассказы, статьи народного творчества. «Помните, что «Слово о полку Игореве» написано человеком из народной среды».

В редакции «Искры», куда одно время я зачастил, я находился всегда под крылышком Вейнберга, спасавшего меня от навязчивости подгулявшего Жулева и в особенности от приставания вечно хмельного Минаева, досаждавшего мне своими скабрезными стишками, заковыристыми рифмами, подчас мнимыми экспромптами, которые он преспокойно заготовлял дома. Так как я сухо принимал все эти вещи, он не взлюбил меня и давал мне прозвища более или менее едкие. Вейнберг умел безбоязненно осаживать нахала, и Минаев никогда не решался наброситься на него, хорошо зная, что Курочкин никогда не будет на его стороне, дорожа работой и приязнью Петра Исаевича.

Часто после минаевских надоедливых приставаний успокаивал меня Алексей Николаевич Апухтин, с которым я почти всегда долго беседовал и с удовольствием слушал его стихотворения, особенно юношеские. «Два единомышленника спознались... и лепечут друг другу пошлости великосветские», — бурчал себе под нос Минаев, проходя однажды мимо нас.

Апухтин сотрудничал анонимно или под псевдонимом «Сысоя Сысоева» (легкая пародия на имя — Дмитрий Минаев) и очень недурно пародировал стихи Фета и не любимого им Майкова, которого прозвал «хитроумным царедворцем», желающим променять свой дар на чечевичную похлебку. Апухтин очень красиво пародировал в «Искре» майковское стихотворение «Сон в летнюю ночь»; оно не вошло ни в одно из собраний стихов Апухтина, так же, как и пьески: «Красному яблочку червоточинка не в укор» и «Русской гетере». Поэт декламировал прекрасно, своеобразно, и как-то я попросил его прочесть названные стихи.

— Вы одолеете их сами в «Искре», а я лучше прочту вам неюмористическое стихотворение мое из тетради Хвостовой, куда она великодушно заносит все, что я пишу.

Приведу здесь это стихотворение, ни разу не изданное; оно называется — «Современным витиям»:

Посреди безмолвных и послушных,
Посреди доверчивых глупцов
Я устал от ваших фраз бездушных,
От дрожащих ненавистью слов.
Мне противно лгать и лицемерить,
Нестерпимо отрицаньем жить,
Я хочу во что-нибудь да верить,
Что-нибудь всем сердцем полюбить.
Как монах, творя обет желанный,
Я хочу по знойному пути
К берегам земли обетованной
По песку горячему пити;
Чтобы слезы падали ручьями,
Чтоб от веры трепетала грудь,
Чтоб с пути, облитого слезами,
Мне ни разу не пришлось свернуть;
Чтоб оазис в золотые страны
Отдохнуть меня манил и звал,
Чтоб вдали тянулись караваны,
Солнце жгло, а я бы все шагал;
Чтоб глаза слипались от дороги,
Чтоб сгорали жаждою уста,
Чтоб мои подкашивались ноги
Под тяжелым бременем креста.

Нолт очень дорожил этим стихотворением, пояснив, что оно написано в один из самых горьких моментов его юношества, моментов, близких к отчаянию.

— Вряд ли, — прибавил он, — повторится подобное настроение.

Но такие настроения, и еще худшие, ждали его в грядущем, когда недуги жестоко терзали его.

Стихи Апухтину давались легко, особенно юмористические или «на случай», но серьезных вещей он не спешил пускать в печать: он клал их под спуд, где они, что называется, вылеживались.

— Я люблю, — говорил он часто, — чтобы музыка стиха была вполне выдержана, мелодия дала себя знать... Стихи полежат, я беру их и правлю и в более приличном виде отдаю в тетрадку Хвостовой, и уже из ее департамента они поступают в журнал или газету.

Охотнее всего читал Апухтин свои произведения, когда его одолевало меланхолическое настроение, глубина которого передавалась невольно слушателям. Точно так же, пользуясь иным настроением, радостным, ликующим, он любил читать юмористические свои стихи и, как искуснейший виртуоз, заражал присутствующих весельем

своего настроения. Его редкая, замечательная искренность играла тут видную роль. По скромности, своим юмористическим произведениям и даже злым, сатирическим, поэт не придавал большого значения.

— Юмор у меня в натуре, позлобствовать, — говорил, совершенно не лукавя, поэт, — тоже не лишен я дара, но у меня как-то не вытанцовывается этот благородный жанр. У других не то. Я вот завидую Федору Алексеевичу Кони, автору милого стихотворения:

Не жди, чтобы цвела страна,
Где царство власти, не рассудка, —
И где зависит все от сна
Да от сварения желудка...

Где есть закон, чтоб понимать,
Как он изменчив и непрочен,
И где заведами печат знать
От заслуженных ей пощечин...

Где власти самый мелкий чин
Творит зловредные бесчинства,
Без объяснения причин
И лишь затем, чтоб сделать свинства.

Где проституции домов
Не мало... В них насилье, зверство...
Где для затмения умов
Особое есть министерство!..

Поэт рассказал мне, что под живым впечатлением одной общественной напасти он написал стихотворение, подобное приведенному здесь, и один из близких приятелей уговорил Апухтина послать стихи за границу в «Будущность» (L'Avenir) князя Петра Долгорукова [*]. Сделать это приятель вызвался сам, прикрыв нецензурную вещь псевдонимом. Ждали появления в печати, но вместо него редакция «Русского Слова» получила на имя псевдонима (для передачи мнимому автору, предполагая, что он сотрудник журнала радикального направления) следующее послание:

«Редактор «Будущности» нашел необходимым избегать слишком резких вещей, хотя бы и допустимых по теме правдивой. Поэтому присланное стихотворение, к сожалению, не может появиться в журнале. Кроме того, редактору очень желательно было бы ближе познакомиться с личностью автора, с его деятельностью и воззрениями, с которыми, быть может, надо считаться».

Из «Русского Слова» каким-то особенным случаем это письмо попало к автору-псевдониму апухтинского стихотворения. Поэт показал мне письмо Петра Долгорукова и хохотал от всей души. Я по-

просил Анухтина дать мне копию этого письма и злополучное стихотворение. Исполнив мое желание, он внизу копии написал:

Возясь не с лирой, а с грузинской зурной,
Сопел, пыхтел я, как локомотив,
Но не поладил с темой нецензурной,
И улетел мой далеко мотив.
Скорблю невольно за стихи за те я,
Мне кровь сосет обиды нетопырь,
Что быстро лопнула моя затея,
Как мыльный жиденький пузырь..

Кроме того, под стихотворным экспромтом стояло: «Верьте — не верьте, а мне накануне отсылки тех стихов снилось, будто я резал в лесу прутья розог, которыми потом кто-то больно меня высек».

Неудача с капризной затеей не помешала, однако, Анухтину написать в ближайшие же дни несколько очень милых шуток политического характера.

XV

В. С. Курочкин, его первые шаги в литературе.—Корпусные стихи его, заказанные начальством; лирический экспромт, вызванный столкновением с учителем.—Его притеснители на службе.—«Искра».—Стихи, присланные Ф. Б. Миллером.—Промахи цензуры в «Искре» и «Гудке».—Мимоходом о Минаеве; его проделки с Ф. Э. Ромером; драка с издателем.

Познакомившись с заправилами «Искры» и ее главными сотрудниками, я увидел, я убедился, что характеристики старика-метранпажа были вполне верны. Василий Степанович Курочкин оказался очень симпатичным, добрым человеком, про которого можно сказать его же словами (из перевода песни Беранже «Le petit homme gris»):

Одет весьма беспечно,
Не то, чтоб очень пьян,
Но весел бесконечно.
Есть деньги — прокутит,
Нет денег — обойдется!..

И прибавить надо к этому, что «никогда не ропщет», не принимает близко к сердцу жизненных неудач своих.

А к чужим чуток и жалостлив. В Курочкине было много благородства, он ценил чужой труд и раздавал деньги направо и налево когда было что раздавать, и когда «Искра» перестала существовать, оказалось, что накопилось достаточно долгу за сотрудниками. Ко всякому из них, не разбирая рангов, он был внимателен

насколько возможно, но на него многие роптали, потому что он был рассеян и забывчив, нередко терял рукопись или запрятывал куда-нибудь так далеко, что рукопись долго считалась утраченной.

На меня он сразу произвел приятное впечатление, и когда я как-то гулял с ним в летнем саду, он много рассказывал о своей жизни, о том, сколько мытарств прошел он прежде, чем выступил в литературе. Свои оригинальные стихотворения он носил по всем крупным и мелким журналам и получал отказ.

Василий Курочкин почти всегда с грустью вспоминал о своих первых шагах в литературе. Передавал он мне, как начальство Дворянского полка, учебного заведения, в котором он воспитывался, принудило его написать стихи по поводу юбилея великого князя Михаила Павловича. Начальству было известно, что Курочкин пишет стихи, да еще сатирические на преподавателей, на инспектора и других лиц.

— Кормили нас, — говорил Курочкин, — не бог знает как хорошо, и виноват в этом был наш эконом. Я и написал на него легкую сатиру. Вышло очень удачно. Вечером прочел я ее в тесном кружке товарищей, а наутро стихи у меня пропали: очевидно, кто-то стащил. И в тот же день позвали меня к инспектору, на квартиру к нему. Недоумевал я, зачем это понадобился я ему. А когда он вышел ко мне в зал, где я довольно долго ждал и, сознаюсь, волновался, я увидел в руках у него смятый листок и тотчас смекнул, в чем дело.

«Это вы упражнялись в рифмодействии?» — спросил он меня.

Я дал утвердительный ответ. «Делает вам честь, что не запираетесь, по крайней мере... Вы... однако, и не на одного эконома эпиграммы пишете... Это может дурно для вас кончиться, повлиять на выпуск ваш в офицеры... Да-с... Но вы легко можете искупить ваши стихотворные шалости. Двадцать восьмого января предстоит юбилей великого князя, нашего покровителя и, можно сказать, истинного благодетеля, — торжественно заявил полковник. — И по этому случаю извольте написать приличное стихотворное поздравление... да хотя бы... Дается вам два дня сроку. Кажется, можно за это время успеть... при вашем таланте! Согласитесь, что это даже легче написать, чем то, что вы выдумываете, чтобы уколоть начальство... Ступайте!.. Можете, в крайнем случае, сказаться больным, чтобы не итти в классы»...

Курочкин немало удивился такому обороту дела, и нашел, что уж лучше написать заказанные стихи, чем претерпеть разные неприятности от полкового начальства. Сказался он больным, лег в лазарет и там не без труда написал патриотические стихи. Для

вдохновения он изрядно хватил «жизненной воды» в компании с фельдшером. И это помогло. Стихи понравились полковнику, были прочитаны на юбилее и затем, разумеется, без спроса автора, напечатаны в «Журнале для чтения воспитанникам военно-учебных заведений» в 1848 году.

Курочкину тогда шел семнадцатый год. За стихи он получил от великого князя подарок, который довольно скоро был использован в трудную минуту жизни, при выпуске юного поэта в офицеры.

Курочкин подробно рассказывал мне о дальнейших своих литературных попытках. Через брата, Николая Степановича, который еще до выпуска своего из Медико-Хирургической академии поддерживал существование литературными работами, Василий Степанович познакомился с издателем «Сына Отечества» Петром Романовичем Фурманом. Принес он ему стихи: «Мы рано стали жить». Фурман забраковал их на том основании, что «это какая-то философия и сентиментальные признания», и советовал лучше написать что-нибудь в русском духе, захватывающее, а если он не в состоянии, то еще лучше попробовать написать повесть. Курочкину деньги нужны были дозарезу, и он понатужился, сочинил повестушку, сюжет которой заимствовал из рассказа одного своего знакомого о романическом происшествии с ним. Фурман одобрил повесть и щедро заплатил за нее: за два с лишком листа печатных—четырнадцать рублей, а за стихи «Русская езда» — по пятаку за строчку, прося у Курочкина стихов еще в этом роде. Но Курочкин предпочел написать еще повесть «Жильцы маленького домика». Фурман взял и ее и заплатил еще меньше, да к тому же с рассрочкой.

Курочкин оставил «Сын Отечества» и, с грехом пополам, устроился в «Пантеоне», помещая там переводы рассказов для «Смеси». Года два после этого он ничего не писал, все пытался пристроить свои старые стихотворения и, кроме того, был занят переводом мольеровского «Мизантропа».

— Я работал над этой вещью, — говорил Курочкин, — с особенной любовью и... строил на ней свое благополучие: за такую работу много дадут, — думал я. — Послал «Мизантропа» в «Библиотеку для Чтения», где тогда орудовал Старчевский, помощник барона Брамбеуса. Старчевский сказал мне, что перевод «сносен», но что издатель может дать не больше пятидесяти рублей за перевод. Толкнулся я в «Современник», присоединив к «Мизантропу» несколько оригинальных стихотворений, и адресовал то и другое прямо на имя Панаева. Стихи он напечатал в «Литературном прибавлении» с оговоркой; прочтите при случае...

Это было летом 1854 года. Признаюсь, меня очень заинтересовало, что было сказано в «Современнике» о стихах Курочкина, и после разговора с ним, на следующий же день, я отправился в Публичную библиотеку. И вот какое примечание нашел я в «Современнике»: «Некто К—н прислал несколько своих стихотворений и перевод первого действия «Мизантропа». С «Мизантропом» в переводе К—на читатели познакомятся со временем, а теперь мы приводим некоторые из созданий его собственной музы». Было напечатано три стихотворения: «Целый день дождь барабанит в узкие стекла избушки», «Мы рано стали жить» и «Хвалили мне возраст ребенка», и в примечании к ним, между прочим, было сказано: «Едва ли что-нибудь нужно говорить в похвалу приведенным стихотворениям, особенно последнему. Г-ну К—ну двадцать два года. Мы советовали и советуем ему продолжать свои опыты» и прочее.

Списав эти примечания, я в тот же вечер забежал в редакцию «Искры», показал Василию Степановичу переписанное и выразил мое восхищение по поводу стихотворений, помещенных в «Современнике», прося дать мне прочесть и остальные, не попавшие в книжку. Он был тронут и, грустно улыбнувшись, сказал:

— Увы, у меня ничего нет: я уничтожил все, что у меня было. Литературные неудачи, испытанные мною тогда, вынудили меня решительно отречься от своих лирических излияний, убедиться, что я брался не за свое дело. А если бы вы знали, как иногда хотелось мне, когда я уже был «известным переводчиком Беранже» и затеял эту несчастную «Искру», писать в лирическом роде, особенно, когда тайком удалишься куда-нибудь далеко за город в летний день, в совершенно трезвом состоянии!.. Не скрою от вас, удалось мне однажды, год тому назад, написать задушевную вещицу. Послал я ее, подписавшись псевдонимом в «Отечественные Записки», к С. С. Дудышкину, — и там она канула в Лету. Это было для меня окончательным приговором. Я — переводчик помимо воли, так же, как и сатирик помимо воли. Как переводчик, я, может быть, еще пригожусь, принесу пользу, а уж, как сатирик, в сущности, я никому не нужен, и все мои писания обличительного характера забудутся, будут погребены в архивной литературной пыли... Если бы я был прирожденным сатириком, юмористом, я давно бы написал несколько вещей, которые остались бы жить и не имели бы интереса минуты, не были бы «эфемеридами», рождающимися утром и умирающими к вечеру... Меня иногда прямо тошнит от моих скороспелых писаний на ежедневные литературные и общественные явления... Да и зачем эти писания, строго говоря? Ни Бенардаки, ни другие откупные тузы, ни литературные прохо-

лизы и прочая дрянь, которых мы высмеиваем, хлещем, не исправится, не станут лучше... Эх, — вдруг оборвал этот скорбный разговор Курочкин. — Куда бы закатиться сегодня? Теперь пост... А дома попойки надоели!

Почти дословно записал я эту беседу Курочкина. Больше она не повторялась, хотя о своих ранних стихах он неоднократно и после говорил со мной.

Он начал читать рано и рано пристрастился к стихам. Пушкина читал с благоговением, с каким-то тайным робким чувством, но не любил его, больше по сердцу ему были даже Боратынский, Огарев; зато Лермонтова он всегда обожал и как-то тянулся к Некрасову, но не за его гражданские стихотворения, которые он считал неискренними, словно кем-то внушенными. Точно так же не любил он и Майкова. «Он напоминает мне красивейшие ледяные глыбы», — говорил Курочкин. Он чувствовал большую нежность к Полонскому. Его уподоблял он милому, искреннему ребенку, который спешит поделиться с матерью своими впечатлениями и от поспешности захлебывается, путается, но при передаче этих впечатлений пылает и полон неизъяснимой прелести. От раннего и усердного чтения поэтических произведений Курочкин научился чуть не с восьми лет владеть размеренной речью.

В корпусе он писал стихи усиленно и лирические попытки тщательно скрывал от товарищей по корпусу, которые терпеть не могли стихов серьезных, «чувствительных» и восхищались стихами «насмешливыми», «шутливыми». В угоду товарищам Курочкин и стал писать всякие эпиграммы и юмористические характеристики. Они приводили иногда в неописуемый восторг невзыскательных товарищей. Это, конечно, ему льстило и подвигало на новые и новые упражнения.

«Я был развитее большей части товарищей и чувствовал пошлость моих писаний, — признавался Курочкин, — но отстать от дурной привычки не мог. Обозлился я однажды и на себя, и на моих подстрекателей и написал что-то в роде этого по их адресу:

От моих задорных пустячков
Восхищенные, пускаетесь вы в пляс...
Отчего? — У жалких простачков
Пусты головы, у вас!..

«Думал, что вздуют по-военному, а вышло наоборот: очень развеселило их мое остроумие. Подобный вздор давался мне чрезвычайно легко, никогда я не задумывался ни над рифмами, ни над размером.

«Помню раз настрочил я во время урока на одного из безобидненьких наших преподавателей эпиграмму, которая и пошла гулять по всем партам. Учитель заметил это путешествие, ловко перехватил бумажку, вернулся на кафедру и прочел:

Что нам учитель рисованья?
Чертит тупым карандашом,
Мазне той серой нет названья...
Для славы лучше нагишом
Пройтись по улице бульварной,
Кривляться в цирке без помех.
Чем пачкотней такой бездарной
Лишь вызывать всеобщий смех!

«— Глупо, глупо, не остроумно и вдобавок лживо! — сказал спокойно учитель. — И еще подпись «В. К.» под стишками... Это кто же? Ах, да — Василий Курочкин! Юны, а уже клевещете... Вот вас хватает на такую неприличную штуку, а заставь вас написать что-нибудь мало-мальски серьезное — и двух строк не сочините!.. Пожалуйте сюда!.. Взгляните в окошко. Вон голубые небеса, а под небесами вьется голубь. Попробуйте-ка это изобразить хоть в нескольких словах. Что? Сконфузились?

«Пока он это говорил, у меня уже складывались рифмованные строки, и я храбро сказал:

«— Попробую написать!

«Подошел к доске и стал писать:

Там, где Зиждитель раскинул лазурные ризы
Тих и прозрачен, воздушный горит океан,
Высоко-высоко там голубь купается сизый,
Солнца лучами приветными весь осиян...
Дух мой парит вслед за голубем птицею смелой.
Там, в наднебесье блаженном, царит благодать...
Жаль мне, что голубь на землю вернется опять...

«— Очень хорошо! — с волнением в голосе сказал учитель рисования. — И вам не стыдно после этого писать вздорные стишки... Впрочем, извиняюсь за резкие слова, сказанные мною... Берегите ваш талант... А ваш экспромт я спишу и возьму на память!»

Курочкин с видимым удовольствием рассказал мне этот эпизод из своей корпусной жизни, которая «в минуты просветления», говоря его собственными словами, порядком тяготила его. В корпусе, по его признанию, он почувствовал и слабость к вину.

К военщине его не влекло, и он был рад-радешенек, когда случай представился с ним, заставил его выйти в отставку и отдаться всецело литературе. Курочкин ехал с какого-то парада на извозчике, умудрился по пути где-то клюкнуть и не снял с груди офицерского значка. На беду в таком виде он повстречался с самим великим князем Михаилом Павловичем, который и посадил его на гауптвахту. Полковое начальство, среди которого были завзятые формалисты и бурбоны, не взлюбило Курочкина, из-за всякой мелочи придиралось к юноше, третировало его, грозило ему. Доведенный до отчаяния, Курочкин занемог и, как только оправился, стал хлопотать об отставке. Да и как было не хлопотать, когда придирки к нему переходили всякие границы! Он передавал мне, что однажды он шел по Невскому со своей родственницей и встретил своего ближайшего начальника. Тот отозвал его в сторону и приказал немедленно отправиться под арест. Курочкин недоумевал, не чувствуя за собой никакой вины.

— Впрочем, — сказал ему начальник, — я сам вас отвезу!

— Но за что же, ваше-ство? — спросил злополучный офицер.

— За то, что в людном месте и в такой час, когда по Невскому можно встретить высочайших особ, вы позволяете себе прогуливаться с дамой легкого поведения! — грозно воскликнул начальник.

Курочкин объяснил, что это его близкая родственница, и очень просил удостовериться в этом.

— Ступайте и передайте ей, чтобы она одевалась скромнее, небрежно кинул ему начальник.

— Прошу, ваше-ство, увольнять меня от такого поручения! — ответил ему Курочкин. — Я не имею права оскорблять невинную женщину, это не позволяет мне и честь моего мундира!

Курочкин отличался удивительной незлопамятностью, незлобивостью, и потому, когда, по выходе в отставку, он столкнулся со своим бывшим начальником у Кокорева, он не чувствовал никакой неприязни к нему и мирно беседовал с ним.

«Это, — добродушно вспоминал Курочкин, — очевидно, тронуло его, потому что при прощании со мной он назвал меня благороднейшим из людей и сказал, что сердечно рад встрече со мной!..»

Много было у Курочкина доброты и благожелательства, и отличный он был товарищ, на которого можно было положиться. Сколько раз он спасал своих приятелей, из которых многие очень скоро оставили его, когда Курочкин очутился не у дел, нуждался, хворал и испытывал душевные муки. Несладко жилось ему, когда приходилось писать фельетоны наспех в «Биржевых Ведомостях», ходить по редакциям, пристраивая кое-где свои работы и нередко получая

ответ: «Простите, ваш не подходит!» Так случилось в «Семье и Школе», куда он принес премиленькое стихотворение для юношеского возраста. Стихи не были приняты, и, чтобы подсластить горькую пилюлю, Сыманко, редактор, навязал Курочкину несколько басен Лессинга для перевода. Довольно долго пришлось ему ждать ответа и в «Вестнике Европы», куда он доставил перевод поэмы Альфреда де-Виньи «Гнев Самсона», перевод поистине блестящий. Стасюлевич попросил Курочкина доставить подлинник, как будто Курочкина, репутация которого, как переводчика, слишком прочно была установлена, еще нужно было проверять.

Долгие годы я знал Курочкина и видел его терпеливость. Он ни на кого никогда не жаловался. «У меня только две болести: цензура и жена, — смеялся он, — и только на них могу жаловаться!»

Цензура страшно угнетала его, но и жена, Наталья Романовна, немного давала ему покоя, особенно, если муж приходил в слишком веселом настроении. Тогда она обыскивала все его карманы, извлекая из них бумажки и серебро, уцелевшие от приятельской щедрушки или от странствий поэта-сатирика по ресторанам и танцклассам. Если она ничего не находила, то зачастую избивала супруга.

Бывали годы, когда Василий Степанович вел особенно безалаберную жизнь, влиявшую и на ведение «Искры» настолько ощутительно, что подписка на нее падала. И немудрено, что многотерпеливый, «умеренный и аккуратный» карикатурист Николай Александрович Степанов в один прекрасный день отделился от своего товарища и основал собственный журнал «Будильник».

Строга была цензура к «Искре», но и она однажды попала в просак. Федор Богданович Миллер, известный переводчик и издатель-редактор журнала «Развлечение», прислал из Москвы в редакцию «Искры» следующее свое стихотворение-акростих:

Ох, дала мне злая долюшка,
Цепь тяжелую, железную!
Если б воля мне да волюшка,
Начал жизнь бы я полезную...
Заслонило солнце тучею,
Ум объяло цепенение,
Рана в сердце ноет жгучая...
Ах, придет ли облегчение!

Стихи получились в отсутствие Курочкина, и кто-то из членов редакции послал их, как произведение слишком известного писателя, в набор. Стихи были пропущены и назначены в номер. Но в самый последний момент Курочкин увидел, что это акростих на слова:

«О, цензура!», и вынул, стрясяши, из номера. Немного позднее Миллер как-то умудрился их напечатать у себя, в «Развлечении».

Был и еще случай, когда цензура «дала маху». Случилось это во время польского восстания и известных деяний «незабвенного» графа Муравьева, орудовавшего не только в Польше, но и в Петербурге. В цензуру была представлена карикатура, изображающая муравьиную кучу возле верстового столба, а на куче птичку — и больше ничего. Под карикатурой стояло:

Муравьев-то муравьев!
Вот где ищца соловьев,
Прилетай же поскорей,
Наш желанный соловей!

Цензура пропустила карикатуру вчерне, а затем художник сделал несколько штрихов, — и верстовой столб превратился в настоящую виселицу: при этом и птица получила человеческую физиономию. Цензуре досталось за эту карикатуру, которая, как говорили, была пропущена умышленно... Однако этому в те времена трудно было поверить.

Кстати, уж прямо и еще одну милую карикатуру начала шестидесятых годов, появившуюся в юмористическом журнале «Гудок». На ней изображен был квартет Крылова, и на дощечке анонса латинскими буквами едва заметно было написано «opera», а внизу крупно прописью — п о ч т а: выходило «опера Норма», а если прописные буквы прочесть по-русски — «почта», то-есть «Северная Почта», официальная газета Министерства внутренних дел. Карикатура, рисованная даровитым художником Николаем Васильевичем Неплевым, была злой иронией по адресу редакции казенного издания, которая хотела давать тон, но не сумела, хотя в составе редакции были такие талантливые люди, как знаменитый автор «Обломова» Гончаров, профессор Никитенко и другие литераторы и ученые, никак не смогшие спеться, про которых смело можно было сказать словами Крылова: «Дерут, а толку нет!» Скукой веяло от «Северной Почты».

В «Искре», в гранках, я видел юмористическое объявление такого рода: «Двойная польза. Продаются большие листы для истребления мух, падающих замертво при малейшем прикосновении к ним, веющем смертельной скукой. Листами также можно обертываться на ночь, предварительно пробежав их содержание, после чего наступает продолжительный сон, в роде летаргического. Драгоценно для страдающих бессонницей. Спросить у вахтера в экспедиции газеты

«Северная Почта». Самые свежие листы продаются на вес также и в свечных лавках». Объявление не было пропущено цензурой.

Оказалось, что его доставил Федор Лаврентьевич Барыков, свои досуги от служебных занятий посвящавший сочинению эпиграмм, юмористических поэмок и всяких сатир. Они в печати никогда не появлялись, но были известны многим в рукописных листках. Большинство этих произведений отличалось остроумием и носило печать несомненного таланта. Когда за границей появилась маленькая книжечка, заключавшая в себе поэму «Царь Ахреян», с фирмой графа Алексея Константиновича Толстого, знающие люди утверждали, что на самом деле автор этой поэмы — Барыков. Меня уверяла в этом и покойная госпожа Хитрово, владевшая рукописями своего дяди, графа Толстого, который, по ее мнению, не мог написать такого произведения... профанирующего нашу религию, кощунственного. Но... граф Толстой, по пословице, «для красного словца не жалел и родного отца» [54].

«Гудок», где была помещена описанная карикатура Певлева, издавался при журнале «Русский Мир» и, собственно говоря, представлял собою сборник стихотворений и статей Минаева, который, будучи редактором «Гудка», наполнял его сверху донизу, подписываясь бесчисленными псевдонимами и получая львиную долю от издателя, владельца нотного магазина Ф. Т. Стелловского. Другим сотрудникам, которых было и немного, попадали крохи. Поэт Апухтин давал свои стихи даром. Молодому талантливому поэту, Николаю Страннолюбскому, Минаев платил за стихи по пятачку за строчку и немилосердно сокращал их без всякой надобности. Бывали и такие случаи: пришлет какой-нибудь провинциал интересную обличительную заметку. Минаев слегка исправит, и гонорар за нее получит сам. Это ему с рук сходило.

Но однажды ему не посчастливилось. Небезызвестный писатель, беллетрист и поэт Федор Эмилиевич Ромер, автор романа «Дилетанты», который имел в свое время большой успех и был напечатан в «Вестнике Европы», живя в Киеве, прислал оттуда большую корреспонденцию, обличавшую провинциальные нравы. Минаев напечатал ее, следующую — тоже, но о расплате с Ромером не помышлял и на его письма не отвечал. Ромер поручил одному своему петербургскому знакомому обратиться к издателю «Гудка» и получить гонорар.

Знакомый отправился в редакцию и спросил у восседавшего за столом Минаева, где он может видеть издателя, к которому он хочет обратиться по поручению Ромера.

— Издатель перед вами! — сказал самозванный Минаев и прибавил: — Если вы насчет гонорара, то должен огорчить вас: за «пробы пера» и новичкам мы не платим! Имею честь кланяться!

Посетитель объявил, что он уполномочен Ромером деньги получить путем судебным, и обидчиво объяснил, что Ромер вовсе не новичок, что его произведения печатались в толстых журналах и, между прочим, в «Искре». Минаев, однако, не унимался и ответил, что никакого Ромера он не знает, и знать не хочет.

— Придется к суду обратиться! — воскликнул посетитель и хотел уходить.

Но тут, на беду Минаева, из конторы пришел действительный издатель, Стелловский, и пожелал узнать, в чем дело. А узнав, сказал знакомому Ромера, чтоб он зашел в контору, где деньги ему будут уплачены.

Вы — большой руки негодяй! — крикнул он с презрением Минаеву, уходя.

Минаев не конфузился и сделал вид, что не слышит. В подобных случаях этот прием он всегда пускал в ход, если не был слишком навеселе...

Издатель потребовал у Минаева объяснения. «Сатирик» полез драться, но Стелловский был гораздо сильнее его и вытолкал буяна за дверь, а затем, как выражались в те времена, «подал ему салазки», то-есть дал отставку.

«Гудок» расцвел избавившись от минаевщины и перейдя к Петру Исаевичу Вейнбергу, который очень удачно повел дело. Но, видно, у Минаева была легкая рука: Стелловскому пришлось поссориться с редактором «Русского Мира» Гиероглифовым, почему-то тоже считавшим себя собственником журнала. Бурное объяснение их окончилось дракой, про которую можно было сказать, что «нашла коса на камень»: и Стелловский, и Гиероглифов оба были парни рослые, плечистые, и неизвестно, чем бы драка окончилась, если бы не пришли на помощь хозяину дворники и не розняли дравшихся. Гиероглифов, однако, не считал себя побежденным и обратился в суд за восстановлением своих издательских прав, а в ожидании решения суда Стелловский исхлопотал новые журналы «Якорь» и «Ось», а «Русский Мир» и «Гудок» скончались.

Я уже рассказывал о столкновении Минаева с Благосветловым, который тоже был вынужден прибегнуть к силе, когда тот полез с ним драться из-за отказа в авансе.

При мне в редакции «Стрекозы», издававшейся милым, добродушным Германом Карловичем Корнфельдом, произошла однажды

возмутительная сцена. Корнфельд отказал Минаеву в довольно круглой сумме и был изруган полупьяным обличителем. В конце концов, Минаев опять пытался подраться. С трудом уняли его.

Минаев всюду, кстати и некстати, сыпал остротами и экспромтами. Кто мало знал его, удивлялся его способности произносить экспромты, но кто хорошо был с ним знаком, тому было отлично известно, что многие экспромты Минаева были очень сомнительного происхождения и пускались в дело один и те же по нескольку раз.

С легким сердцем брался Минаев за переводы любого иностранного поэта, не зная ни одного иностранного языка. Бедным студентам заказывал он подстрочные переводы, которые и перекладывал в стихи, по духу не имевшие ничего общего с подлинником. В его переводе Чайльд-Гарольд Байрона «был юноша дурного тона». Но встречались и прямые нелепости.

— Послушайте, Минаев, — сказал ему как-то Случевский, — как вы умудрились перевести «Божественную комедию» Данте, когда вы не знаете языка?

— Я переводил по французскому подлиннику — вышло прекрасно, — ответил с пренебрежением Минаев.

— Да ведь вы и французского языка не знаете! — не унимался Случевский. — Я помню много стихов этой вещи во французском переводе... Вот переведите это, я вам напишу.

Минаев взял листок с написанным, повертел в руках и презрительно сказал:

— Выберите что-нибудь получше, я сейчас приду!

Он вышел и... более не возвращался в излюбленный литературный кабачок, где это происходило. А не далее, как два через два, в «Гласном Суде» или в каком-то другом издании он самым пошлым образом изругал Случевского.

У Минаева не было того священного огонька в его произведениях, который давал бы ему право называться поэтом, но версификатор он был превосходный. Ни над размером, ни над рифмой он никогда не задумывался, точно так же, как никогда не затруднялся в выборе сюжета. Когда Николай Александрович Степанов, известный карикатурист, соиздатель Василия Степановича Курочкина по «Искре», отделился от своего компаньона и основал собственный сатирический журнал «Будильник», выходивший два раза в неделю, Минаев, не прекращая деятельного сотрудничества в «Искре», сделался ревностным поставщиком нового журнала. Он наполнял стихами

и прозой каждый номер, и мне приходилось быть свидетелем быстроты его работы, — как моментально откликался он и на крупный общественный факт, и на мелкое литературное явление.

Степанов не выносил Минаева, но сотрудничеством его дорожил. Однажды чувствовалось сильное оскудение материала для текущего номера «Будильника». Пришел Минаев, дал свой фельетон «Nota Bene» и, узнав, что много материала недостает, тут же, в редакции, написал сатиру, рассказ на злободневную тему и целый ряд мелочей в стихах.

— Чтоб заключить номер, надо бы еще четыре строчки стихов, — сказал Степанов.

— Рука устала! Продиктую, записывайте, — ответил Минаев:

Обычно дева ждет венца,
Принц обнищавший жаждет трона,
А здесь давно все ждут винца
Да и закуски от патрона!

— Ну, это не годится! — сказал несколько обидчиво наш патрон. — Вот вы вчера были на даче, дайте кроткую картину.

Минаев сейчас произнес в ответ:

По кустам уселось сорок
Пестрых скачущих сорок:
Мне ландшафт подобный дорог
Посреди больших дорог.

Если нужен был наспех перевод, он и его переводил по подстрочнику с такой же быстротой, как говорил экспромпты. В течение одного вечера перевел он поэму Альфреда де-Виньи «Потоп», предназначенную им для «Отечественных Записок». Свидетелем этой быстроты был один студент, делавший комментарии к подстрочнику, им же сделанному. Но злые языки утверждали, что Дмитрий Дмитриевич в значительной степени пользовался при своей работе старым переводом «Потопа», напечатанным в сороковых годах его отцом Дмитрием Ивановичем, человеком многосторонне образованным и симпатичным, тоже поэтом, известным переводчиком «Слова о полку Игореве».

XVI

А. Н. Плещеев.—Случайная встреча с ним у книгопродавца.—Радушие и отзывчивость его к начинающим писателям.—Суриков и Надсон.—Рассказы Плещеева о петрашевцах.

Как часто в бессонные ночи, когда я ворочаюсь с боку на бок в постели, я уношусь в давно исчезнувшие годы и юности моей, и зрелых лет... Передо мной длинной вереницей проходят дорогие тени и прозаиков и поэтов: Некрасова, Достоевского, Гончарова, Писарева, Полонского, Плещеева, Надсона, Гаршина, Чехова, Апухтина, Владимира и Всеволода Соловьевых, Шеллера-Михайлова, Глеба Успенского, Лескова, Левитова, Слепцова и множества других собратьев по перу, с которыми я сталкивался, встречался, был близко знаком или дружен. Сколько их прошло передо мною наяву, скольких из них я часто видел и вижу, когда рой воспоминаний одолевает меня и «былые знакомые лица» воскресают, как живые, встают перед моими духовными очами! Мельчайшие подробности моих встреч, соприкосновений, сближений, бесед с этими лицами припоминаются мне так ясно, отчетливо, как будто все это происходило не в далекие годы, а еще совсем недавно, чуть не на-днях...

Вот обрамленное седыми волосами, одухотворенное лицо старца с его добрыми, светозарными глазами, с его тихой ласкающей улыбкой, с его приятным, мягким голосом, с пламенной, бодрящей речью, призывающей к самосовершенствованию, к самопознанию, к лучшим стремлениям во имя света, правды, добра. Это — Алексей Николаевич Плещеев, один из провозвестников свободы, певец высокой любви к человеку, к обездоленным меньшим братьям, тоскующий «в забавах мира», среди людского эгоизма, равнодушия, зовущий на благородные, смелые подвиги, певец детского мира, его радостей и маленьких печалей, умевший в задушевных «созвучьях слов живых» внушать юности добрые чувства; он учил «темным людом не гнушаться», проповедывал любовь к природе и людям, к тем пасынкам судьбы, «кто ходит, голову склоня».

Этого благородного певца я знал давно, заочно, еще на школьной скамье, когда в большой библиотеке моего отца поглощал жадно старые журналы и старые книжки, а воочию увидал я его впервые в гостеприимной матушке-Москве, в самом начале моего тернистого литературного пути. Не знаю, как теперь, а тогда — в шестидесятых и в семидесятых, и даже еще в восьмидесятых годах прошлого

века — большинство московских издателей и писателей-москвичей были очень скупы на ответные письма. Наработал я что-то рублей пятьдесят, — сумму в те дни для меня огромную, — и пишу, без конца пишу, просьбы о высылке мне «причитающегося гонорара». Ни звука, ни ответа, ни привета. Не вытерпел, поделился своей печалью с нашим знаменитым этнографом Сергеем Васильевичем Максимовым, автором «Сибири и каторги», милейшим человеком, редкой души.

— Эх, маточка, голубка моя, зелень вы свежая для ботвиньи,— говорит он мне в ответ на мои ламентации, — отец ваш моряк, а не научил вас сниматься с якоря быстро, стремительно... Ваш друг Разин пусть достанет вам билет на бесплатный проезд, и поезжайте вы, радость моя, в Москву. Там вас и накормят, и напоят и гонорар отдадут, и вперед еще дадут... Ну, марш к Разину, поскорей — и дело будет в шляпе. А вернетесь — не фиктите: полдюжинки пивца поставьте за полезный совет... Прощенья просим...

И волею капризной судьбы я очутился там, где «калачи пекут на славу» и где меня, юнца, обласкали, угощали и на дому, и вон по трактирам, раза по три в день. Добрый Максимов был прав и в этом, и в том, что я великолепно устрою дела свои по карманной части. Признаться, под конец надоели мне угощения — и я сказался больным. А сам отправился в книжную лавку Улитиных поискать стареньких журналов и новенькое купить кое-что. Библиоманом завзятым я был уже и тогда.

Обрети желаемое, я увидел на прилавке нечто, очень меня заинтересовавшее, и, несколько волнуясь, спрашиваю:

— Скажите, пожалуйста, что стоит эта книжка стихотворений Плещеева?

Это было новое издание, значительно дополненное. Приказчик сказал мне цену мимоходом, так как разговаривал с каким-то господином лет сорока, высоким, слегка худощавым. У него были прекрасные, выразительные глаза и уши, какие бывают большею частью у добрых, ласковых людей. Голос звучал особенно приятно своими мягкими тонами, и манеры гармонировали с ними: были также мягки, изящны.

К моему изумлению, господин стремительно отошел от приказчика и направился в мою сторону и, подойдя ко мне и улыбаясь, спросил:

— А вам разве нравится этот поэт? Или вы покупаете его так, в числе прочих книг, как новенькое издание?

Он смотрел и нежно и вместе пытливо мне прямо в глаза.

— Еще бы, — отвечал я с бьющимся сердцем, — я поклонник этого поэта и знаю наизусть несколько его стихотворений.

И я с пафосом, свойственным юности и большим любителям поэзии, продекламировал ему: «Вперед», «Есть дни... ни злоба, ни любовь», «О нет, не всякому дано святое право обличенья» и «Молитву».

— Вот как! — с живейшей радостью воскликнул симпатичный незнакомец. — Я не допущу, чтобы вы покупали мои книги. Моему поклоннику я должен подарить их все... Простите, если буду любопытен и спрошу вас, кто вы и чем занимаетесь...

Я удовлетворил его законное любопытство и сказал ему больше, чем нужно, заявил о своих симпатиях и антипатиях в литературе, назвал те мелкие издания, в которых печатал мои рассказы, и, наконец, признался, что, будучи еще в шестом классе гимназии, посылал их в «Московский Вестник» и прямо на имя Плещеева (мне посоветовал это Афанасьев-Чужбинский). И прибавил еще, что я страстно люблю библиографию и занимаюсь ею с пятого класса гимназии; теперь собираю сведения о всех писателях, мелких и крупных. Плещеев слушал меня внимательно, прерывал меня вопросами об отце моем, о деревенских впечатлениях, о моих знакомствах, о жизни в Петербурге, намерениях, советовал сторониться от пьяных компаний и стараться печататься в честных органах.

Нужно ли прибавлять к этому, что я был на седьмом небе, познакомившись с любимым поэтом, который разговаривал со мной искренно, просто, как-то родственно, что я с влюбленностью смотрел на его голубые глаза, на задумчиво-грустный взор, слушал его слегка певучий голос, от которого веяло чем-то печальным, вполне русским, пережитыми годами изгнанья, томленья в степной глуши, разобщения с литературным миром, ему дорогим. Все вместе и в отдельности невольно и как-то сразу располагало к Плещееву, хотелось быть с ним откровенным, говорить по душе, выразить сочувствие, соболезнование тому, что он испытал, перенес, пострадав за свое направление, за свободомыслие, и притом невинно, так как революционными замыслами он не задавался и если желал обновления в родной стране, то путем мирным...

Плещеев предложил мне зайти к нему за обещанными мне книгами, и у него я встретил радушие, гостеприимство. Я пробыл у поэта недолго, но вынес из его беседы много интересного, помимо обаяния, на меня произведенного, — много любопытных фактов из его прошлой жизни и деятельности, разных признаний. Не знаю, внушал ли я ему большое доверие, или просто он чувствовал желание высказать, но он говорил мне:

— Я вижу, вы полны энергии и отличаетесь трудоспособностью... Дай вам бог не остыть скоро, не обленниться, когда вам повезет, как это случилось со многими... в том числе и со мной. У меня нет усидчивости, лень нередко одолевает меня, когда нужно, не покладая рук, работать на общую пользу, поднимать дух. В этом мне надо покаяться.

Это признание поэта запечатлелось у меня в памяти, и когда, спустя очень немного лет, я прочел его стихотворение «Природа-мать! К тебе иду с своей глубокою тоскою», где поэт просит эту природу не отринуть его, «борьбой измученного сына», просит сошествия на душу его благодати — и говорит:

Чтобы с себя я мог стряхнуть
И лжи и лености оковы,
И с сердцем чистым, с силой новой
Опять пуститься бодро в путь...

—мне живо припомнилось признание поэта, и я еще больше уразумел названное стихотворение, — этот крик наболевшего сердца.

Между прочим Плещеев показал мне первообраз своего известного стихотворения «Вперед», который под буквами N. N. был напечатан в «Современнике» Плетнева (за 1845 год) под заглавием «Любовь певца». Плещеев никому не сказал, что он — автор этих стихов, он признался в этом только другу своему, Сергею Федоровичу Дурову, поэту-переводчику, одному из петрашевцев, и последний сказал ему: «Жаль, что в этом безымянном и неважном, чисто субъективном стихотворении пропадут такие удачные строки, как —

Блажен, кто жизнь в борьбе кровавой,
В заботах тяжких истощил, —
Как раб ленивый и лукавый,
Талант свой в землю не зарыл...
. . . . . .

Лучше вставить их в более идейную пьесу».

Плещеев послушался товарища, и его совет вдохновил молодого автора на стихи «Вперед». После строчек:

Провозглашать любви ученье
Повсюду нищим, богачам...

поэт поставил эффектное двустишие:

И за него снесем гоненье,
Простив безумным палачам.

Однако в первом же издании стихотворений Плещеева цензура выкинула слова «безумным палачам», вместо которых поэт поставил «озлобленным врагам» и так оставил во всех дальнейших изданиях, несмотря на просьбы друзей восстановить прежний текст. «Прежде было слишком грубо. Я этого не хочу», — ответил поэт.

В тот вечер моего первого свидания Плещеев рассказал мне, какие это были чудные люди — петрашевцы: гвардейские офицеры Николай Александрович Момбелли и Александр Иванович Пальм (впоследствии известный театрал, драматург и беллетрист), Николай Александрович Спешнев, Павел Николаевич Филиппов, Сергей Федорович Дуров, не говоря уже о братьях Михаиле и Федоре Достоевских, какие это были развитые, благородные личности, ничего общего не имевшие с демагогами разных времен. Сходки у Дурова никак нельзя было назвать тайным обществом, потому что они не только не имели ясного устава, но у них не было и сколько-нибудь определенной программы [35]. В этом кружке были в ходу лишь запрещенные заграничные книги революционного и социального характера. Что касается разговоров и прений в дуровском кружке, то они касались только вопросов, которых тогда, то-есть в конце сороковых годов, открыто обсудить нельзя было, например, вопроса об освобождении крестьян. Он-то больше всего и занимал названный кружок, где судили и рядили, какими путями он может разрешиться.

Дуров, вдохновенный поэт, ценитель красоты в жизни и искусстве, большой любитель и знаток западно-европейской литературы, был поглощен своим мирным литературным трудом, и Плещеев, сходный с ним в этом отношении, по симпатии к нему и по складу своего характера, доброго, незлобивого, полного всепрощения, больше всего тяготел к кружку Дурова. Это не мешало ему посещать, и довольно ревностно, вечера Михаила Васильевича Буташевича-Петрашевского. И вот бдительная жандармерия начала производить массовые аресты в Петербурге, и тогда же был арестован и Плещеев в Москве, куда он ездил по семейным делам. Его посадили в Петербурге в Петропавловскую крепость. Здесь он просидел восемь месяцев. Окончательный приговор пресловутого генерал-аудиториата относительно Алексея Николаевича был мотивирован так: «Плещеева за распространение письма Белинского (к Гоголю) — лишить всех прав состояния и сослать в каторжные работы на четыре года». По другим свидетельствам, и Плещеев, и прочие петрашевцы были приговорены к смертной казни чрез расстрел, но «гуманные судьи», в виду разных смягчающих обстоятельств и раскаяния (в чем?) подсудимых, нашли возможным ходатайствовать перед

царем о смягчении их наказания. Последовало «всемилостивейшее соизволение» на это, чего, однако, подсудимые не знали [illegible].

Что перечувствовал Плещеев, которому тогда было всего двадцать четыре года, когда его и остальных «злодеев» привели на Семеновский плац и прочли им смертный приговор, а затем уже объявили о помиловании их Николаем Павловичем, — об этом поэт рассказывал мне гораздо позднее, и в моих воспоминаниях о нем мне приходится сделать невольный скачок во второй половине восьмидесятых годов.

В соседстве, и очень близком, с тем домом, где я прожил более тридцати лет в Петербурге, помещалась редакция ежемесячного журнала «Северный Вестник», издававшегося в восьмидесятых годах Анной Михайловной Евреиновой, доктором прав Лейпцигского университета. Алексей Николаевич, уже старик с эффектной седой гривой и бородой, заведывал в этом издании стихотворным отделом и по обязанности секретаря редакции. Он тогда нуждался и такое, более чем скромное для него, место считал находкой. Я изредка посещал его, преимущественно в неприемные дни, и иногда подолгу беседовал с ним. На моих библиографических карточках, относящихся к Плещееву все еще были пробелы. Меня интересовали подробности его прошлого его юношеских годов. Каюсь — я злоупотреблял добротой и любезностью поэта-секретаря.

Плещеев как-то был в особенном ударе и заговорил о пережитых муках, о постигшей каре по делу петрашевцев.

— Сначала, — как-то понизив голос и приложив руку к своему бледному лбу, начал он повествование, — у меня, не скрою, упала душа, и я был близок к обморочному состоянию: продолжалось это очень недолго, а потом овладела мной невероятная болезненная апатия. И в этом состоянии я оставался и тогда, когда мне уже объявили, что смертную казнь заменили мне солдатской службой, присудив меня отправить в отдельный Оренбургский корпус рядовым... Но не в этом дело, а в том, что накануне конфирмации мне в тюрьме привиделся сон — и довольно странный. Часто в отроческие мои годы видел я вещие сны, бежал к матери, рассказывал ей все, что удерживала моя память, свежая, хорошая, и получал истолкования. Скажу мимоходом, истолкования эти были верны: сны исполнялись. Теперь же мне, заключеннику, бежать было не к кому, чтобы поделиться впечатлением виденного во сне. А он все не выходил у меня из головы. Я видел каких-то странных людей с невероятно злыми, звероподобными лицами. Люди эти исподлобья смотрели на меня, долго о чем-то совещались и, быстрыми шагами подойдя ко мне,

скрутили мне руки, нахлобучили мне мою шапку на глаза. Но, как водится это в снах, я сквозь нахлобученную шапку видел все. Ясно видел, что меня подвели к крутому, совсем отвесному берегу голубой реки и собирались столкнуть меня с обрыва. Я и не думал сопротивляться и словно омертвел. И тут вдруг раздался звон: где-то ударили в колокол. Толкавшие меня в водную бездну люди мигом разбежались. Совсем как наяву, я слышал явственно топот их ног. Взмахнул я рукой — разорвал путы, связывавшие меня... А потом очутился в какой-то широкой безлюдной степи под раскаленным небом. На мне была одежда странная, какая-то военная, и опирался я на ружье. И представьте себе, когда меня послали рядовым в Уральск, и передо мной была степь, я тотчас узнал ее: так поразительно была она похожа на виденную мною во сне... Я не суеверен, я не мистик, но сон мой долго не выходил у меня из головы, не мог не изумить меня, предсказав мне то, что случилось со мной, — солдатчину в оренбургских степях... И вот не верьте после этого в сны, в предзнаменования... Если вам придется когда-нибудь писать мою биографию... после моей смерти, конечно, то вы уж напишите об этом сне..

Но возвращаюсь назад. Я еще раз посетил Плещеева в Москве лет через десять, а может быть, и больше, после моего первого знакомства с ним в столице белокаменной. Встретил он меня радостно и провел прямо в свой кабинет. Мне живо помнится эта небольшая комната, где на кончике стула робко сидел молодой человек, лет двадцати с небольшим, с приятным русским лицом простолюдина. Даже при самом беглом взгляде на него, в сидящем посетителе сейчас можно было угадать крестьянина. Как потом я узнал, у него была мелочная торговля железом где-то у Тверских ворот. Поэт познакомил нас:

— Иван Захарович Суриков — торговец... Самородок... Стихи пишет... Удалось нам кое-что в печать двинуть... — И, обращаясь к Сурикову, сказал: — А перед вами — заправский литератор, поэт, издат, собрат по оружию... Прошу хорошенько познакомиться.. Петр Васильевич вам может быть полезен...

Когда я расстался с Плещеевым в этот вечер и вышел вместе с Суриковым, начинающий поэт с детским восторгом рассказал мне, как был он принят вчерашне достойнейших, отзывчивым поэтом, бескорыстным другом молодежи, покровителем начинающих литературных талантов и всякого мало-мальски даровитого, вступающего в жизнь юноши. Плещеев с чувством читал первые безыскусственные песни стихотворца-разночинца, необыкновенно тепло отнесся к нем

и к их автору. Алексей Николаевич, — передавал мне Суриков, — вдохновенно говорил ему о задачах честного певца, об истинной любви к родине, о косности русских сытых людей, равнодушных к идеалам добра и правды, о тех немногих борцах, этих благородных людях с их правдивыми и честными сердцами, в честь которых, — прибавлю я от себя, — поэт на закате дней своих провозгласил тост, за тех —

Чья жизнь — упорный бой во имя идеала,
В ком голос истины корысть не заглушала;
Кто, возлюбив всем сердцем свой народ
И родину свою, себя им на служенье
Обрек и, радости исполненный, идет
Путем сурового труда и отреченья...

Много вечеров посвятил Плещеев Сурикову, своему литературному крестнику, указывая ему на недочеты в его стихотворных опытах, будя в нем лучшие чувства и понимая своим чутким сердцем этого бедного, тогда еще не твердого в грамоте юношу, одаренного и хоть смутно, но уже сознававшего свое поэтическое призвание. Помню я, как через несколько лет после этого первого свидания с Суриковым я встретился с ним уже в Петербурге. Он, составивший себе уже имя, чуть не со слезами на глазах вспоминал то время, когда поэт направлял первые литературные шаги Сурикова, носил его стихи к редакторам разных маленьких журналов, знакомил их автора со своими приятелями, собратьями по перу.

— Он возился со мною, — взволнованно говорил Суриков, — как с родным сыном. Никогда, вовеки не забуду я его доброты, ласки. Дорогой Алексей Николаевич... Я знаю, как он бывал занят и как часто уделял мне свои скудные досуги... Ведь он сам так много работал ради насущного хлеба... Был у него, до земли ему кланялся... А он добродушно только улыбался да обнимал меня, и все просил, чтобы я строже относился к своим стихам.

И не с одним Суриковым «возился» Плещеев. Редко кто не обивал его пороги и в Москве, и в Петербурге, когда он обитал в миниатюрной квартирке своей на Спасской. Кто из литературной братии не знал его милых, сердечных отношений к Михаилу Николаевичу Соймонову, покойному, мало оцененному у нас поэту, которого он часто школил за разгильдяйство в поэзии, за небрежность, за разбрасывание, или к Надсону! Он лелеял не одного поэта из рано умерших и из оставшихся в живых. Помню, как пришел ко мне старый товарищ, тоже ныне покойный, поэт Владимир Сергеевич Лихачев, переводчик Мольера, и рассказал мне, какую головомойку

получил взбучку от Плещеева, но счастью наедине, кончившуюся, однако, дружеским рукопожатием.

— Вы отличный переводчик, и стишки у вас есть хорошие, — говорил Плещеев Лихачеву, — а как будто своего дела не любите, не цените... Размениваетесь на мелочи... Пустые вирши в «Стрекозе» и в «Листке» печатаете... Неужели вы уж так нуждаетесь?..

И далеко не молодым писателям он, по симпатии и ради правды, которой никогда не изменял, не стеснялся высказывать горькие истины. Константину Михайловичу Станюковичу, автору прекрасных рассказов из морского быта и тягучих, узко тенденциозных романов на общественные темы Плещеев с присущей ему откровенностью и прямотой нередко говорил, что общественные его романы натянуты, растянуты и скучны, хотя и написаны в самом ярком прогрессивном духе, и что напрасно Станюкович стремится в область, ему чуждую, тогда как его родная область — море и моряки... Укорял он писателя и за то, что тот не жалеет своих сил и здоровья, проводя ночи в Картахи. А когда Станюкович, напрасно заподозренный «в преступных сношениях с Лавровым» и другими нашими эмигрантами, был сослан административным порядком в Томск [57], Плещеев был глубоко огорчен и добился, не без труда, свидания с ним, чтобы проститься. «Нет худа без добра», — с прямодушием и искренностью, ему присущими, воскликнул Плещеев после того, когда Станюковича вернули, и он стал посылать из Сибири прекрасные очерки свои из морского быта.

Так относился он, этот «падре», как назвал его беллетрист Иван Николаевич Щеглов, к своим литературным собратьям, по-детски радуясь, когда обретал какой-нибудь новый талант, в особенности поэтический. Хорошо помню по поводу этого одну встречу с Плещеевым на Невском. Он спешил куда-то и на ходу бросил мне приглашение «непременно» притти к нему «сегодня же». Я заинтересовался и не отставал от Плещеева, проводив его до какой-то редакции.

— Сегодня вечером, смотрите зайдите, — говорил он с доброй улыбкой, — прочту вам несколько стишков новой восходящей звезды... Боже, что это за прелесть! Положительно, второй Лермонтов! Увидите.

Когда я пришел в указанное время к Плещееву, он сидел за столом, углубившись в тетрадку со стихами, и объяснил мне, что это не первые стихи юного поэта, что он уже печатался в журнале «Свет» Николая Петровича Вагнера (Кота-Мурлыки).

— Вы читали? — интересовался, маститый уже тогда, поэт.

Я ответил, что не только читал стихи Надсона (и сейчас же догадался, о ком шла речь), но и познакомился с ним именно у Вагнера.

— Ревную, — сказал со своей милой улыбкой Алексей Николаевич. — Впрочем, на ловца и зверь бежит... Вы — библиограф и вам нужно было раньше других узнать, что такое представляет собою Надсон. Он мне кажется совсем ребенком, чистым, прекрасным.

У Плещеева, против обыкновения, этим вечером никого не было, и Алексей Николаевич долго, смакуя, читал стихи Надсона, восхищаясь удачными образами, выражениями. Наиболее красивые места стихов он повторял по нескольку раз и пророчил молодому поэту громкую славу. Было уже поздно. Я простился с Плещеевым, а он, провожая меня, на прощанье опять повторил мне строки надсоновской музы.

О Надсоне он всегда говорил с восхищением, с нежностью, и, помню, только раз услышал я его недовольное брюзжание. Он горячился, что, кажется, Надсон уже отуманен похвалами, и что «бабы» ухаживают за ним чересчур и, пожалуй, испортят его...

Чтение Плещеева перед публикой я впервые слышал в литературном «Пушкинском Доме», в Знаменской гостинице, что напротив вокзала. Наш поэт не без волнения взошел на эстраду при неумолкаемом громе рукоплесканий и певучим, немного однотонным голосом читал:

О, не забудь, что ты должник
Того, кто сир, и наг, и беден,
Кто под ярмом нужды поник,
Чей скорбный лик так худ и бледен;
Что от небес ему одни
С тобой даны права святые
На все, чем ясны наши дни, —
На наши радости земные.
И тех страдальцев не забудь,
Что обрели венец терновый,
Толпе указывая путь, —
Путь к возрожденью, к жизни новой.

Последние четыре стиха поэт произнес громче других, с особенным пафосом. Бледность покрыла его вдохновенное лицо, и с эстрады сошел он нетвердым шагом под бурные рукоплескания. Его заставили прочесть «Вперед», «О нет, не всякому дано святое право обличенья». Он окончил чтение совсем усталый, изнеможенный. Боже мой, как давно это было, а между тем, как свежа память о нашем «падре», сумевшем завоевать себе завидную популярность и любовь близко знавших его, доходившую до обожания, — любовь и к поэту, и к че-

лежку! Не громка была его лира, но как трогала она душу нашими своими, призывными, искренними, нежной печалью, вдумчивым созерцанием окружающего, родными напевами, которые звучали так кстати среди тогдашнего гнета, с одной стороны, и рабской покорности ему — с другой, среди постыдной лени и равнодушия большей части нашего общества.

XVII

Аполлон Григорьев.—Ф. И. Тютчев.—Мое первое с ним знакомство.

Еще в первый год моего пребывания в Петербурге, когда чуть ли не каждый день приносил мне все новые и новые знакомства среди писателей, наталкивая меня на самые интересные встречи, известный критик, философ Николай Николаевич Страхов, познакомил меня с Аполлоном Григорьевым, «соперником Добролюбова», как любовно аттестовал его Страхов, подводя меня к нему в редакции журнала «Время» братьев Достоевских. Это было в 1861 году, и в ту пору я усердно читал критические статьи «почвенника» «Времени», о чем тотчас при знакомстве с Григорьевым я это и сказал ему. Со своей обычной доброй улыбкой он крепко пожал мне руку, со словами: «По говору узнаю южанина», и стал беседовать со мной о литературе. Он мимоходом делал замечательно меткие характеристики писателей, в особенности поэтов.

— Смерть люблю поэзию, — говорил он с воодушевлением. — Как только доберусь до книжки журнала, сейчас набрасываюсь там на стихи. А вы?

— Мы одним миром с вами мазаны! — откровенно ответил я ему. Он сильно располагал к откровенности и вообще производил обаятельное впечатление.

— А кого любите из поэтов больше всего? — допрашивал меня Григорьев, и когда я, назвав несколько имен, упомянул Тютчева, Аполлон Александрович как-то просиял весь, потрепал меня по плечу и воскликнул: — Это мой божок! При первой возможности подарю вам знакомство с ним... Увидите, что это за умница... Оригинал, острый язык, дарович во всех смыслах... Политик, литературу иностранную изучил до тонкости... Однако светский лентяй, сердечник, поэтического дарования своего не ценит, словно стихи пишет мимоходом, между прочим... Создает замечательный перл, а говорит небрежно: «J'ai fait quelques petites rimes».

Цитирую это по выписке из моего дневника, который я вел до 1878 года и полнее, до и после высылки из Петербурга «за потрясение основ».

На ловца и зверь бежит. Знакомство мое с Тютчевым, сверх ожидания, состоялось довольно скоро, и я вскоре убедился в справедливости отзыва о нем Григорьева.

Здесь я сделаю маленькое отступление. Мне хочется поговорить о Григорьеве, этом удивительном человеке. Ему я обязан целым рядом очень видных литературных знакомств, кстати сказать, и [illegible], которому я посвящу много страниц в моих воспоминаниях, думаю, небезынтересных.

Григорьев сильно полюбился мне со дня первой встречи с ним. В свою очередь и он почувствовал ко мне большое расположение. Оно не прекращалось, не умалялось ни тогда, когда у Григорьева был период его скорбного недуга — тяготения к спиртным напиткам, ни тогда, когда у него разливалась желчь у трезвого, разбитого нищетой житейских сумерек, затравленного злыми недоброжелателями, отягченного долгами и другими материальными злыми обстоятельствами. Нельзя было не любить эту благородную, чуткую готовую на самопожертвование, мягкую, почти женственную, яркодаровитую натуру. Казалось, в период запоя дарование его гибло совсем, но период проходил, и оно воскресало и являлось с прежней силой. Под аккомпанемент гитары, с ним почти неразлучной, он образно декламировал свои поэтические экспромты, положенные на его же музыку, тут же созданную, своеобразную. Припоминается один из таких экспромтов «странствующего романтика», как называл себя Григорьев.

Рассветом голубым ты теплилась мне в горе,
В минуты черные печали роковой,
Улыбкою даришь средь зол и житейском море
И поддаешь огня мне в страсти огневой.
Бодришь меня, когда беспошлинно, безданно
Томят враги, и я дрожу под их крестом,
Вся непосредственна, как отклик первозданный,
Манишь меня к себе и взором, и перстом.
Мне не была повек ты грустною обузой,
Когда мельчает дух, как безди морских пески,
О милая моя и верная мне Муза,
Ты подошла ко мне, когда я полн тоски!..

При мне появился на свет и две популярные импровизации «странствующего романтика»: «Больная птичка запертая», и «Твои движенья гибкие, твои кошачьи ласки». Приведенное стихотворение

«Рассветом голубым» не вошло ни в один из сборников стихотворений Григорьева и появится здесь впервые. Редко когда записывал он свои экспромты и вообще относился к ним с таким же небрежением, как и Тютчев. Если и записывал, то большей частью терял.

Я хорошо помню, что однажды, когда я «спасал» Григорьева, увозя его из «Вяземской Лавры» с Сенной, мне удалось вынуть из его трёхобразного пиджака листки с начатой его поэмой «Искушение последнего романтика». Случайно запомнились мне четыре первых строки:

Надорванный и непостижный век,
Безграничным хаосом рожденный,
Тобой несчастный создан человек,
В своем величье убежденный...

Я вернул эти листки протрезвившемуся автору, но вскоре он сел в «долговое отделение», и они попали в горевшую печь по «печальности», как передавал мне сам Григорьев.

Расхищал он этого рода свое добро так же, как деньги. Они словно мозолили ему руки, и он раздавал их направо и налево, и друзьям, часто мнимым, и встречному, и поперечному, забывая о раздачах. Забывчивость его относилась и к вещам критика-поэта, и к пище. Только сильный голод пробуждал Григорьева, напоминая о себе. Он не ел, а как-то глотал куски, изготовленные его квартирной хозяйкой или в скверном кабачке, большей частью на Большой Зеленинской улице. Немудреная жизнь Григорьева слагалась чересчур просто, полная неожиданных сюрпризов, безграничных разочарований, горестей, мелких и крупных, и подчас ядовитой горечи.

Пора, однако, вернуться к Тютчеву. При свидании с поэтом я обратился к нему с целым рядом вопросов, касающихся его стихотворений. Я спросил его, почему, недолюбливая Наполеона, он в одном из них все-таки говорит: «И ум великой тенью поли» и вообще как будто со скорбью упоминает о кончине его. Тютчев взглянул на меня со снисходительной улыбкой, скривившей его губы, и протяжно ответил мне:

— Неужели вы не поняли, что тут говорит во мне самый упорный, неизменный монархист, — он сделал ударение на последнем слоге, — ничем и никем не поколебимая. Другой вопрос мой касался диктаторов и республиканских президентов!

В политических взглядах поэта выражалась его большая нетерпимость, ничем и никем непоколебимая. Другой вопрос мой касался уже не политики, а лирики.

— У вас в прекрасном, известном стихотворении сказано: «поют деревья». Как понимать это?

С прежней и еще большей усмешкой он дал такой ответ:

— Вы сами давно стихи пишете, а не хотите знать, что тут дело идет о весне, когда поет вся природа гимны ей... Этот мелодичный говор, лепет дрожащей листвы разве не напоминает вам какого-нибудь певца? Да, наконец, на деревьях есть пернатые певцы. Ими и поют деревья, как гуляющими громкими волнами поет море!..

Мои, очень может быть, наивные вопросы, видимо, не понравились Тютчеву. Он был тогда на высоте своей славы, и тут он, пожалуй, не мог не смотреть на меня сверху, являя и в данном случае свою нетерпимость. Он вел довольно рассеянную, обычную светскую жизнь, часто забывая о домашнем очаге; засиживался в ресторанах, устраивал катанья, деятельно посещал театры, преимущественно французский и немецкий, мало тяготея к русскому. Как-то встретил я поэта в партере французской сцены и как бы упрекнул его, что он не был в Александринке на спектакле, когда шли «Шутники» Островского. Он сухо ответил мне:

— Я признаю его «Кузьму Минина», и еще кое-какие вещи, только не из купеческого быта, расхваленные тесным муравейником драматурга. — Купцы — это что-то ограниченное, пошловатое... Нет, уж увольте от них.

В дневнике моем значится: «Тютчев после краткого разговора моего с ним круто повернул и направился к какой-то ложе».

Зато вскоре, при следующем свидании, мне совсем посчастливилось. Тютчев в то время был страшно удручен потерями дочери и особы, горячо им любимой. Я выразил ему свое соболезнование. Он почти со слезами благодарил меня и сказал:

— Нет пределов моему страданию, и нет выше моей любви к той, которая дала мне столько счастья! Испытали ли вы такое состояние, когда все существо проникается, каждая вена, этим всеобъемлющим чувством? «И если загробная жизнь нам дана», — как говорит Боратынский, — я утешаю себя только загробным свиданием!.. Но ведь это утешение все-таки не примиряет с действительностью...

Радость бытия, какую испытывал Тютчев с его философским взглядом на жизнь, теперь не озарила его лицо, сильно исхудавшее, со впалыми щеками, желтое, как воск. Крепко пожав мне руку на прощанье, он с грустью подал мне листок со стихами (может быть, экспромт) и сказал: «Вот вам на память... стон души!»

Заношу стихи здесь, так как они не вошли ни в одно из собраний стихотворений Тютчева.

Я не ценю красот природы,
Когда душа потрясена,
Когда свинцовая невзгода
Тмит бедный дух кошмаром сна.
Природы лучшие красоты
Меняют часто годы, дни.
Из нас поймет, пожалуй, сотый,
Что мы ей только и сродни.
Нет, преждевременная вялость
Ее не будит скорби к ней.
И нам в себе души усталость
Нести тяжеле и больней.
Природы воздух ядовитый
Нас отравляет не всегда:
Мы себялюбием повиты —
И эта губит нас беда.

Беседуя со мной во французском Михайловском театре о драмах и комедиях Островского из купеческого быта, Тютчев возмущался пошлостью этих пьес, как я уже говорил. Такое возмущение поэта, при его крайней нетерпимости, отзывалось чрезмерной мнительностью. Но вообще трудно выразить словами, насколько Тютчев раздражался всякой людской пошлостью: это можно было только чувствовать, говоря с ним на эту тему.

Невольно вспоминается мне такой случай. В шестидесятых годах на Загородном проспекте в Петербурге существовал кабачок, называвшийся «Капернаумом» в писательской среде. Сюда стекалась едва ли не вся столичная литературная братия. В «Капернаум» однажды затащил Тютчева всюду поспевавший, всюду летавший Григорович. И вот поэт натолкнулся тогда на некрасивую сценку. Слегка подвыпивший молодой, но солидный писатель сел верхом на юмориста Лейкина, уже полупьяного, изображая генерала, командующего войсками, и орал что-то зажигательное. Тютчев плюнул и без шапки выскочил из кабачка. Хохотавший Григорович, схватив шапку поэта, тоже стремглав выскочил оттуда. На подвыпившую компанию это подействовало освежающе, и кабачок стал пустеть.

— Какая гадость! Что за фантазия у Григоровича таскать такого кристально чистого человека, как Тютчев, в Капернаум! — сказал мне, когда мы выходили из кабачка, Артур Иванович Бенни, «загадочный человек», как назвал его Лесков, который вывел этого действительно загадочного человека в своем романе «Некуда» под прозрачным псевдонимом Райнера, одного из членов «Знаменской Коммуны» [58].

Григорович передавал мне за верное, что после посещения «Капернаума» у Тютчева была первая лихорадка.

Насколько поэт ненавидел пошлость, доказывает еще один, происшедший на моих глазах, случай. В немецком театре шла какая-то несуразная, банальная мелодрама. Тютчев ежился все время на своем стуле и, всегда сдержанный, привыкший владеть собою, в конце-концов не выдержал и довольно громко воскликнул: «Что же это такое? Какая наглая пошлость!» — и, сильно обиженный, уехал домой.

«Какой-то стихотвор, — довольно их у нас!» принес Тютчеву маленький сборник своих стихотворений, спрашивая «откровенного» совета, продолжать ли ему стремиться на Парнас. Тютчев перелистал книжку и на шмуц-титуле начертал: «Бросьте в огонь эту колоссальную пошлость и уймитесь!» Злополучный стихотвор, улыбаясь, сказал мне, что у него есть автограф знаменитого поэта, который он сохранит до смерти, и показал мне книжку своих стихов, подробно передав мне о своем визите к Тютчеву.

Поэт почти никогда не упускал случая сострить, где нужно, пустить в ход злейшую иронию или просто пошутить. Ничего не зная о доблестях Мещерского, о его вкусах, он поместил в «Гражданине» два-три стихотворения. Узнав о гадостях титулованного редактора, он ушел из «Гражданина» и лицу, передавшему ему горькую правду о Мещерском, сказал: «Несчастный дедушка Карамзин, он три раза перевернулся бы в гробу, услыхав о доблестях внука»[30].

Как-то сидя у себя, поэт закутался в плед. Кто-то из гостей заметил: «Что это, Федор Иванович, вы так кутаетесь?» — «Нельзя иначе! — получился ответ. — Современная Россия — страна холодная, не зябнут только дипломаты, нагревающие руки... за ее счет!»

Посетив кого-то из знакомых, Тютчев обратил внимание на картину Калама (Alexandre Calam), похвалил ее и, любя живопись, не утерпел, чтобы, в поучение присутствующих, не распространиться о том, что у Калама есть единство чувства, много поэтической концепции и краски гармоничны. «Мы согласны все, но ждем от вас иного: где ваш каламбур?» — «Да ведь вы же сами его сейчас сказали, — ответил Тютчев лицу, сказавшему ему об этом, — вы говорите ваш Калам бур... Может быть, он и бур, вот тут и весь каламбур!»

По смерти Тютчева я присутствовал на вечере у Я. П. Полонского, прекрасно охарактеризовавшего скончавшегося (в 1873 году) поэта:

Песнь его глубокой скорбью
Западала в грудь
И, как звездный луч, тянула
В бесконечный путь!

Да, Тютчев умел страдать, он не любил полумер ни в искании идеала, ни в искании красоты, ни в увлечении, ни в отвращении к злу. Много мне пришлось видеть писателей — цельных натур, но такой исключительно цельной природы, какая была у Тютчева, я не встречал. «Словно рукой гениальной обточена» была личность этого удивительного человека.

XVIII

Роковая доля поэта-гаторжанина М. Л. Михайлова.—Его характеристика.

Когда я углубляюсь в свои воспоминания о далеком былом, мне особенно живо рисуется сгорбленная фигура в поношенном сюртуке, подслеповатые глаза в очках, поникшая голова и на бледном желтоватом лице явные следы пережитых мук, душевных и телесных. Это—Михаил Ларионович Михайлов, знаменитый переводчик «Песен» Гейне, имевших когда-то огромный успех. Он впервые познакомил русского читателя с великим немецким поэтом в этих переводах, так художественно точных, как никогда ни до того времени, ни после не переводили Гейне.

С Михайловым я познакомился в 1860 году, вскоре после его приезда из-за границы[60]. Несмотря на свой слабый организм, он был бодр, словоохотлив и мало думал о том роковом ударе, который зорко сторожил поэта, еще полного впечатлений, вынесенных им из недавнего пребывания в Лондоне. Рассказывал он красиво, очень образно, не без лиризма, могу смело сказать, мастерски, умея передавать до тонкости виденное и испытанное, в особенности политические воззрения свои и русских эмигрантов. Голос его слегка дрожал, когда он говорил, что народ просыпается, прозревает, и скоро нужно ждать дня, когда он поднимется и «растопчет многоглавую гидру» (подлинные слова его). Вместе с тем меня приводили в восторг необыкновенная добросердечность Михаила Ларионовича, прямота, глубокая искренность и большой ум в соединении с огромной начитанностью, разнообразием знаний и любовь ко всему угнетенному, подавленному, его надежды на возрождение лучшего мира, лучших времен, на исчезновение тлетворной гнили.

М. Л. Михайлов не был красив, ростом невелик, хотя был тонок и строен и вообще имел изящную фигуру, сообщавшую его манерам и движениям грацию. Ему не придавали красоты ни бледный, смуглый цвет лица, ни загнутые дугой брови, которыми он делал усилия, чтобы открыть глаза, маленькие, узкие, словно прорезанные, как

у киргиза. Но, несмотря на все это, лицо его светилось особенной внутренней красотой, простотой, успокоительной мягкостью, что невольно влекло к нему сердца и умы. Он был вообще неизъяснимо обаятелен, бесконечно добр, мягок, общителен, способен к самому широкому самопожертвованию, вплоть до принятия на себя хотя бы и очень серьезной чужой вины. Мягкость, деликатность, благодарность даже за пустое одолжение, величайшая терпимость у Михаила Ларионовича не имели границ и доходили, по выражению его друга Шелгунова, до легкомыслия. Он был едва ли не первым глашатаем женских прав[61]. Он прямо и твердо шел по своему тернистому пути. Литератор-боец, человек редкой духовной красоты, он и погиб вследствие своей самоотверженности, не дожив и до сорока лет. В Кавинском приюте был выстроен острог, куда политические попадали наравне с уголовными арестантами, ворами и убийцами. Михаил Ларионович отбыл уже срок наказания в сыром остроге (получив от сырости брайтову болезнь), но после него должен был досиживать какой-то поляк-повстанец, и Михайлов из дружбы к нему остался в тюрьме[62].

Без дальних дум, готовый на самые высокие подвиги, писатель взял на себя вину Николая Васильевича Шелгунова, который без из-за границы составленную им прокламацию «К молодому поколению» в Россию, уложив ее на искусственное дно чемодана. Михайлов был арестован и отправлен в каторгу. Когда допрашивали Михайлова, он всячески пытался обелить Шелгунова. Сидя в остроге, Михаил Ларионович не переставал работать и строить планы будущих литературных трудов своих. Работал он напряженно и неустанно, отбывая наказание, длившееся четыре года, а затем на поселении в Сибири, живя то у своего брата Петра Ларионовича, на Казаческом приюте, то в Кадае, в маленьком домике местного старосты, состоявшем всего из одной комнаты.

О значении Михайлова, как поэта-переводчика корифеев западной литературы, много говорить не приходится. Его недюжинный поэтический талант особенно ярко выразился в переводах из Беранже и из Гейне, капризную музу которого Михаил Ларионович сумел уловить так мастерски, в особенности ее дух, ее настроение и ловко затаенную, замаскированную мысль, тенденцию. Стоит вспомнить хотя бы это:

Брось свои иносказанья
И гипотезы святые,
На проклятые вопросы
Дай ответы нам прямые.
Отчего под ношей крестной
Весь в крови влачится правый?

Отчего везде бесчестный
Встречен почестью и славой?
Кто виной? Иль силе правды
На земле не все доступно?
Иль она играет нами?
Это подло и преступно.
Так мы спрашиваем жадно
Целый век, пока безмолвно
Не забьют нам рта землею...
Да ответ ли это, полно?..

Михайлов дал нам не менее блестящие переводы творений Беранже, Томаса Гуда, Бернса, Фелиции Гименс, Ленау, Шамиссо, Уланда, Готье, Шиллера, Гете, Морица Гартмана, Рюккерта, Шенье, Теннисона, Лонгфелло и других иноземных поэтов. Талантливы и оригинальны его стихотворения, особенно те, в которых воспевается любовь к свободе, к народу, призыв к верности идеям радикализма, возмездия за зло, причиненное властями народу, свободному слову и т. п. Будучи кроток, не без жестокости он говорит:

Во мне не дрогнет бровь —
Что свет и зол и груб —
За око — око, зуб за зуб.
И кровь воздать за кровь!

Он хорошо известен и как прозаик. Его романы и повести, такие, например, как «Перелетные птицы» из быта провинциальных актеров, «Адам Адамыч», «Он», «Нянюшка», являются горячими проповедями идей добра, света, свободы и любви к униженным и оскорбленным. Михайлову принадлежит также целый ряд критических статей, замечательных по чуткости рецензий, чуждых кумовства.

В раннем детстве, обнаружив отличные способности, Михайлов начал писать стихи и еще на школьной скамье пытался переводить Гейне и других иностранных поэтов, так как знал языки английский, французский и немецкий. Литературное дарование сказалось в нем тоже довольно рано, наравне с наклонностью к этнографии, к изучению быта и местностей, где протекала его жизнь. Он получил прекрасное образование. Под влиянием своего родственника, Владимира Ивановича Даля, известного лексикографа и беллетриста-народника (писавшего, как известно, под псевдонимом «Казак Луганский»), Михайлов рано пристрастился к литературе и рано решился всецело посвятить себя ей. Не кончив гимназии (Уфимской), он устремился в Петербург, куда влекло его, как в литературный центр, и двадцатилетним юношей поступил в университет вольнослушате-

лем, около 1845 года. Тогда же началась и его литературная деятельность.

Стихи чередовались у него с прозой. Переводы его сделаны мастерски. Помимо безукоризненной техники в них ярко переданы дух, настроение, манера подлинника. Здесь у него нет соперников. Язык изящен, стих всегда музыкален. В беллетристических произведениях талант его не менее значителен. В них видно знание особенностей провинциального быта и нравов, не теоретическое, а практическое изучение разных народностей. С этой целью он изучал татарский, зырянский, киргизский языки.

Одно время Михайлов пользовался в литературе большой популярностью, не только как поэт-переводчик, но и как критик и публицист, всегда верный себе, зорко следивший за всеми явлениями литературы, искусства, общественности. Проникновенная любовь к народу, страдание за его угнетенность и беспомощность сквозят во всех его произведениях, и беллетристических, и посвященных современности. Он всюду — враг насилия, произвола, дикости нравов, разнузданности и друг свободы, верности бескорыстному служению родине.

Михайлов горячо любил свое дело, свою профессию, свою работу, трудясь, что называется, до самозабвения, порой с утра и до глубокой ночи, уделяя лишь кратчайшее время отдыху. Он растрачивал свои последние силы, невзирая на свое расшатанное здоровье. Когда он писал повесть или рассказ, он глубоко проникался жизнью выводимых в этом произведении героев, улыбался, расцветал, видя их счастье, искренно мучился, замечая их ошибки или страдания, словно это были живые люди, а не созданные его воображением, его пламенной фантазией.

Пишущий настоящие строки застал однажды Михайлова в довольно мрачном настроении и спросил о причине этого.

— Я пишу теперь комедийку «Теруика», и судьба ее героини серьезно беспокоит меня — что с ней будет, что ждет ее? — отвечал он мне и задумался. — Простите мне эту странность, у меня обычную... Я всегда живу одной жизнью с моими героями... Верите ли, я не мог удержаться от слез, переживая судьбу одной моей героини в повести «Благодетели».

По свидетельству Л. П. Шелгуновой, с которой он был очень близок, Михайлов не покидал надежды, что его скоро вернут из Сибири на родину, и писал любимой женщине, как много он рабо-

* Дед поэта был засечен до смерти, что описывается в одном из его романов. Об этом рассказывает и Аксаков в своей «Хронике».

брат, какие произведения, стихотворные и прозаические, задумал и уже многое выполнил из задуманного. Чуть не до последнего дня писал он новые вещи или перерабатывал прежнее.

В «Ведомостях С.-Петербургской городской полиции» от 14 декабря 1861 года напечатано следующее:

«Определено: отставного губернского секретаря Михайлова, виновного в злоумышленном распространении сочинения, которое могло возбудить дух против верховной власти, или потрясения основных учреждений государства, — лишить всех прав состояния и сослать в каторжную работу в рудниках на шесть лет».

Михайлов во время объявления приговора хотел что-то сказать, но загремели барабаны, и жандармы подхватили и увели осужденного. С момента ареста имя Михаила Ларионовича Михайлова стало запретным: стихи, как-нибудь уцелевшие в сборниках, вырезывались, а то, что присылалось им из каторги, печаталось с большой опаской и под псевдонимами. К Михайлову прекрасно подходят слова Некрасова, сказанные, что и в произведениях певца-каторжанина —

Кипит живительная кровь,
Торжествует мстительное чувство,
Догорая, теплится любовь,
Та любовь, что добрых прославляет,
Что клеймит злодея и глупца...
И венцом терновым наделяет
Беззащитного певца...

Брат Михаила Ларионовича рассказывал мне вскоре после его смерти о последних минутах покойного, глубоко захваченный скорбью утраты.

— Мне пришлось закрыть глаза брату, — говорил он, — человеку, который был ясен душой в самом широком смысле этого понятия. На руках моих ушел он в вечность со своей обычной улыбкой затаенной на устах. О, лучше я сам бы стал, чтобы только не видеть этой улыбки, до сих пор еще терзающей мне душу...

И в самом деле, смерть поэта-каторжанина и вся скорбная участь его при жизни были только горькой улыбкой и в то же время беспощадным упреком современной ему действительности...

XIX

Н. С. Лесков.—Мое первое знакомство с ним.—Редактирование мной его произведений при его жизни и моя подробная библиография их.—Черты характера Лескова.—Журнал «Якорь» и его сотрудники.—Взгляд Лескова на женщин-писательниц; отношения к молодым писателям; преданность литературе; отношения других к нему. — Курьезный случай. — Практичность Лескова.

В моих литературных воспоминаниях и извлечениях из дневника, веденного мною, главным образом, с начала шестидесятых годов, то есть со времени моего приезда в Петербург и до высылки меня из него, особенно часто приходит мне на память одно из самых светлых, приятных имен — имя Лескова. С этим писателем я был связан впоследствии долгою дружбой. Он ценил мою глубокую любовь к литературе вообще и к нему в частности, всячески меня поддерживал, делился со мною своими переживаниями, тайнами своей прекрасной души, впечатлениями до последних мелочей. Громадное удовольствие доставлял он мне, читая свои неизданные, долженствующие увидеть свет, произведения. Вместе мы и обсуждали их, засиживаясь далеко за полночь в его или моей квартире. Николай Семенович читал мастерски, прямо на редкость, и часто казалось, что это читает не автор, а тот или другой из его героев, настолько тонко умел он передавать их речи. Такую способность, такое выразительное чтение проявлял, сколько я помню, один лишь Писемский, передававший разговор женских лиц настоящим бабьим голосом. Впрочем, вспоминается мне еще один такой удивительный чтец — англичанин Ральстон, большой друг России и всего русского, часто к нам наезжавший со своей далекой родины. Как-то раз я стал всух восхищаться чтением Лескова.

— А знаете ли, — сказал он мне, — ведь прежде я куда хуже читал... Улучшения и добился путем работы над этим, понимая, что добросовестность должна быть во всем, — а прежде всего в писании. Терпеть не могу небрежности. Готов на стену лезть, видя ее в других. С этой чертой тесно связано истинно художественное творчество; она должна быть свойственна самой богато одаренной натуре, а не то что дюжинной. Что может быть хуже «коскаконников» в литературе?

Добросовестность в писаниях Лескова доходила иногда до крайности: он перечеркивал и писал «по-иному», как сам он выражался, нередко целые страницы и мучил «печатников» бесконечными кор-

ректурами. Добросовестность его простиралась неуклонно по отношению и к другим, решительно ко всем, даже к врагам. Один критик порядком донимал его своими нападками, и тем не менее Николай Семенович при встрече с ним осыпал его похвалами за какой-то очерк этого критика, чем довел его до полного конфуза.

— Знаете ли вы, милейший мой, — как-то сказал мне Лесков, — отчего в моем рассказе «Юдоль» я так симпатизирую дворовой бабе Аграфене и тоже дворовому мужику Храпошке, который, по барской прихоти, должен был затравить ручного медведя? Оттого, что высшая добросовестность побуждает нас относиться с особенным сочувствием к крестьянам... Еще в мои детские годы я видел близко страдания злополучного мужика, и рано во мне начали роиться грезы об улучшении участи несчастливцев... Такое хорошее настроение во мне горячо поддерживал англичанин Шкотт, дальний родственник мой, у которого я служил до моего окончательного переселения в Петербург... Вам известно, конечно, что я три раза ездил «на чужбину», был во Франции, Германии, Австрии, в славянских землях — и всюду примечал я добросовестное отношение к своему делу, честное отношение к долгу. Да и у себя, в родном краю, где я изрядно постранствовал, заприметил я, что лишь там, где добросовестность процветала, жилось как будто сносно... Впрочем, что об этом толковать... Единение, помощь друг другу для самоусовершенствования — это ведь тоже относится к добросовестности... У меня рассказов на эту тему довольно... Только они — не глас ли вопиющего в пустыне?

Одну работу для Лескова удалось мне сделать добросовестно. Зато при подарке мне своей книги «Гора, рассказ из египетской жизни», Лесков сделал такую надпись: «Моему слишком снисходительному литературному другу и пособнику П. В. Быкову». А еще раньше он напечатал в газете целый столбец благодарственного мне адреса.

Признательность также была отличительной чертой характера Лескова и не являлась кратковременной; ее продолжительность даже удивляла всех, имевших дело с Николаем Семеновичем. Он отдаривал ее так же, как своей добротою, деликатностью, отзывчивостью. Необходимо добавить к этому его трогательную искренность и правду, ради которых Лесков нередко каялся и устно, и печатно в своих ошибках, промахах, честно отрекаясь от сказанного им когда-то, по опрометчивости или косности. Очень редко только отрекался Николай Семенович от своих симпатий, литературных в особенности. В этом отношении он был «дружининского пошиба». Дружинин лишь тогда отворачивался от своего приятеля, близкого человека,

когда тот был, так сказать, «поймал на месте преступления», когда в его бесчестии сомневаться было нельзя. Лесков шел еще дальше Дружинина: бывали случаи, когда он не в состоянии был отвернуться от своего короткого приятеля, не рвал с ним отношений и чувствовал к нему жалость. При мне он, можно сказать, «убивался», услыхав очень нелестные вещи о каком-нибудь своем друге. Слезы слышались в голосе Лескова, когда он обсуждал поступки человека, в котором приходилось ему разочаровываться.

Николай Семенович был непримиримым врагом лжи, фальши, лицемерия и со свойственной ему проницательностью умел распознавать их, какими бы масками и ширмами они ни прикрывались. Часто, пронизывая своим пытливым взором говорившего с ним, он словно читал в его мыслях и редко ошибался в своих приговорах и выводах. Один довольно известный писатель при встрече с Лесковым принялся расточать ему комплименты и похвалы. Николай Семенович не отводил от него глаз, упорно молчал, сухо простился с ним и на другой же день послал ему открытку, где кратко написал: «Умею и не разучусь различать лицемерие и фальшь от искренности. Покайтесь в вашем грехе... может, и невольном».

О своих друзьях, если с ними что-нибудь случалось недоброе, если они умирали, Николай Семенович не переставал горевать, по его любимому выражению — «убиваться». Он метался, не мог сидеть дома, убегал от людей за город, когда узнал о тяжелой болезни обожаемого им Льва Толстого. Горюя, плача об умершем друге Павле Александровиче Гайдебурове, основателе и редакторе «Недели», он в конце концов заболел, а поправившись, долго ходил «проведать» покойного на его могилу.

Многие находили, что у Лескова была какая-то суровость в душе, а между тем во всем существе его сквозила чувствительность, которая была вне всяких сомнений, хотя и проявлялась вполне своеобразно. Но ведь Николай Семенович был своеобразен до мозга костей, часто даже причудлив.

Не могу не припомнить еще одной из черт характера его: он был очень мнителен и суеверен. Написал как-то рождественский рассказ «Белый орел», прочел его мне и хотел в тот же день нести в ту редакцию, которая просила у него какого-нибудь рассказа, — и вдруг, после какой-то приметы, оставил его в столе надолго.

— За что это Александр Константинович стал меня недолюбливать? — пожаловался он мне однажды, говоря о Шеллере.

После долгих разуверений мне, наконец, удалось доказать Лескову, что он ошибается.

На него часто находили экстазы, при порыве отчаяния, раскаяния или умиления. Помню, как-то я вошел к нему совершенно нечаянно и в заветном уголке нашел Николая Семеновича на коленях перед его любимой религиозной картиной, висевшей над письменным столом. Он встал с колен, взор его туманился, руки слегка дрожали.

— В связи с некоторыми воспоминаниями на меня умопомрачение нашло совсем неожиданно, — точно извиняясь, сказал мне Николай Семенович.

Впервые увидел я Лескова в редакции «Политико-экономического указателя», издававшегося профессором Иваном Васильевичем Вернадским. Николай Семенович был здесь при одном из своих наездов в Петербург из Киева и доставил статейку «Об ищущих коммерческих мест в России», где он хотел уяснить для читающей массы «разумение жизни».

Я сидел в приемной как раз против двери редакторского кабинета. Из нее вышел среднего роста, плотного сложения, красивый молодой человек, лет около тридцати. Профессор познакомил нас. Я Лесков вперил в меня взгляд, слишком внимательный, от которого мне стало как-то не по себе. Но, в общем, новый мой знакомый производил впечатление обаятельное. Таким предстал предо мною Лесков. Мне было с высшей степени приятно выйти с ним вместе из редакции и вести беседу, в которой сказывалась его необычайная деловитость, серьезность не по возрасту.

— Сейчас, — между прочим поведал он мне, — я стремлюсь показать людям жизнь, какова она есть, а скоро выступлю и как «изящный словесник»... Увлекаюсь в свободные минуты польской литературой. Какие силы в ней есть! Например, Сигизмунд Качковский, Корженевский, Крашевский, про поэтов уж и не говорю... Эдакая красота!

С этого времени и началось мое короткое знакомство с Лесковым, с которым я стал видаться часто в редакциях разных изданий, иногда и у него дома, а по прошествии десятилетнего с лишком промежутка сделался усердным посетителем его милой, уютной, обаятельной квартирки на Фурштадтской улице.

Когда редактор «Русского Мира» Гиероглифов и злополучный его издатель Стелловский, подравшись, стали судом оспаривать друг у друга издательские права, действительный собственник журнала, зная хорошо, что такое судебная волокита, основал взамен «Русского Мира» новое издание, такой же еженедельник «Якорь» с приложением сатирического листка «Оса». Крестовский, оставшись

верен Стелловскому, сейчас же в редакции нового журнала сказал экспромт:

Гиероглифов в русском мире
Путей искать напрасно стал...
Зато шагнул Стелловский шире —
Вперед поплыл, на якорь стал.
Пусть волны злобствуют... Пустое, —
Коль якорь крепок, хоть куда...
Пусть только символом застоя
Не будет «Якорь» никогда.

Пожелание Крестовского сбылось. Новое детище Стелловского до последнего издыхания держалось в общем прогрессивного направления[80], хотя в «Якоре» и участвовали: Аверкиев, Аполлон Григорьев и Лесков, тогда «постепеновец», автор многих передовиц в обновленной «Северной Пчеле» Усова, делавший выпады по адресу учащейся молодежи, особенно в дни участившихся петербургских пожаров... Для их тушения он проектировал учредить «вольную пожарную команду» из интеллигентных лиц[81].

Нападки на молодежь не мешали Лескову быть большим поборником женского вопроса, живо сотувствовать малейшему проявлению женской самостоятельности. В пользу интеллигентных женщин-наборщиц он издал даже несколько своих рассказов и деятельно распространял эту книжку, так что женщинам-наборщицам, работавшим, главным образом, в типографии «Северной Пчелы», досталась некоторая сумма. Труженицы за это устроили ему овацию.

Херсонин, однако, порвав Лескова многие, знавшие молодого писателя, объясняли его крайним женолюбием. У него было много романов, и Николай Семенович имел большой успех у женщин. Но в отношениях своих к ним, к самым пламенным поклонницам, Лесков проявлял необыкновенное благородство, чужд был всякой пошлости; он любил женское общество, обаяние женщины, любил ее наблюдать, незаметно изучать ее психологию. На основании этих наблюдений он делал очень меткие характеристики современных ему писательниц со свойственным ему тонким юмором.

При мне спросили его мнение о Крестовском-псевдониме — Надежде Дмитриевне Хвощинской. «Прелестная, но неудовлетворенная со дней юности старушка... Неудовлетворенностью веет и от ее талантливых сочинений. Редко у кого из наших беллетристов в такой степени, как в произведениях Хвощинской, проступают и дают себя знать истинно женские помощи... Она очень умна, но влюблена, как институтка, во всех своих героев, даже порочных». Это мнение о забытой теперь писательнице Лесков составил себе еще в то время,

Авдотья Хвощинская еще не была автором «Большой Медведицы», «Первой борьбы» и других ее произведений семидесятых-восьмидесятых годов.

Большим талантом он считал и настоящую Крестовскую, Марию Всеволодовну. Про ее романы «Ранние грозы», «Сын» и «Артистка» говорил, что они написаны «молодой, лучшей кровью сердца, без тени фальши и рисовки. Своей жизнью и деятельностью, — добавлял Лесков, — она искупила грехи своего отца».

Зато на многих других наших писательниц он смотрел сверху вниз, обидно снисходительно. «Нарочито любострастными» называл он произведения покойной г-жи Мердер, уверял, что во время писания она пьет чашку за чашкой «польдекоковский шоколад» и душится начулями.

Николай Семенович был критиком строгим и особенно придирчивым по отношению слога, техники. «Нынешние беллетристы, даже из подающих большие надежды, — говорил он, — писать не умеют, не могут периода округлить, как следует, пишут вещи интересные и на каждом шагу спотыкаются, как старая, хромоногая лошаденка».

Молодой, безвременно умерший беллетрист Виктор Иванович Бибиков, которому Лесков симпатизировал и которого считал многообещающим, дал ему для просмотра книжку со своей повестью «Друзья-приятели». Лесков держал ее неделю, но, тем не менее, всю исчеркал замечаниями на полях и на вклеенных листочках. Бибиков восторгался этими замечаниями, умилялся таким вниманием старого, заслуженного мастера слова к молодому писателю и, получив книжку от Лескова, прибежал ко мне поделиться своей радостью.

— Вот, нарочно взгляните, — говорил Виктор Иванович, — какие удивительно правдивые, тонкие замечания. Каждое продумано, в каждом виден огромный художник, писатель, горячо любящий литературу, радетель ее интересов и человек, искренно уважающий труд писателя.

Да, Лесков действительно был предан литературе, и его неутомимая придирчивость к талантливым представителям «изящной словесности» была вполне понятна.

— Помилуйте, — говорил он однажды, сидя у меня, — напишут совсем прекрасную вещь — и вдруг сморозят в ней что-нибудь такое-такое, от чего она вдруг потеряет всю прелесть... И это не от невежества или безграмотности, а от небрежности, неряшливости, от поспешности и нежелания лишний раз подумать о написанном, перечитать его... В одном рассказе недавно попались мне такие строки: «Подымались сумерки. На их фоне молочный цвет вишен сливался с белизною бесчисленных кистей акации»... А ведь вишни-то

никогда не цветут одновременно с белой акацией. Из лености автор не хотел подумать об этой несуразности. И вышло красивое поэтическое вранье.

Лесков не на шутку рассердился, прочитав в рассказе одного очень известного писателя о торжественном праздничном «перезвоне», сменившем последний, то-есть звон погребальный, с трезвоном.

— Смешать заупокойный перезвон с ликующим трезвоном, — горячился Николай Семенович, — это неприличие, неуважение к печатному слову! Вот что значит писать спустя рукава, в дежабилье... У иностранцев этого нет. Зарубежный писатель корректен, точен, аккуратен.

В конце концов Николай Семенович разразился довольно сердитой полемической заметкой по адресу писателя, просто описавшегося.

Так ревниво относился Николай Семенович к родному слову, к писательству. Сам он беспощадно перемарывал черновики своих произведений, а позднее свои ранние вещи переделывал до неузнаваемости. И многие рассказы его стали от этого ярче, стильнее. Письмо давалось Лескову легко, к творчеству его никогда не оскудевало. Любую тему он разрабатывал быстро, свободно и умел сделать много из ничего.

Редактор одного еженедельника настоятельно просил у Лескова статейки. Он прислал ему слезное письмо по этому поводу. Как раз в это время я зашел к Николаю Семеновичу.

— О чем бы мне написать этому доброму человеку? — спрашивал меня Лесков.

— Взгляните на счастье в окошко, — шутя посоветовал я. — Авось, тема найдется.

Он взглянул в окно, выходившее на улицу. По тротуару шли двое нищих детей. Лесков на минуту призадумался, что-то вспомнил; дал мне какую-то книгу в руки, извинился и попросил «немного поскучать» в соседней комнате. Прошло не больше двух часов, и Николай Семенович прочел мне тепло написанную статейку о нищих детях: «Могильные крысы. К одному из социальных вопросов». Редактор поместил ее в юбилейном номере своей газеты, но, прежде чем она появилась в печати, Лесков измучил его корректурами, которые он черкал, пестрил без сострадания своими поправками.

У меня до сих пор хранится такая же неумолимая корректура статьи «Литературная бабушка (Татьяна Петровна Пассек)», написанная также в один из моих визитов к Лескову очень быстро и с большим подъемом и широким размахом, свойственным Николаю Семеновичу.

В первой половине своей литературной деятельности, в шестидесятых годах, Лесков недолго сидел над рукописью, но тогда он редко делал существенные поправки в корректуре. Но зато потом, помещая свои вещи в какой-нибудь сборник своих беллетристических произведений, он правил их немилосердно. Незадолго до смерти подарил он мне на память начатую им переделку своего большого рассказа «Житие одной бабы», напечатанного в «Библиотеке для Чтения» и названного им по-новому: «Амур в лапоточках. Опыт крестьянского романа».

Еще в начале своей литературной деятельности Лесков усердно наполнял усовскую «Северную Пчелу» и передовицами, и рассказами, и всевозможными заметками. Здесь я часто встречался с ним, но когда «Северная Пчела» приказала долго жить, и Лесков уехал в Москву и еще куда-то, а потом и мне пришлось по так называемым «независящим обстоятельствам» покинуть Петербург, — мое знакомство с ним прекратилось, тем более, что Лесков около того времени уже успел напечатать свое политическое исповедание, из которого было видно, что Лесков «в политике верит Монтескьё, что «всякое правительство вопиет своему народу»...

Вернувшись в Петербург, я застал Лескова иным... Он уже был автором «Мелочей архиерейской жизни», до известной степени протестантом, вечно воевавшим с цензурой и тянувшим к прогрессивным партиям. Я встречал его окруженным поклонниками и поклонницами и у него не бывал.

Обо мне он забыл основательно, и мне не хотелось ему навязываться со своим знакомством. Но случилось так, что мои библиографические изыскания пригодились ему, и я волей-неволей стал частым посетителем маленькой квартиры Лескова на Фурштадтской улице, а затем и он начал учащать ко мне и сдружился с моей семьей. У меня прочел он целый ряд своих рассказов, заимствованных из «Пролога», из восточных легенд; нередко случалось, выводил меня на прогулку, пенял мне, что я заработался.

Когда Лесков задумал издание собрания своих сочинений, не помню кто сказал ему, что у меня на карточки занесено все им написанное и помещенное в разных журналах и газетах.

«Меня уверили, — писал мне своим крупным, оригинальным подчерком Лесков, — будто в числе прочих писателей в вашем литературном архиве значится и мое имя и полный список всего, мною напечатанного. Правда ли это? Если правда, то вы окажете мне истинно товарищескую услугу, поделившись со мною вашим списком. Не откажите открыткой уведомить меня — мне ли зайти к вам, или

вы меня посетите, и вообще — приемлема ли моя просьба? Нетерпеливо ждать буду интересного свидания, при котором надеюсь выразить вам крайнее удивление кропотливым трудам вашим и сказать много благожеланий».

Со своими карточками я на другой же день по получении записки от Лескова отправился к нему, и с этого момента знакомство наше возобновилось.

С течением времени оно перешло в самые дружеские отношения. Много хороших дней провели мы вместе, деля и горе, и радости. На Фурштадтской Николай Семенович угас, можно сказать преждевременно, хирея с каждым годом. Сильно постарел он, разумеется, телом, а не духом, который жив был в нем до последнего рокового часа.

Собрание сочинений своих Лесков выпустил под моей редакцией, положившись на мой выбор, скажу искренно, довольно строгий. За мою «товарищескую помощь» он выразил мне благодарность печатно, а устно вспоминал об этом постоянно, при всяком случае, а иногда и без всякого повода.

Какой-то статье моей не посчастливилось: я не мог ее пристроить нигде. Совершенно случайно узнав об этом, Лесков попросил у меня ее для прочтения. Каково же было мое удивление, когда через несколько дней Лесков прислал мне номер газеты, где эта статья красовалась в фельетоне! Присыл Николая Семеновича сопровождался довольно нежным посланием. Рассыпанные в нем по моему адресу комплименты решительно смущали меня.

Да, Лесков умел быть благодарным за малейшую услугу, ему сделанную. Это было отличительной чертой его характера, так же, как и отсутствие в нем злопамятности. А между тем редкого из писателей так травили, как Лескова, его литературные собратья... Даже такие, которые ради выгод перебегали из одного литературного лагеря в другой. Близорукие, они видели в романе «Некуда» политический памфлет, — не более, — не замечая в нем размашистой кисти бесспорно даровитого художника, каким был Лесков [65].

С одним из таких близоруких случился даже смешной анекдот. В довольно большой компании в одном кабачке присутствовал и Лесков. Субъект, поносивший литературную деятельность его, слегка подпив, сказал Лескову:

— За ваши «Мелочи архиерейской жизни», Николай Семенович, вам можно многое простить, но только не романы «Некуда» и «Марево», где вы так ожесточенно нападаете на учащуюся молодежь и прочее.

— Помилосердствуйте, — возопил Лесков, добродушно улыбаясь, — во-первых «Марево» — не мое, а Клюшникова, и во-вторых, в «Некуда» у меня нет ничего подобного, в чем вы меня обвиняете... Вы просто забыли содержание романа...

— Да я, признаться, и не читал его, — но ведь нет такого писателя из либерального лагеря, конечно, кто бы не бранил ваш роман, — цинично заметил противник Лескова. — А что касается «Марева», то, так как его ставят всегда рядом с «Некуда», я и думал, что это тоже ваше произведение...

Лесков только пожал плечами и обвел остальных присутствующих тем красноречивым взором своим, который хорошо был знаком всем, близко знавшим Лескова.

Николай Семенович отличался большой практичностью в обыденной жизни, не выходил никогда из бюджета; все у него было рассчитано, подведено «под ранжир», распределено — и время, и деньги. В промежутках между серьезными работами он писал разные заметки для газет: для «Нового Времени», «Новостей», «Петербургской Газеты», печатая их, большей частью, анонимно. Писал он о разных сортах часов, до которых был большой охотник, о случаях ясновидения, религиозных обрядах, уличных происшествиях, чертах сектантства, о всяких житейских вопросах и мелочах.

Как-то пришлось к слову спросить у Николая Семеновича, отчего он не щадит себя и более половины своего досуга тратит на писание этих заметок. Лесков улыбнулся и ответил:

— От житейской мудрости... попишу с недельку в одной и другой газете — смотришь, квартира и оплачена. Еще недельку займешься мелочами — оплачен и стол. А удвоишь старание — успеешь и в запасный капитал отложить кое-что... Да что вы хитрите, спрашиваете, когда сами в «Стрекозе» и «Осколках» изощряетесь в стихах и прозе?.. И, конечно, не ради славы, не всурьез, — сказал он мне.

О своих мелких заметках Лесков скоро забывал и не на шутку удивился, когда я как-то показал ему мои карточки с длинным списком его заметок. Зато рассказы свои он все помнил и дорожил ими.

— Не хвастаясь, скажу, — говорил он мне не раз, — что у меня не найдется ни одного, даже самого маленького рассказа, написанного зря, наобум. Со временем я перечищу все мои очерки, арабески и издам в дополнительных томах собрания моих сочинений.

Он все откладывал этот замысел, потому что «чистка» отнимала у него много времени. Целые десятки строк зачеркивал он и вновь писал их, исправляя язык, слог, придирчиво относясь к старой редакции рассказа.

У него был напечатан набросок в «Северной Пчеле» Усова — «Ум свое, а чорт свое». Переделывая его, он, что называется, камня на камне не оставил и все-таки остался недоволен. Когда я очень похвалил рассказ в переделанном виде, он покачал головою, сделал шеей обычное движение (оно было похоже на то, как будто ему мешали туго накрахмаленные воротнички) и сказал, не без досады:

— Не улещайте меня. Написано правдиво, несухо, но меня, автора, в рассказе не видно... А в других вещах меня узнаете сразу, в каждой строчке.

Раздосадованный неудачей, он намеревался уничтожить этот рассказ, но, по моей усиленной просьбе, сохранил его, а спустя несколько времени подарил мне.

Под диктовку Николая Семеновича я записал его curriculum vitae, довольно большого размера. Внимательно прочитав написанное, он отдал мне, но вскоре потребовал обратно для исправления. Исправление это страшно затянулось, и, в конце концов, он не вернул мне продиктованное, а взамен написал собственной рукой страниц сорок — не более, карандашом приписав внизу листа: «Этого вполне достаточно. Остальное в ваших наблюдениях и в моих сочинениях... и в снисхождении к ним».

XX

Сотрудники журналов «Якорь» и «Оса».—Глеб Успенский.—Его первое выступление в «Зрителе» и дальнейшее его творчество.

В состав редакции журнала «Якорь» вошли: Всеволод Крестовский, Михайловский [66] и целый ряд молодых прозаиков и поэтов.

Среди последних выделяется Николай Николаевич Страннолюбский, родной брат небезызвестного математика, безвременно угасший, прекрасно владевший стихом, юморист от природы.

Под пару ему был поэт Григорий Александрович Немиров, товарищ Николая Константиновича Михайловского. Сперва он увлекался естествознанием, издавал популярные брошюры, а затем сделался обличительным поэтом. Это был веселый малый, отличный товарищ, человек неглупый, но большой чувственник, сводивший всякий разговор на эротические темы, смаковавший их. После продолжительного перерыва своей литературной деятельности он в конце семидесятых годов появился в «Стрекозе», наводнив ее гривуазными стишками, которые подписывал псевдонимами: «Сентиментальный юморист», «Шаловливый поэт» и другими. Специализировался он на воспевании женских прелестей и любовных моментов и больше ничего знал

не хотел. С упоением, достойным лучшей участи, он много лет насиловал свое дарование и наконец бросил стихи и очутился историком петербургской биржи. Это был очень любопытный тип, стоивший наблюдения и изучения. Человек с большой эрудицией, прекрасно знавший языки. Немиров мог быть отличным газетным работником, но разменялся на мелочи, амурные мелочи. Однажды я попросил его написать мне что-нибудь в альбом. Немиров быстро сочинил экспромт. Стихотворение вышло прекрасное. Мне запомнилось, к сожалению, только его начало:

Святое, великое слово — свобода,
Им полон и держится видимый мир,
Полна им незримая даже природа...
Свобода — единственный вечный кумир.

Спустя несколько времени мне захотелось кому-то из знакомых показать это стихотворение. Я развернул альбом и был прямо поражен. Листок из альбома с этим стихотворением был вынут и заменен следующим стихотворением:

Пашу, Маню, Наташу и Грушу
Сердце сразу любить захотело...
Изучаю серьезно их душу,
Но гораздо серьезней — их тело...

Не без досады спросил я у Немирова, зачем он сделал этот подмен.

— Те стихи, что я написал вам раньше, — ответил Немиров, — показались мне какими-то чужими, деланными. А то, что я написал вам после, — мой настоящий жанр, характеризующий автора... — Он говорил это вполне серьезно, убежденно. — Когда я уничтожил первые стихи, — добавил он, — у меня точно гора с плеч свалилась. Не сердитесь. Я ведь хочу быть самим собою.

Главарем «Якоря» и «Осы», юмористического листка, к нему тяготевшего, был его собственник — Николай Иванович Шульгин, купивший «Якорь» у Стелловского за бесценок. Труженик, человек не без знаний, одно время изучавший русское сектантство, издавший труды. Шульгин был форменным неудачником в литературе. Писал он повести, рецензии, публицистические статьи, политические статьи, перевел комедию Бомарше «Свадьба Фигаро» и мог по заказу написать о чем угодно. Но эта способность не выдвинула его. Он писал так будто по принуждению, словно из-под палки работал даже в своем «Якоре», от которого ожидал многого, и из которого ничего не вышло.

Не протянув и года, Шульгин продал свой «Якорь» Благосветлову, который превратил его в «Дело», оставив Шульгина ответственным

редактором [67]. В этом «звании» он пробыл около двенадцати лет, перетащив в «Дело» и своего приятеля Александра Константиновича Шеллера, бывшего своего помощника по изданию «Якоря», где Шеллер печатал, между прочим, напряженнейшие «гражданские» стихотворения под псевдонимом Льва Звёнкова и письма из Франции.

Шульгин, как вол, работал в новосозданном органе Благосветлова и, будучи тихого, незлобливого характера, кротко переносил вспышки издателя и фактического редактора. Всякую литературную полезность Благосветлов имел нехорошую привычку третировать и делал это подчас очень некрасиво. Так поступал он и со смиреннейшим Николаем Ивановичем.

— Побойтесь бога, какую вы здесь ерунду напяли! — багровый от гнева, кричал однажды он в моем присутствии, обращаясь к Шульгину и скомкав корректурный лист политической хроники.

В кабинете Благосветлова в это время сидел и Шеллер.

— Вы еще и не такие любезности услышите здесь, — сказал последний громко, обращаясь ко мне.

Спокойный тон Шеллера подействовал на Благосветлова, и он, что называется, осел, поспешно выйдя из комнаты...

Раньше этого, когда мне пришлось быть изгнанником, Шеллер, на вопрос мой о Шульгине, отвечал мне, между прочим, в письме:

> Шульгина тошнит в бурсацком «Деле»
> От гнуснейшей Благосветлова сноровки:
> Шульгина он держит в черном теле,
> Вьет задаром из него веревки.

Шеллер терпеть не мог Благосветлова за его грубость и несдержанность и не спускал ему ничего; и, несмотря на всю свою корректность и воспитанность, сам грубил ему.

— Меня не могут оскорбить дикие выражения завзятого бурсака, — кричал он ему однажды.

— А вы-то где воспитание получили? — огрызнулся Благосветлов. — В «Буффо»?.. Там, я думаю, научились словцам, похуже бурсацких.

Надо сказать, что Шеллер одно время довольно часто посещал это тогдашнее увеселительное «заведение», ради наблюдения нравов, и Благосветлов вечно его корил «Буффом», «распутством», в особенности, когда Шульгин и Шеллер ушли из «Дела», приобретя у Доната Андреевича Карл-Карловского «Живописное Обозрение» [68].

В этом журнале Шульгин вел, главным образом, хозяйственную часть, а Шеллер почти всецело завладел литературной и художе-

ственной. Шульгин очень легко поддавался чужому влиянию. В «Якоре» им вертели самые молодые и недалекие сотрудники, в «Деле» он был послушным рабом Благосветлова, а в «Живописном Обозрении» действовал по указке Шеллера, при чем последний умел иногда оставаться в стороне.

Один маленький литератор принес рассказ Шульгину. Тот пробежал его тут же при авторе и вернул ему рукопись. Литератор огорчился и рассказал о своей неудаче кому-то из приятелей, и тот посоветовал ему отнести рассказ к Шеллеру, ни слова не говоря о том, что рассказ отвергнут Шульгиным. Литератор послушался совета, и рассказ был напечатан в ближайшем номере. Как только рассказ вышел, Шеллер отправился к Шульгину и выразил удивление, почему этот рассказ попал в печать без ведома его, Шеллера.

«Впрочем, это не беда, — добавил он. — вещь бесспорно маленькая». И Шульгин остался в твердой уверенности, что это он сам одобрил рассказ, и радовался, что его выбор был удачен.

Много лет спустя, уже по смерти Шульгина, Шеллер, смеясь, передал мне, как он подшутил над Николаем Ивановичем, как тот был забывчив и рассеян. Его мягкость и доброта, полная незлобливость невольно влекли к нему всякого. Но было в нем что-то и неприятное: с одной стороны — угловатость, однобокость, с другой — покорная забитость, приниженность. Глядя на него внимательно, подмечая какую-то ненужную суетливость в этом как будто растерянном человеке, казалось, он скрывает какую-то заветную тайну, его притягивающую, и каждый миг страшится, чтобы ее не раскрыли... А такая тайна у него была... Об этом знали его близкие...

В «Якоре» Шульгина в середине шестидесятых годов подвизался и Виктор Петрович Острогорский, тогда молодой педагог, еще совсем неизвестный на том поприще, на котором он потом прославился, но уже замеченный писатель, как автор комедии «Липочка», напечатанной во «Времени» братьев Достоевских. В литературных кружках о ней говорили, как о вещи выдающейся, очень литературной, написанной с хорошим знанием жизни и людей, и женской психологии в особенности. Успех драматурга предсказывали ему многие. Но оказалось, что предсказания эти были напрасны. В «Якоре» Острогорский напечатал две драматические вещицы: «На одних сенях» и «Первый шаг»; в них, кроме литературности, ровно ничего не было, выдающегося, и никто не обратил на них внимания. Острогорский был очень самолюбив и сообразителен и драму бросил, стал писать критические статьи и воспитательные очерки, а позднее был и прекрасным редактором журнала «Детское Чтение».

С Острогорским я познакомился еще тогда, когда он писал лирические стихи и замышлял свою «Линочку». Маленький, юркий, с испорченным глазом, с манерой говорить в приподнятом тоне, с умением овладевать вниманием собеседника или кучки слушателей, перед которой он нередко являлся горячим проповедником, — Виктор Петрович не нравился многим своим желанием порисоваться, пошуметь и некоторой неискренностью, известной долей лукавства. Черты эти замечались у него, конечно, не теми, кто привык поверхностно судить о человеке и не раздумывал над словами: «быть» и «казаться», кто принимал все на веру, а теми, кто старался поглубже заглянуть в душу человеческую и красивыми фразами не давал себя увлечь...

Мне лично Виктор Петрович представлялся натурой увлекающейся, честной, но вместе с тем человеком с практическим умом, наметившим себе план действий, нередко большим дипломатом. Встречались мы с ним очень часто и в театре, и в кабачках, куда заглядывать он был большой охотник, и в разных кружках, и, наконец, с глазу на глаз. Видел я его и в вицмундире, с орденком на шее, когда он повторял своим собутыльникам, тоже в вицмундирах и со знаками отличия, или буфетчику прошеную мораль: «Бойся бога, повинуйся царю и уважай начальников», или пословицу — «Всяк сверчок знай свой шесток», видел и в партикулярном платье, когда орденок снимался предусмотрительно и прятался в боковой карман, чтобы в случае надобности вынуть этот орденок оттуда и снова надеть на шею... Такое «переодевание» было при мне раза три.

Острогорский, опрокидывая рюмку за рюмкой, довольно громко говорил пившим с ним вицмундирам что-то такое о горячих головах, желающих перевернуть все вверх дном, и так далее. В эту минуту он заприметил входящих в зал ресторанчика друзей и, не говоря ни слова вицмундирам, прошел в другую комнату, и вновь появился в зале без орденка, в поспешности сняв и галстук. Бросив вицмундирную компанию, он присоединился к вошедшим друзьям и собратьям по перу. Поэт Владимир Сергеевич Лихачев, хорошо знавший странности Острогорского, больной юморист, острослов, смекнув «переодеванье» Виктора Петровича, стал добродушно выпучивать его.

— Что у вас теперь ближе всего к сердцу? — спрашивал он Острогорского.

— И теперь и всегда — честная молодежь, — с пафосом своим хрипловатым голосом ответил Виктор Петрович.

— Не притворяйтесь — женщина... И даже назову ее имя: Анна.

И затем Лихачев с театральным жестом продекламировал:

Будь, Виктор, искренним хоть день
И не держи друзей в тумане:
Вынь поскорее и надень,
Что в боковом твоем кармане.

Острогорский стал горячо доказывать, что у нас в такие времена ношение ордена является часто необходимостью, что его орденок иногда даже спасал его, когда он бывал в слишком веселом настроении. А вообще он презирает эти побрякушки, потому что он русский, а не француз. Только французы, даже из радикалов, имеют большую слабость к орденам и прочее. На это Лихачев ответил ему новым экспромптом:

Да, ты русак, а не француз, —
Француз не пьет до неприличья, —
Но все ж порвать не можешь уз
Со знаками отличья.

Лихачев во многих случаях был прямолинеен и нередко говорил людям правду в глаза, маскируя шуткой свою откровенность. Острогорскому она очень не нравилась в Лихачеве, и он его не долюбливал настолько же, насколько правдивый Лихачов терпеть не мог хамелеонства в жизни и литературе, а равно и фразерства. А Острогорский был не без греха по этой части, и «громкие слова» нравились ему.

Когда он редактировал «Детское Чтение», при мне кто-то принес ему рассказ. По уходе автора он стал читать его вслух. Рассказ был написан мило, от него веяло простотой и задушевностью. Я высказал Виктору Петровичу это мое мнение о рассказе.

— Да, это правда, — сказал он, — но мне рассказ не совсем нравится. Буду дружески откровенен: здесь мало восклицательных знаков, и поэтому рассказ не может «ударить по сердцам с неведомою силой». А для детей, для юношества это бывает необходимо. У меня был ученик, очень любивший историю. Когда я ему рассказывал о каком-нибудь событии и передавал повествование просто, ограничиваясь фактами, он слушал довольно внимательно, но совершенно равнодушно. Я это заметил и начал рассказывать исторические факты в повышенном тоне, рисовать картину, освещая ее бенгальским огнем. Мой ученик тогда загорался, захлебывался от восторга, заинтересовывался еще более. И невольно я прибегал к этому приему на моих уроках не только по отношению к моему ученику, любителю истории, но и к другим... Да, надо уметь говорить с детьми, с молодежью, с народом, заставить их восчувствовать, — поучал меня, воодушевляясь, Виктор Петрович. Он говорил это искренно.

— Я готов без церемонии выезжать на фразах, лишь бы это подействовало. — сказал он мне как-то в минуту откровенности.

Припоминается мне кстати такой случай. В одном кружке молодежи было несколько писателей, в числе их Плещеев и Острогорский. Последний проповедывал с обычным пафосом о единении, о дружном натиске в борьбе со злом. Молодежь рукоплескала ему, целовалась с ним. После этого несколько курсисток попросили Плещеева что-нибудь прочесть. Алексей Николаевич, точно по какому-то наитию, продекламировал:

На сердце злоба накипела
От заученных этих фраз.
Слова, слова, а чуть до дела —
Ни сил, ни воли нету в нас...
Да, фразы нам всего дороже,
Нас убаюкали они...
Когда ж сознаем мы, о боже,
Что нет спасенья в болтовне?..

Острогорский после этого вдруг насупился, стал как-то нервничать.

— Что с вами? — участливо спросил я его.

Он отвел меня в самый дальний угол.

— Странно, — сказал Виктор Петрович, — отчего это Плещеев после моей горячей беседы с молодежью выбрал именно это стихотворение?.. Не намек ли тут какой-нибудь? А меж тем Плещеева всегда симпатизировал мне, и я его люблю горячо... Он восстает против фраз, но ведь у него самого их немало во многих задушевных стихотворениях.

Случайно ли это было совпадение, или чуткий поэт, быть может, почувствовал некоторую фальшь в приемах Виктора Петровича, — не знаю. Но Острогорский, вскоре после этого встретясь со мной, еще раз завел речь о том, как ему понимать выбор Плещеева: умышленно ли он прочел стихи, направленные против фразерства «праздно болтающих», или просто Плещееву насучило декламировать свое знаменитое «Вперед без страха и сомненья», и он прочел первое, пришедшее на память стихотворение...

Припоминаю еще одну мою встречу с Виктором Петровичем. В качестве представителей литературы мы возлагали венок на гроб императора Александра III. Виктор Петрович был сосредоточен, торжественно настроен — и ордена своего не снимал. На обратном пути он успел заглянуть в первый попавшийся трактирчик и после пятой или шестой рюмочки ораторствовал перед буфетом:

— Мне все равно, что бы обо мне ни говорили — воскликнул он, — а я прямо скажу: я — монархист. Сейчас я с радостью по-

лекал вечер... Именно с радостью, с полным сознанием... Это скажу я всему миру.

Около него уже стояло несколько слушателей, и среди них один очень болтливый репортер.

— Вправо от вас, — шепнул я Виктору Петровичу, — стоит такой-то. Пойдемте, сядемте к столику, а еще лучше — двинемте домой, — предложил я ему.

Острогорский взглянул по указанному мною направлению и мгновенно смолк, отошел от стойки буфета и направился к выходу. Я провожал его домой. Почти полдороги он сидел хмурый и не проронил ни слова. Но затем накинулся на меня с упреком.

— Зачем вы не остановили меня, не удержали от манифестации. А еще приятель! — воскликнул он с раздражением. — Теперь мои недоброжелатели бог знает что будут говорить... Чего только я не наболтал!

— Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке, — шутливо ответил я ему.

— За кого же вы меня принимаете? Шовинист я, что ли? — горячился он не на шутку.

— За хорошего человека, во всяком случае... Но порою вы все-таки для меня загадка, — откровенно отвечал я.

Дня через два-три после этого я снова встретил его. Он оратор-ствовал среди молодежи, но, завидев меня, как-то осекся и нахмурился. Улучив удобную минуту, он увел меня в другую комнату и сказал:

— Надеюсь, что вы не думаете обо мне дурно.. и не рассказали о происшедшем в ресторанчике.

Я успокоил его. Но мне стало жаль этого человека, бесспорно сделавшего много добра, деятеля честного... и так ревниво берегущего свою репутацию, свою популярность среди молодежи.

— Не тревожьтесь, — сказал я Виктору Петровичу, — я не из болтливых. И вы напрасно придаете такое значение вашим словам, быть может, в то время совершенно искренним, сказанным от души...

Виктор Петрович с досадой отошел от меня и довольно долго старался избегать меня. На одном литературном празднике он встретил меня снова с распростертыми объятиями, но, ради правды, я должен сказать, что я не поверил их искренности: он еще был совершенно трезв, и я не мог не заметить его старания быть настороже...

В «Якоре» Шульгина несколько раз встречал я Глеба Ивановича Успенского. В то время он уже сотрудничал в благосветловском «Русском Слове» и в «Современнике», пользовался известностью и,

лей-неволей, сделался виновником помрачения славы своего двоюродного брата, Николая Васильевича Успенского. Глеб Иванович имел заработок не плохой, но постоянно был без денег, и в такие мелкие издания, как «Якорь», где он появлялся под псевдонимами, шел исключительно для того, чтобы перехватить какую-нибудь мелочь при расстройстве финансов.

Он был тогда молод и красив, но еще моложе и красивее в смысле свежести я помню его в те дни, когда он очень скромно и неуверенно приносил маленькие очерки в журнальчик «Зритель», издававшийся в Москве, куда меня занесла случайность, и где я познакомился с разной литературной молодежью и со стариками: Матвеем Ивановичем Бибиковым, художником и беллетристом, Ильей Андреевичем Осиповским, автором охотничьих рассказов и первым издателем собрания сочинений Тургенева, с князем Кугушевым, автором романов: «Ныль» и «Корнет Отлетаев», теперь совершенно забытых, а тогда небезызвестных, с историком и публицистом В. Н. Лешковым. Все эти лица сотрудничали в «Зрителе». Издавал его фельетонист Колошин, писавший, под псевдонимом «Не Я», бойкие обозрения московской жизни в «Развлечении» Федора Богдановича Миллера и сбежавший от него с целью основания своего собственного журнала.

Это тот самый Колошин, которого увековечил поэт и критик Борис Николаевич Алмазов в очень известном в свое время стихотворении «Похороны «Русской Речи» (журнала, издававшегося гарнитой романисткой Евгенией Тур, матерью беллетриста Салиаса).

Описывая лиц, провожавших будто бы прах безвременно угасшего журнала, скончавшегося от равнодушия публики, поэт говорит об издателе «Зрителя»:

«Господа, ей-богу, тошен
Жребий родины моей»,—
Прогремел Сергей Колошин,
Катилина наших дней...

Разумеется, Катилиной, даже в крошечной миниатюре, Колошин не был, а был большим барином, запутавшимся в долгах и, ради воображаемого поправления средств, задумавшим издание журнала, конкурировавшего с «Развлечением». Когда-то сотрудник погодинского «Москвитянина», автор комедии «Светские жены», отставной гусар или улан, прокутивший состояние, Сергей Павлович Колошин пользовался репутацией гурмана и бонвивана, как фельетонист, появлялся всюду и везде, подымался на аэростате, нередко устраивал скандалы в ресторанах и плохо платил, а то и совсем не платил

той сотрудницам, которые, тем не менее, очень ему симпатизировали. Он имел обширные литературные знакомства и умел привлечь к участию в «Зрителе» целый ряд талантливых писателей, и старых и молодых, и, если бы у него были хоть какие-нибудь средства, он придал бы «Зрителю» интерес. Но их у него не было, и он с трудом вел журнал и не довел его до конца. На какие-то крохи уехал он за границу, жил несколько лет в Италии, посылал оттуда корреспонденции и свои «Зигзаги и арабески русского туриста» в разные газеты, кое-как перебивался и в Италии же умер.

Я вспомнил об этом, во всяком случае, интересном человеке, потому что у него было литературное чутье, и он обладал способностью отличать таланты от посредственностей. Раз мне удалось застать его одного в редакции «Зрителя». Он весь сосредоточился на чтении какой-то рукописи, как живо помню, довольно неряшливо написанной. Я сидел и ждал, пока он дочитывал листки рукописи.

— Какая прекрасная вещь!.. Какая бездна наблюдательности, умения схватить на лету явление или образ, и какие художественные штрихи разбросаны всюду, даже там, где чувствуется небрежность письма, работа наскоро! Хотите, познакомлю вас с новым талантом?.. Хотите, прочту? Это очень маленький очерк.

И он прочел очень хорошо. Это был «Гость» — очерк Глеба Успенского. После чтения Колошин еще довольно долго говорил с восторгом об этой вещице и показал свою чуткость.

— Помните мое слово, — сказал он мне при прощанье, — этот новый писатель не пропадет, скоро выдвинется и, как мне кажется, будет знаменитостью... Помните мое слово... Ведь то, что я прочел вам, — это безделушка, а между тем такая тонкая вещь! Она производит впечатление... и хочется еще раз прочесть ее; а ведь это — признак талантливости.

Колошин был, таким образом, первым провозвестником будущей славы Успенского. Пустой был человек Колошин, как это представлялось с первого взгляда, а вот показал себя в данном случае человеком со вкусом, с пониманием и с чуткою душою.

Я встречался с Глебом Ивановичем потом в «Русском Слове», где Благосветлов «прилагал свою руку» к некоторым его вещам, тем в особенности, где Успенский выводил типы из народа, рисовал явления из жизни деревни. Но Григорий Евлампиевич все-таки не портил их так, как портили его друзья, с Михайловским во главе. Скажу это не обинуясь, и об этом поговорю подробно в тех главах моих воспоминаний, которые будут посвящены семидесятым-восьмидесятым годам исключительно.

Выдвинувшись в первое время своей литературной деятельности как рассказчик, Глеб Успенский оставил позади себя другого даровитого рассказчика, В. А. Слепцова, так как область его юмора оказалась несравненно шире отмежеванной себе последним писателем-народником. Она захватывала и народ, и разночинцев, по преимуществу мелкое чиновничество, и мещанство, провинциальное и столичное, захватывала глубже, полнее. Будучи юмористом, но сумев, однако, заметить более резкие, характерные черты и психические особенности, воспитанные средой и бытом, служившими ему материалом, Успенский сразу показал себя настоящим художником. Сближение с некоторыми из сотрудников «Отечественных Записок» имело сильное влияние и на развитие самого писателя, и на развитие и направление его дарования. Оставив в начале семидесятых годов первоначальную манеру свою, он шире раздвинул рамки своих этюдов, поселился в деревне на довольно продолжительное время, при непрестанном непосредственном общении с народом, жил его радостями, его горестями, его интересами и задался целью написать целый ряд этнографических исследований в беллетристической форме. В них ярко сказалось серьезное изучение жителя деревни в его психических и культурных характерных чертах и вынесенное писателем ясное, определенное мировоззрение, которое он и излагал с большим талантом в последние годы своей деятельности. Справедливо было где-то замечено, что между его юмористическими очерками и рассказами начального периода его литературных работ и последующими произведениями с публицистическим оттенком — целая пропасть. Сохранив резкие черты таланта своего, он внес в него богатство знания, сделал его содержательнее, вследствие обобщающей мысли, всегда присутствовавшей в произведениях писателя в зрелую эпоху его жизни. Юмористом он остался, но прибегал к юмору лишь тогда, когда ему надобно было изобразить тип, характер, нарисовать сценку или передать характерный анекдот.

Но вопросы колонизации, переселенческий и другие, статистика и политическая экономия поглощали все внимание Успенского-публициста, и только в редких случаях в нем прорывался истинный художник, с его мастерскими изображениями типов и чрезвычайно оригинальным юмором. Этот своеобразный юмор Успенского не имеет себе подобного ни в нашей литературе, ни в западно-европейской. Это не гоголевский смех, сквозь который виден мир слезы, и не смех ради смеха, не смех, отзывающий сатирою. Это, по чьему-то определению, — смех трагический, нарастающий в каждом произведении Успенского постепенно. Вы сперва не можете не улыбнуться,

затем уже не в состоянии удержаться от хохота. — и в этот самый момент перед вами встает драма, а то и настоящая трагедия, и на глазах ваших навертываются искренние слезы, слезы глубокой скорби.

Такова сила дарования Успенского, которое очень часто ему приходилось насиловать, благодаря нелепым требованиям господ редакторов, преследовавших свои узкие цели, желавших устами этого огромного художника выразить свои узкие тенденции и утопии. Процесс литературного творчества Успенского, по свидетельству одного из ближе знавших его людей, «осложнялся невозможностью, в силу внешних условий, выразить свои идеи, так ярко создать такую яркую, живую картину, как это подсказывала ему его душевная потребность. Он не мог свободно развернуть творческую силу своего таланта; он должен был втискивать свою картину в темную рамку, затушевывать яркие краски, умерять лирические порывы, он должен был искалечивать свое собственное детище. Трудно, не будучи писателем, представить всю муку, всю горечь такой литературной работы. А Глебу Ивановичу Успенскому приходилось именно так работать. С горечью показывал он одному своему приятелю корректурные листы, на которых были редакторские указания, что надо уничтожить или переделать.

Успенский был невероятно добрый человек, добрый до безалаберности: душа у него была открытая, всепрощающая, мягкая и органически связывалась с творчеством писателя, который своей светлой личностью отразился весь целиком в своих произведениях. В них ярко отобразились муки его больного духа, терзания наболевшей совести, тягучая, не унимавшаяся боль сердца. В них были так живы скорбные впечатления его детства и юности, о которых он сам вспоминает в своей автобиографии. «Вся моя личная жизнь, — рассказывает Успенский, — вся обстановка моей личной жизни до двадцати лет обрекала меня на полное затмение ума, полную погибель, глубочайшую дикость понятий, неразвитость и вообще отдаляла от жизни белого света на неизмеримое расстояние... Не помню, чтобы до двадцати лет сердце у меня было когда-нибудь на месте. Вот почему, когда настал 1861 год, «взять с собою в дальнюю дорогу» что-нибудь из моего прошлого было решительно невозможно — ровно ничего, ни капельки; напротив, для того, чтобы жить хоть как-нибудь, надобно было непременно до последней капли забыть все это прошлое, истребить в себе все вкоренные им качества. Нужно было еще перетерпеть все то разорение невольной неправды, среди которой пришлось жить мне годы детские и юношеские; надо было потратить

годы на эти непрестанные похороны людей, среди которых я вырос, которые исчезали со свету безропотно, как погибающие среди чужих, что никто не может им помочь и спасти, что не те времена. Самая безропотность погибавших людей, явное сознание, что все, что в них есть и чем они живы, — неправда и ложь, и беспомощность их, — уже одно это прямо убождало людей моего возраста и обстановки жизни, что из прошлого нельзя, и не надо и невозможно оставить в себе даже самого малейшего воспоминания».

Успенский являлся порой строгим исследователем, нередко пользовавшимся услугами науки ради выяснения мысли или точного определения какого-либо положения. И это было уже не этнографией, не беллетристикой, а чем-то совершенно особенным, более широким, всеобъемлющим.

По мнению некоторых критиков, внешние приемы и стиль Глеба Ивановича отчасти напоминали Щедрина, его манеру письма, сама же суть его произведений говорила о полной самостоятельности его, самобытности, благодаря чему он стоит совершенно особняком в нашей литературе. Он мало-по-малу превратился в талантливейшего художника-социолога. Однако теория Успенского относительно строя жизни, зависимости человека от тех или других материальных условий жизни, зависимости его от «ржаного поля», проще сказать — от земли, относительно проявления силы человека под влиянием этих и иных условий — довольно туманна, запутанна, и разобраться в ней читателю непривычному очень нелегко. Ясность мысли Успенского затемняется щедринскими формами выражения, метафоричностью, обилием образов и картин и недостатком полной последовательности и логики. По теории Успенского, ржаное поле обязывает человека теми или другими свойствами труда; вместе с тем оно велит ему, основываясь на самых свойствах этого труда, устроить и свою семейную и общественную жизнь. «Все сосредоточено у ржаного поля и колоса, то-есть в крестьянстве, — говорит Успенский, — но, восхищаясь этими формами благообразия, говорю, что они сделаны не волею и мыслью благообразно живущего человека, а волею ржаного поля, колоса, и что поэтому прочность этих благообразных форм жизни точь-в-точь такая же, как прочность узоров, которые мороз делает на стекле: по прихоти мороза они возникают, по прихоти его они так удивительно хороши, но и исчезают они тогда, когда этого пожелает мороз... Узоры эти вместе с тем и вековечны, потому что вековечны и прихоти мороза... Так же вечно и ржаное поле, вековечны его приказания человеку, вековечны и формы жизни, основанные на этих приказаниях»...

Выражаясь проще, теория Успенского такова: человек находится в полной и безусловной зависимости от природы, окружающей среды, форм быта и жизни, выработанных и унаследованных историческим путем. В нашей жизни только формы, выработанные таким образом, отличаются пестротою и богатством, а не другие. Упомянутая зависимость человека от формы жизни ставит последнего в правильные, вполне определенные отношения и к нему самому, и к окружающему миру. — он «благообразен». Однако ни в одной этой зависимости определенно всего человека. Без культуры, без сознания собственного «я», человек «благообразен» лишь в такой степени, в какой он выражает собою формы жизни, а сам по себе он еще ничто, и у него нет ничего за душой своего. Но душу, сознание человека, делает одна культура, от которой и зависит всецело его благообразие, даже и в том случае, если он не находится в зависимости от формы жизни.

Теория эта далеко не новая. Взгляд Успенского совершенно сходится со взглядом Бокля на зависимость людей от окружающего мира... Ее, вернее всего, он усвоил от постоянного общения с кружком тех писателей, которые были его друзьями и, на основании этой дружбы, самым губительным образом влияли на направление прекрасного, чуткого художника. Под их давлением или, правильнее говоря, под сильным давлением одного из этих писателей, известного философа, социолога и публициста, этот художник до мозга костей мало-по-малу превратился в публициста-художника, запутавшегося в своих теориях и чисто художественные задачи ставившего на самом последнем плане[*]. Выиграла ли от такого превращения родная словесность, — это большой вопрос, над которым не раз должен будет задуматься будущий беспристрастный историк русской литературы...

XXI

Историк И. И. Костомаров в год его первых выступлений на лекциях в университете.—Мое знакомство с ним.—Продиктованная им биография.

Какие быстрые шаги вперед сделала русская историческая наука. Называют такие имена, как Арсеньев, Грановский, Погодин, Устрялов, Шубинский, Соловьев, Забелин, Богданович, Семевский, Мордовцев и другие. Тут передо мною невольно развертывается длинный свиток личных воспоминаний. Я проходил мимо университета с Алексеем Егоровичем Разиным и попал как раз на овацию, которую давали профессору студенты чуть ли не всех факультетов. Человек с бодрой выправкой, лет сорока с лишком, с улыбкой и замеша-

тельством на бледном лице, словно от мух, отбивался от рьяных своих почитателей.

— Умоляю вас, друзья, не шумите... Не обращайте на себя внимания альгвазилов и шпионов, следящих очень усердно за нами, — говорил он вполголоса. — Вы хорошо знаете... мое положение с тех пор, как в прошлом году я начал читать вам лекции...

Профессору было чего страшиться: только год назад (в 1859 году) он получил кафедру истории, и популярность его росла не по дням, а по часам. Не надо забывать, что начинались шестидесятые годы, пора умственного пробуждения русского общества, протесты против общественного строя чувствовались каждым чутким человеком, и тайная пропаганда и возмущение против крепостного права давно, еще со времени крымской кампании, висели в воздухе и только ждали удобного момента, чтобы разразиться. Лучшие умы, казалось, забили тревогу, будя не только интеллигентные слои, но и народ.

Мы поровнялись со входом в университет, и спутник мой, Разин, сказал:

— Сию минуту я представлю вас этому удивительному дентолю; он и историограф-философ, преподающий свой предмет по совершенно своеобразному методу, и беллетрист, и поэт, словом, это Костомаров, вызывающий и удивление, и умиление, человек науки, влюбленный в нее.

— Николай Иваныч, — произнес Разин, представляя меня ему, — вот молодой писатель, преданный науке, желающий изучать историю литературы и библиографию и уже собирающий для этого материалы: назначьте ему свидание у вас!

Получив согласие, мы поспешили удалиться.

Спустя несколько дней Костомаров принял меня очень любезно, поговорил о Юге и стал диктовать мне:

«Я родился 4 мая 1817 года в слободе Юрасовке, Воронежской губернии, в семье помещика Струйского, женатого на своей крепостной; таким образом, я происхожу из народа. Моя мать, малороссиянка, была отдана отцом моим в московский пансион, получила прекрасное воспитание, и затем, когда мне уже исполнилось одиннадцать лет, отец женился на ней; таким образом, я родился до брака».

Далее из продиктованного Костомаровым я узнал, что его отец был большой поклонник французской литературы восемнадцатого века, идеи которой он старался привить даже своим дворовым крестьянам и сыну, но сам при этом отличался немалой жестокостью. Костомаров, однако, умолчал о том, что крестьяне, вследствие жесто-

кости помещика, убили его. Мать отдала, по смерти мужа, сына своего в воронежский пансион, откуда его скоро исключили за шалости. Затем он поступил в Воронежскую гимназию, которую блестяще окончил в 1833 году, и где стал в первые же годы обнаруживать редкие способности, пристрастился к чтению и проявил признаки литературного дарования. Учителя дали Костомарову прозвище «enfant miraculeux». Из гимназии Николай Иванович поступил в Харьковский университет, на историко-филологический факультет, много работал, изучал то классическую древность, русскую старину, то французскую литературу, знатоком которой остался навсегда.

Задумав, что в военной службе он может почерпнуть сильно интересовавшие его исторические сведения, он сделался военным и производил изыскания в качестве юнкера драгунского полка. Но военная служба стала ему претить, и он бросил ее, из Клинбургского полка перебравшись в Острогожский архив, где окончательно отдался истории и этнографии. Его исторические вкусы определились окончательно. Выдержав магистерский экзамен по русской истории, он представил диссертацию «О значении уний в западной России», но, по доносу Устрялова, все экземпляры книги были сожжены, и Костомарову позволено было написать другую диссертацию — о народной поэзии. К этому времени относятся его работы, драмы, беллетристика и стихи, написанные по-малорусски, большей частью под псевдонимом «Иеремии Галки».

В 1845 году он был учителем в городе Ровно, Волынской губернии, а в следующем 1846 году избран был на кафедру русской истории в Киевском университете. Здесь он основал Кирилло-Мефодиевское братство, преследовавшее идею народного освобождения и просвещения. На Костомарова был сделан донос, он был арестован и в 1847 году заключен на год в Петропавловскую крепость, после чего был «переведен на службу» в Саратов. Здесь его положение значительно улучшилось, он приобрел популярность, начал писать историю Богдана Хмельницкого, «Очерк домашней жизни и нравов великорусского народа», «Стеньку Разина», трагедию «Кремуций Корд». При новом царе Костомаров получил амнистию, но печатать свои произведения ему дозволено было с ограничениями, и запрещено было служить по ученой части.

С 1856 года печатная литературная деятельность его становится наиболее плодовитой, не прерывавшейся до конца дней историка. Главнейшие труды его были: «Бунт Стеньки Разина», «Северно-русские народоправства», «Смутное время московского государства в начале XVII века», «Последние годы Речи Посполитой», «Русские».

«Мазе́па», «Русская история в жизнеописаниях», «Костюшко и революция 1794 года», «Личность Ивана Васильевича Грозного», «Гетманство Юрия Хмельницкого» и прочее. В 1859 году он получил кафедру русской истории в Петербургском университете.

Как любил Костомаров свой предмет, видно из следующего рассказа. Когда в 1846 году его арестовали, то в Новгороде, через который шла дорога, он увидел остатки древностей и пришел в такой энтузиазм, что слишком шумно стал выражать восторг по поводу новгородской свободы, так что сопровождавшие его жандармы начали сдерживать историка и благодушно говорили, как бы ему не пришлось ехать назад. Только это и остановило Костомарова. Из всего встреченного на пути он извлекал характерные черты, рисующие время и положение родной старины. Года через три он написал монографию «О горе-злосчастье», — редкий образчик исследования старой русской поэзии.

Костомаров, прежде всего, талантливейший историк с такой особенностью дарования, которой никто до него не обнаружил в литературе, и являлся живой связью русской литературы с украинской, будучи уже в то время убежденным защитником последней от шовинистической вражды и нетерпимости. Он обладал огромным личным опытом в области этнографии. Он — историограф, единственный в своем роде, увлекательный лектор, создавший себе обширную аудиторию, превратившуюся само собой как бы в публичные чтения. Его преимущественно влекло к изображению народного элемента в истории, к объяснению народного исторического права. Племенные факторы истории, значение народа, как основы движения, стремление проникнуть в нужды и характер народных масс, о которых прежние историки и не помышляли, — вот что в особенности занимало Костомарова.

Пламенный проповедник полной свободы мысли и научного воспитания народа в широком смысле этого понятия, он признавал классические идеи и практическое проведение их в жизнь, и тут был до некоторой степени романтиком. Это освещало ему народную судьбу, мировоззрение массы, рисовало во всей яркости картины стародавнего быта и нравов. Историку, художнику слова необходима фантазия, и Костомаров всегда стремился приурочить ее к своему данному творчеству, где писатель выбирал исторические темы самого разностороннего содержания. Он был большой искусник собирать летописи, предания старины, реставрировать древний быт.

Костомаров мог похвалиться большой впечатлительностью, стремлением к воссозданию былого в его живых чертах и своей необыкно-

ленной памятью. Оттого его исторические рассказы носят характер истинно художественный. Когда он читал лекции о летописях, они были полны самых ярких красок, и стародавняя старина оживала перед слушателями во всей своей архаической прелести. Большинство критиков сравнивало нашего историка с французским — с Огюстином Тьерри.

Еще в семидесятых годах Костомаров вынес тяжкую болезнь, организм его был уже подточен, и 7 апреля 1885 года он скончался, оставив по себе память своеобразного популяризатора исторических знаний и плодотворных идей.

XXII

В. А. Слепцов.—Его характеристика.

В 1928 году минуло пятьдесят лет со дня смерти Василия Алексеевича Слепцова, но память о нем жила и живет у всех, знавших этого глубоко симпатичного человека, мягкого и отзывчивого, писателя с большим талантом, игравшего далеко не последнюю роль в общественном и литературном движении шестидесятых годов.

Это была яркая художественная натура, с артистическими наклонностями, в которой было очень сильно чувство красоты, находившееся в редкой гармонии с внешностью обладателя такой натуры. Высокий, стройный брюнет, с роскошной густой бородою и такой же шевелюрой, с необыкновенно тонкими, правильными чертами лица, он производил и эффект, и обаятельное впечатление своей удивительной красотой. По портретам нельзя себе и представить, насколько был красив Слепцов, одна улыбка которого, открывавшая его зубы, розовые и поразительно белые, располагала к нему с первого взгляда. А когда он начинал говорить, обнаруживая чудный, задушевный голос, остроумие и недюжинный, полный большой, чисто русской сметки, ум, талантливость, он прямо покорял сердца, не только женщин, льнувших к нему, добивавшихся его дружбы, взаимности, но и мужчин, невольно симпатизировавших ему.

Однажды он сидел в камере мирового судьи в Москве, наблюдал и записывал разные сцены, которые всегда очень интересовали его и служили ему благодарным материалом для его мелких вещей. В камере было всего человек десять. И вдруг через какой-нибудь час в ней яблоку негде было упасть. Женщины, кажется, узнали, что в камере сидит «красавец неописанный», и переполнили камеру. А при выходе из нее дамы без церемонии стали знакомиться с ним, прося

его прочесть то, что он записывал. Это факт, а не вымысел. К слову сказать, красотой своей, своим обаянием он никогда не злоупотреблял.

Когда Слепцов вышел от мирового судьи на улицу, у него оказалось несколько новых знакомых из серого люда, с которым он сам свел знакомство и которым, очевидно, понравился и обращеньем, и умеиьем поддерживать разговор, интересный для рабочего, простого человека, и самой манерой беседы, которая была пересыпана шутками, прибаутками, заставлявшими иногда смеяться до упаду. Слепцов был огромный мастер рассказывать, особенно из жизни народа. Он умел сближаться с мужиком, с мещанином, с военным людом низшего ранга и, с самых молодых лет знакомясь с народом, знал хорошо и быт его, и многие черты, ярко характеризующие его душевный мир. Когда еще он был в университете, он, под влиянием знакомства с Далем и небезызвестным профессором Модестом Яковлевичем Киттары, стал делать наблюдения над народом и собирать его песни, которые он пел превосходно, сам себе аккомпанируя на балалайке и реже на гитаре. На манер Якушкина, он пешком путешествовал по России, заглядывал в самые глухие уголки Поволожья, а раньше, также с котомкой за плечами и по тому же способу пешего хождения, был во Владимире на Клязьме, где, по поручению Русского географического общества, описывал фабрики и строившуюся тогда железную дорогу. И в эти путешествия, и в разные другие поездки по России Слепцовым собран был богатейший материал, частью послуживший ему и для его интересных очерков и писем, каковы, например, «Ночлег», «Мертвое тело», «Скиньи», «Питомка», «Рыболовы», «На постоялом дворе», «Заметки пешехода», «Письма об Останкове» и прочие.

Огромное знание народной жизни обнаружил он во всех своих произведениях, которые интересны далеко не одними внешними чертами и удивительным юмором, но и теми нитями, какие бывают иногда очень ловко скрыты в них. Возьмите, например, его рассказ «Ночлег», в котором описывается, между прочим, как один мужик для того, чтобы его поскорее высекли, дал взятку писарю волостного правления. За смехотворной стороной в этом рассказе можно заметить прекрасное изображение мужицкой психологии, да и многое другое. Или, например, в «Сценах на железной дороге» важно не то, что здесь представлено со всей реальностью глупое и смешное положение мужиков, не находящих себе места, и старушки, которую солдат запугивает с тем, чтобы быстро выпроводить ее из вагона, — а тот вывод, который делает очень тонко, ничего не подчеркивая, умный писатель. А вывод этот такой: что как в чиновных, так и в бесчино-

ных людях мало развиты гуманность и чувство чести. Пассажиры третьего класса заплатили поровну за свои места и, кажется, должны бы пользоваться одинаковыми правами, а на деле-то этого и нет: здесь та же эксплоатация, что и в жизни. Обвинение некоторыми критиками Слепцова, будто бы он изображает одни отрицательные стороны мужика: его глупость, темноту, грубость и прочее и берет только смешные стороны с целью расшевелить читателя во что бы то ни стало, — также лишено всякого основания. То, что Слепцов описывает, конечно, просто, мелко, обыденно; правда и то, что, по его наблюдениям, изображаемая им народная среда представляется далеко не в розовом свете, и в ней нет ни удивительных характеров, ни величавых фигур, но глубоко симпатичные черты народа Слепцов рисует с правдивостью и точностью беллетриста-этнографа. Так, в рассказе «Питомка», где мужик подвозит злополучную мать, ищущую своего ребенка, находящегося где-то в «нишпонках», перед читателем встают, как живые, печальный образ молчаливо скорбящей и любящей матери и замечательно набросанная фигура мужика, делающего доброе дело без всяких филантропических замашек, обнаруживающего доброту души и человечность.

Если по мелким рассказам Слепцова, которые печатались в «Московском Вестнике», «Русской Речи», «Северной Пчеле», «Отечественных Записках», «Современнике», «Искре», «Заноэе», «Ремесленной Газете» и других изданиях, его и можно было бы считать принадлежащим к этнографической литературной школе, то лишь по внешним чертам этих произведений: по точности изображения быта и лиц, почти фотографической.

Но у него есть внутреннее содержание, ставящее его неизмеримо выше Николая Успенского и других представителей названной школы шестидесятых-семидесятых годов. В своей же повести «Трудное время» он уже не ограничивается разрозненными, как будто случайными, на лету схваченными наблюдениями над действительностью, но уже делает попытку, и притом чрезвычайно успешную, осветить ряд наблюдений своих, несравненно более цельных, одной общей тенденцией, придающей им огромное значение и смысл. Послереформенное время, породившее и хороших, честных работников, и жалких либералов, кукольных героев, изображено Слепцовым с огромным талантом и глубокой правдою. В этой повести виден не только даровитый художник, но и мыслящий, продумавший многие вопросы, писатель. «Трудное время» показывает вполне осязательно, как далеко ушел Слепцов от школы чистых этнографов, поставивших себе задачей точность и правдивость своих наблюдений. Жизнь настоящая,

освещенная умело и правильно, брызжет из названного произведения: талант не рутинный, а своеобразный, приближающийся к таланту старых мастеров слова, чувствуется в нем.

Сленцов послужил и женскому делу, будучи другом женской эмансипации, но эта деятельность имеет несравненно меньшее значение, чем его заслуги литературы, в которой он оставил заметный след.

XXIII

Редкая скромность.—К биографии Н. Д. Хвощинской-Завадской.—Автор «Русской свадьбы» П. И. Сухонин, драматург и художник-беллетрист.—Штрихи из истории русской цензуры.—Трагик В. А. Каратыгин в воспоминаниях П. И. Сухонина.

Для большого, задуманного мною еще на школьной скамье, труда «Русские писательницы второй половины XIX века» мне понадобились сведения о Надежде Дмитриевне Хвощинской, писавшей под псевдонимом «В. Крестовский». Как-то в начале своей литературной карьеры, после ряда очень удачных дебютов в печати, Надежда Дмитриевна на короткое время приехала в Петербург. Здесь она познакомилась и подружилась с известным журналистом Владимиром Рафаиловичем Зотовым. Эта дружба их перешла в теплое чувство, и Зотов предпринял однажды путешествие в Рязань, где Надежда Дмитриевна жила со своими родителями и двумя сестрами: Софьей и Прасковьей (тоже писательницами). Прогостив у них несколько времени, Владимир Рафаилович вернулся в Петербург и стал деятельно переписываться со всеми тремя сестрами. Мне это было хорошо известно, и я отправился к нему с целью добыть от него необходимые сведения об авторе романа «Большая Медведица». Совсем вниматель присущим прежним, старым писателям, со свойственной ему доброжелательностью, отнесся Владимир Рафаилович к моим изысканиям. Между прочим, подарил он мне несколько писем Софьи Дмитриевны (писавшей под именем Ив. Весеньева и умершей в 1865 году, тридцати пяти лет от роду) и Прасковьи Дмитриевны (псевдоним—С. Земарова), в котором много сообщалось об их старшей сестре, отыскал добрый десяток своих рецензий о произведениях Н. Д. Хвощинской, но мало мог сообщить мне о том, что наиболее интересовало меня.

Я узнал только, что Хвощинские жили довольно замкнуто, рано привыкли к труженической жизни и отличались необычайной скромностью.

— Если вы хотите знать подробности о воспитании Надежды Дмитриевны, о впечатлениях ее молодых лет и прочем, напишите ей самой, но не ссылайтесь на меня... Что было, то быльем поросло. Давно уже прекратилась наша переписка, и мы идем разными дорогами... Напишите о ваших библиографических работах, и, быть может, Надежда Дмитриевна сообщит вам что-нибудь. В полном успехе я сильно сомневаюсь: она забронировала себя псевдонимом и ревниво оберегает свою частную жизнь, терпеть не может любопытствующих, желающих проникнуть далее ее произведений...

Эти слова Зотова расхолодили меня, и я оставил свое покушение до более удобного времени. Спустя лет пять мне казалось, что такое время наступило, и я написал Надежде Дмитриевне длинное убедительное письмо. Ответ получился неблагоприятный для меня. Я невольно припомнил слова Зотова: что он был глубоко прав относительно удивительной скромности и замкнутости писательницы, — об этом очень красноречиво говорило ее ответное письмо ко мне. В нем много интересных черточек, могущих служить для будущей биографии автора «Больной Медведицы», а потому мне хочется сказать известным это довольно характерное письмо. Вот оно:

«М. Г. Петр Васильевич!

«Ваше письмо не нашло меня в Рязани, и вот почему. Вы несколько лишних дней, может быть, ждали моего ответа, который желали иметь как можно скорее; возвратясь вчера, я пишу Вам сегодня.

«Прежде всего благодарю Вас за внимание к моим работам, выразившееся в желании издать мою биографию. Еще более благодарю за то, что Вы обратились ко мне самой, и — скажу откровенно — за самый тон Вашего письма. Оно убеждает меня, что Вы меня поймете, дает мне возможность высказаться прямо, — что я и делаю.

«Начать с того, что «история» с моей биографией поднимается мною не в первый раз. Несколько лет назад какой-то князь Николай Голицын прислал мне нечто в роде повестки в третьем лице, чтобы я сейчас доставила ему мой портрет и всякия сведения. Натурально, я ответила ему, что так не делается; что, не зная меня, он даже не может быть уверен, не ошибается ли, обращаясь ко мне: но, хотя бы и не ошибался, ясно, что если писатель избирает псевдоним, то, стало быть, не желает, чтобы о нем говорили, а когда этот писатель — женщина, то тем более: тут дело простой учтивости. Не знаю, чем это кончилось и печатал ли что-нибудь князь Голицын.

«Тогда же, или ранее, — не помню, — г. Владимир Зотов, несмотря на мое положительное запрещение, напечатал в своей «Иллюстриро-

ванной Газете» некролог моей сестры и тут же проговорился обо мне. Это меня возмутило, как поступок знакомого, очень хорошо знавшего мои мнения и, главное, знавшего волю моей сестры, которая не хотела, чтобы о ней говорили печатно. Этой волей недорожили даже незнакомые: один из них, покойный Писарев, готовил статью о трудах моей сестры — и не напечатал ее. Наконец, в прошлом году г. Н. Гербель напечатал обо мне в своей «Хрестоматии для всех». Когда-то давно я встречала г. Гербеля, но, конечно, не давала ему о себе никаких сведений и не знаю, от кого он их получил. Его статья — довольно странная (даже удивительно, как мог попасть в «Хрестоматию» писатель, о котором так относится его биограф!), но я не имела никакой охоты ни разбирать, ни опровергать того, что там сказано. Я очень довольна тем, что эти господа, не спросясь разоблачающие псевдонимы, на-днях получили прекрасный урок в № 5 «Отечественных Записок» («Записки профана», стр. 148 [20].

«Неприкосновенность псевдонима есть едва ли не элементарнейшее понятие добропорядочного литературного общества. Это вполне естественно в виду тех многоразличных причин, которые могут побудить писателя подписывать статьи вымышленным именем. Это короткое и дорогое правило можно заучить наизусть.

После печатных нескромностей гг. Зотова и Гербеля Вы имели, конечно, не справедливое, но хоть какое-нибудь основание поступить, тоже не спросясь. Но Вы этого не сделали, и, повторяю, вот почему Ваше обращение ко мне, простое, прямое и деликатное, какое и должно быть между людьми одинаковых занятий и, надеюсь, одинаковых мыслей, вызывает благодарность и откровенность. Вы уж поняли, что я не хочу моей биографии. Выслушайте — почему.

«Я придаю так мало значения моим работам, что меня удивляет, как могут ими заниматься иначе, нежели в смысле легкого развлечения. Может быть, они интересны, может быть, они порядочно написаны, — я в этом не судья, — но ни то, ни другое еще ничего не значит. Беллетристические произведения только при необходимом условии сильного таланта вносят что-нибудь дельное в общественное сознание, развивают общество, подвигают его вперед и, следовательно, дают своим авторам право остаться в истории литературы. В этом я давно и глубоко убеждена. Кроме того, я знаю, что владею очень верным критическим взглядом, следовательно, не могу признать за собою ни сильного таланта, ни влияния на общество, ни права печатать свою биографию.

«Если даже не все писатели, подписывающие свое имя (повторяю: по моему неизменному убеждению), имеют право на биографии,

то псевдонимы вовсе не имеют никаких биографий. Что такое псевдоним? Никто. Так что же говорить о нем? Это логика. О «псевдониме» можно писать только после его смерти, и то, если он позволит это заранее.

«Моя сестра не позволила, я — тоже. Причины никто не имеет права спрашивать. Если бы моя сестра желала, а я, зная ее желание, нашла должным и возможным, я, конечно, лучше всякого постороннего написала бы ее биографию. Но мы оба — псевдонимы, и нас никто не может касаться.

«И даже биографии не-псевдонимов, — как могут составлять их посторонние, не знакомые близко, интимно, не знавшие подробностей жизни, характера, мнений, обстановки и прочее? Вы сказали, что за границей эти сведения дает всякий. Не думаю, чтобы это делалось полно и подробно; иначе все художники, ученые, литераторы, стало быть, сами составляют свои биографии? Без сомнения, нет. Следовательно, биографии все-таки остаются поверны и неполны. Их могут писать только друзья, семья, а посторонние (наоборот) — дополнять их в подробностях, которых друзья или семья не были свидетелями.

«Вот мое мнение, более — мое убеждение. Надеюсь, что после моей откровенности Вы достаточно верите, что я очень отличаю Ваше обращение ко мне от прошлых «историй», которые я Вам рассказала. В доказательство вот Вам сведения, не для биографии, которую прошу Вас не составлять и не печатать, а для Вас самих, для знакомства со мной: никакого родственника Крестовского у меня нет и не было. Мой псевдоним взят случайно, когда я и понятия не имела ни о каких Крестовских, а еще менее о Всеволоде Крестовском, сотруднике «Русского Вестника», журнала, где по особенному случаю были две мои вещи («В ожидании лучшего» и «Стоячая вода», 1860—1862 гг.), но где никогда больше моей строки не будет. Убедительно прошу Вас не смешивать меня с Всеволодом Крестовским. Я подписываюсь — «В. Крестовский», просто, и если нисколько не озабочиваюсь, когда кто-нибудь мое приписывает другим, то сильно стою, чтобы мне не приписывали чужого, — ради самой себя и моих убеждений. «На перепутье» — мое.

«В каком иллюстрированном журнале вы намерены печатать Ваши труды?

«Позвольте надеяться, что мой положительный отказ не доставит Вам большого неудовольствия, тем более потому, что этот случай оставил мне удовольствие нашего заочного знакомства; я держусь мнения, что люди вообще лучше писателей и псевдонимов.

«Примите уверение в моем истинном уважении».

Писано это в мае 1875 года. Свиделся я с Надеждой Дмитриевной впервые около 1880 года, в Петербурге, куда писательница приезжала на время. Мы встретились на литературном вечере, на котором читал Тургенев. Я напомнил ей о ее письме, о ее горестном для меня отказе.

— Я не изменила совершенно моему убеждению, но оно сильно поколеблено во мне... в вашу пользу. Приходите, если это не поздно для вас, — и я дам вам ответ на те вопросы, которые так вас интересуют насчет моей скромной особы.

К этому времени у меня уже было достаточно много данных о талантливой романистке, но приглашением ее я воспользовался, и из оживленных, живых бесед ее узнал больше, чем я ожидал, и еще больше убедился в редкой скромности писательницы, приобретшей уже тогда достаточно громкое имя.

Пример подобной же скромности представлял собою драматург и беллетрист Н. Н. Сухонин, автор «Русской свадьбы в исходе XVI века», обошедшей все сцены в России, с которым я был знаком давно, еще с семидесятых годов, но дружески сблизился с ним случайно в Харькове, уже в восьмидесятые годы, приехав туда на время.

Лет шестьдесят пять назад в Петербурге начал выходить еженедельный журнал «Якорь», о котором я уж не раз упоминал. Сперва в нем подвизались: беллетрист-народник Левитов, известный педагог Николай Федорович Бунаков, философ Николай Николаевич Страхов и сам его редактор, даровитый и мало оцененный у нас критик и поэт, переводчик Шекспира и Байрона, Аполлон Александрович Григорьев. Затем редакция Григорьева расстроилась... едва ли не оттого, что у критика наступил критический момент — период сильного запоя. Журнал стал чахнуть и, как шутили в шестидесятых годах, «был бесподписностью томим», в силу чего и должен был кануть в Лету. Но тут подоспела компания молодых литераторов с Николаем Ивановичем Шульгиным, впоследствии ответственным редактором благосветловского «Дела», а позднее редактором-издателем «Живописного Обозрения». В числе сотрудников «Якоря» и его юмористического листка «Осы» были: И. А. Гайдебуров, Н. К. Михайловский, Глеб Успенский, А. К. Шеллер-Михайлов и другие.

В этой редакции я и познакомился впервые с Петром Петровичем Сухониным. Низенький, с маленькими бачками, уже пожилой, он отличался чрезвычайной подвижностью, остроумием и удивительной мягкостью. Он слегка картавил и не выговаривал некоторых букв и выходили у него курьезные слова: «мойчайник», «пайка», «начайник», которые означали: «молчальник», «палка», «начальник». Любил

бы очень хохотать и порою производил впечатление легкомысленного человека. А между тем он обладал большими познаниями, был очень начитан, превосходно знал русскую старину, которую любил до обожания. Красноречивым доказательством этого была его остроумная, имевшая огромный успех, пьеса «Русская свадьба в нехоте XVI века». Она обошла, кроме столичных, все провинциальные сцены и держалась в репертуаре едва ли не целое пятидесятилетие. Быт своих предков изображен в ней ярко, выпукло, правдиво.

В «Якоре» он помещал статьи по финансовым вопросам, толково разъяснял публике значение нашей денежной единицы, причины возникновения у нас мелкой серебряной монеты и так далее, и на ряду с этим веселые бойкие сцены из народного быта и прочее. Мне понравился один рассказ в «Якоре», подписанный именем А. Шардина.

— Кто это? — спросил я как-то Петра Петровича.

— Ха-ха-ха! — ответил он мне. — Это один майчик... Он пишет под мужскими, женскими и средними псевдонимами, а под своим именем написал «Русскую свадьбу». Ха-ха-ха! Хотите, я вам прочту забавную вещицу водевильного характера об одном из фаворитов матушки Екатерины? Будете смеяться. Ха-ха-ха!

Мы отправились в Ново-Палкинский трактир, и за московской селянкой Петр Петрович быстро прочел рассказ «Шишозник в лесах», действительно интересный и игривый, немного похожий на легенду. При тогдашних цензурных условиях напечатать его было, конечно, немыслимо. Тем не менее Петр Петрович послал его, кроме «Якоря», в три редакции, но гг. редакторы только глаза таращили на автора, с хохотом возвращали им рукопись. Так она и осталась непапечатанной, и куда делась — не знаю.

Лет через пять после моих встреч с Сухониным мне нужно было уехать на юг. Я случайно задержался в Харькове и, будучи страстным театралом в те времена, посещал аккуратно каждый день театр, которого собственником и антрепренером был Николай Николаевич Дюков. Будучи с ним хорошо знаком, я, как «свой человек», присутствовал и на репетициях. И вот как-то шла репетиция «Русской свадьбы». Смотрю, в партере, в первом ряду, сидит маленький, пожилой, немного горбатенький человечек, тихонько смеется, жестикулирует очень нервно и все что-то объясняет сидящему с ним рядом Дюкову. А тот по временам срывается быстро с места, идет за кулисы и снова возвращается.

— Боже мой, — говорю я своему соседу, сотруднику «Харьковских Ведомостей», — да ведь после Дюкова сам наш милый автор «Русской свадьбы»!

Он, как я потом узнал, приезжал сюда по делам, делая какую-то ревизию, будучи в то время начальником акцизного табачного отделения при Министерстве финансов.

— А это вот кто признал меня!—обернувшись стремительно в мою сторону, воскликнул Сухонин. — Радуюсь, радуюсь нечаянной встрече... Пересаживайтесь к нам. Есть о чем поговорить! Ха-ха-ха! Вот встреча!..

Кончилась репетиция, и из театра мы вышли вместе и отправились в Астраханскую гостиницу, где Сухонин остановился. Здесь, сияя от удовольствия, Петр Петрович объяснил мне, что дня два тому назад узнал о его приезде Дюков и ради этого ставит «Русскую свадьбу», сделал ему визит и очаровал своей любезностью. Дюков умел быть любезным, — замечу я мимоходом.

— Признал мои заслуги российскому театру... Каким ни на есть сочинителем считает меня! Ха-ха-ха! — балагурил Петр Петрович.

— Еще бы! Да за одну эту пьесу, знакомую всей России, выдержавшую столько представлений, следует перед вами распахаться! — шутливо и горячо сказал я Петру Петровичу.

В то время Сухонин участвовал в «Деле» Благосветлова и деятельно сотрудничал в «Биржевых Ведомостях» К. В. Трубникова, с которым вечно воевал. Он поспешил мне передать несколько последних литературных новостей, но мало-по-малу, рассказывая о цензурных затруднениях, углубился в воспоминания о тягостях цензуры прежней, о знаменитом Елагине, который усердствовал не по разуму и вреду, выражаясь словами героя некрасовской сатиры «Газетная», «открывал канцер», то-есть вредную мысль... Не обошлось и без анекдотов, о том, например, как Елагин расчеркнулся «печатать дозволяется» под обыкновенным транспарантом с толстыми линейками, или как два цензора ненавидели друг друга, и если один пропускал самую невинную вещь, другой немедленно доносил на врага, а сам, если к нему попадала рукопись, не одобренная его неприятелем, спешил подмахнуть ее, даже не читая. И этим пользовались бедные, гонимые литераторы.

С цензором Бессомыкиным Сухонин раз проделал такую штуку. Он переписал три стихотворения: «Анчар» — Пушкина, «Нет, я не Байрон» — Лермонтова и «Ожесточенный» — Полежаева, подписал под каждым из них свою фамилию и понес к цензору. Косо поглядывая на автора, цензор спросил:

— Вы, кажется, прежде романы писали?.. Обличали чиновников и спекуляторов... (У Сухонина, действительно, был роман под заглавием «Спекуляторы», наделавший ему не мало хлопот.) Зачем

же вы еще и за стихи взялись?.. У вас талантик есть, стихи ваши гладки, но что у вас за сюжеты!.. «Ангар» — это положительный кукиш на чью-то власть, «Ожесточенный» тоже заключает в себе какую-то потайную мысль, а «Нет, я не Байрон» — прямо неприличное самовосхваление... Ставите себя на одну доску со стихотворцем, пользовавшимся недоброй славой!

И цензор зачеркнул все три пьесы красными чернилами. Впоследствии Петр Петрович показывал мне эти три листика со стихами Пушкина, Полежаева и Лермонтова с запретительной подписью цензора.

Сухонин рассказывал превосходно. Мастерство рассказа отражалось в его мелких очерках, которые куда выше его исторических романов, в роде «Княжны Владимирской», «Князей Засекиных», «Неудавшейся королевы» и других.

Пришлось к слову, — и я попросил Петра Петровича пополнить мой литературный архив сведениями о его жизни и деятельности.

Скромный писатель искренно сконфузился, говорил мне, пожимая руку, что тронут моим вниманием, и обещал исполнить свое обещание. На следующий же день я получил от Сухонина «Воспоминания о литературных трудах» его на шести листах писчей бумаги. В самом начале он писал:

«Вы желали написать воспоминания о моих сочинениях: что они, где и когда были напечатаны? Право, не знаю, стоит ли. Но по уважению, что это может облегчить Ваш труд, которому Вы посвящаете столько лет жизни, и так как Вы собираете такие сведения о в с е х, то почему же и мне не быть в числе этих «всех». Если много мне сделать не удалось, то, по крайней мере, я желал сделать! Пусть же примут мое желание за заслугу».

При этом он был рассказан один эпизод. Этот эпизод я и приведу, как наиболее интересный в «Воспоминаниях» Сухонина и могущий служить некоторым материалом для истории нашей цензуры:

«Я служил в то время в Министерстве просвещения, и в доме министра князя Шихматова (Платона Александровича Ширинского-Шихматова, академика, писателя, 1790—1853 гг.), был принят, как хороший знакомый. Князь мне особо покровительствовал и посадил одного цензора Ел. (Елагина), — до идеала глупое животное. В это время Фурман (Петр Романович, редактор «Сына Отечества») просил меня написать повесть для его журнала. Так как с цензурой мне ссориться не хотелось, то я взял за тему вещь уже столь избитую, что, казалось, не к чему было придраться и написал

повесть без всяких тенденций — просто «искусство для искусства». Повесть носила название «Любовь дьявола» и состояла в том, что две девочки, — одна веселенькая, другая задумчивая, — большие приятельницы, влюбились, каждая по-своему, в одного и того же. Вот они фантазируют, каждая по-своему, и оказывается, что думают об одном. Обеим им лет уже шестнадцати лет, стало быть, из любви ничего не вышло, да и найти ее трудно. Одним словом, повесть невинная до пошлости. Вдруг г. Елагин признал ее безнравственной, потому что мать одной из девочек носила какой-то медальон. Напрасно я доказывал всему цензурному комитету, что это не имеет никакого отношения к нравственности, так как медальон мог быть от брата, первого мужа и так далее. Но тогда цензурный комитет — «своего прокаже, а верится с трудом» — был в полном смысле собрание идиотов, которые не понимали ничего, придираясь только к словам — какое кому придет в голову.

«Тогда я решился зайти с прошением в Главное управление цензуры и в этом прошении заставил идиотов, как идиотов, не употребляя, однако, ни одного слова, к которому можно было бы придраться. Я писал, что вот один (цензор) не допускает слова «вечер». Другой не любит имени. Если к первому попадется, например, слово «один молодой человек», то он пишет: Какой? Чиновник, офицер, помещик, портной — объяснить». А другой, если ему попадется — «молодой человек», то право «офицера» вымарывает и заменяет словом «человека». Один не допускает слов: «бог», «ангел», «святой» и так далее, а другой не любит слова «черт» и — как теперь помню фразу прошения — заменяет его в корректурных листах сочинения, к явному соблазну наборщиков, словом «бес»! Прошение это я подал князю лично и объяснил положение, в котором находится литература вообще, благодаря таким разумным стражам, как Елагин. И что же? Дня через три князь зовет меня к себе и говорит, что, в личное для него одолжение, он просит взять прошение назад и этого дела не возбуждать. «Мы так строго требуем с цензоров за то, что они пропускают, что грешно было бы взыскивать еще за то, чего они не пропускают», — сказал князь. Ясно, что спорить было нечего. Повесть, набранную и два раза исправленную «по-художественному» Елагиным, я взял назад, не допуская до печатания в таком нелепом виде, в каком она мне представлялась, и с тех пор «свою» для журналов не писать — до поры до времени и не писал».

Сухонин обратился к театру и лишь лет через десять возобновил свою деятельность, как публицист и беллетрист. И в этот период

не обошлось без трений, но цензурные условия все же стали иными, и как-никак, а Елагины и им подобные «гасильники» отошли в область преданий.

При встрече в Харькове Сухонин рассказал мне и о том, как впервые ставилась его «Русская свадьба»; это было в один сезон, когда в первый раз шла и пьеса Островского, открывшая новую эпоху в истории нашей драматургии. Затем он углубился в старину, стал вспоминать себя морским офицером, припоминая свои литературные дебюты, свои знакомства с корифеями театра на протяжении долгих лет. Между прочим, он рассказывал, что В. А. Каратыгин по отношению к гениальным или выдающимся драматургам был слепым исполнителем-художником, но зато в пьесах, лишенных правдоподобия и внутреннего содержания, он становился уже полным властелином роли и пересоздавал ее по собственному разумению, чем, конечно, и спасал пьесу от провала. Свой талант при этом он, разумеется, вынужден был, так или иначе, коверкать в угоду царившей в то или другое время моде и ради угождения публике подвергать его сильному вредному влиянию при исполнении какой-нибудь пошлейшей мелодраматической роли, построенной на внешних трескучих эффектах, блиставшей неступленными страстями, извращенными чувствами и уголовщиной самого зверского убийства. Полуобразованная толпа захлебывалась от восторга, созерцая всю эту страшную, шедшую к нам из «милой Франции», а великий артист, как ни переделывал роль, все же должен был горько сознавать, что он кривляется, потворствуя диким вкусам.

Каратыгин, в общем, был почти всегда самобытным творцом, истинным художником. Исполняя героические роли, он прежде всего выдвигал вперед эффекты чисто внешние: пластичность, великолепие поз, величавость каждого движения, живописность и торжественность как приемов, так и речи, отзывавшейся несколько напыщенной декламацией: внутренней игры здесь было мало, или она вовсе отсутствовала. Но этим внешним исполнением, его удивительной картинностью он приводил публику в неописанный восторг. Так он исполнял, например, роль Велизария в пьесе того же имени, пересаженной с иностранного на нашу сцену драматургом Н. Г. Ободовским. При первом выходе артиста в этой трагедии театр сверху донизу уже дрожал от рукоплесканий. Пристрастный поклонник Мочалова, даже Белинский восхищался Каратыгиным в этой роли, считая его в высшей степени искусным, но не вдохновенным артистом.

«Я враг эффектов, — говорил критик, — мне трудно поддаться очарованию эффекта; как бы ни был он изящен, благороден и умен.

он всегда встретит в душе моей сильный отпор; но когда я увидел Каратыгина-Велизария, в триумфе везомого народом по сцене в торжественной колеснице, когда я увидел этого лаврами венчанного старца-героя, с его седою бородой, в царственно-скромном величии, — священный восторг мощно охватил все существо мое и трепетно потрясал его... Театр задрожал от взрыва рукоплесканий... А между тем артист не сказал ни одного слова, не сделал ни одного движения — он только сидел и молчал... Снимает ли Каратыгин венок с головы своей и полагает его к ногам императора, или подставляет свою голову, чтобы тот снова возложил на нее венок, — в каждом движении, в каждом жесте виден герой Велизарий. Словом, в продолжение целой роли — благородная простота, геройское величие души были в каждом слове, в каждом звуке Каратыгина... Сцена, где поется романс Иерусалема, была исполнена такого неотразимого поэтического обаяния, о котором нельзя дать словами никакого понятия, — и это опять было делом Каратыгина: седой герой, лишенный зрения, сидел на пне дерева и лицом, движениями головы и рук выражал то грустно возвышенные ощущения, которые производил в нем каждый стих романса, петого о нем крестьянином, не подозревавшим, что его слушает сам тот, о ком он поет»...

В огромном количестве ролей, созданных Каратыгиным, артист обнаруживал необычайное разнообразие таланта. Видно было, что он психологически верно постиг изгибы людского сердца, тонко наблюдал человеческие страсти и слабости; с особенным искусством передавал он переходы от одного чувства к другому.

Изображая, например, Людовика XI в переводной пьесе П. Г. Обольянинова «Заколдованный дом», он с удивительным мастерством воспроизводил разнородные моменты настроения этого действующего лица, его переходы от страшной злобы к религиозному экстазу. Выдавались минуты, когда невозможно было спокойно смотреть на выражение лица артиста, на его необыкновенно подвижное лицо, отражавшее самые противоположные чувства с такой правдой, что зритель немел от удивления и восторга.

Белинский восхищался этой ролью Каратыгина так же, как и исполнением роли Велизария.

«Игру Каратыгина, — говорит критик, — невозможно характеризовать словами, и надо видеть, чтобы понять и оценить всю драматического искусства и торжества его таланта, являющегося в этой роли в своем апофеозе... В каждом слове, в каждом жесте вы видите характер исторического Людовика XI. Посмотрите, как он согнулся, как часто кашляет, задыхается, как медленна и слаба его

походка, какое коварство в его будто бы простодушном смехе, как он все видит, притворяясь, что ничего не видит, как он умеет прикинуться обманутым, чтобы вдруг и врасплох схватить свою жертву и заставить ее во всем сознаться; заметьте, как уж чересчур обыкновенен его язык, простонародны манеры, грубы шутки, и как сквозь все это видел король, знающий, что он король, уверенный в своем могуществе, в силе своего ума и непреклонности воли... Вот вам игра Каратыгина, если это даст вам хоть какое-нибудь понятие... Дивное искусство!..»

Зато критик был невысокого мнения об исполнении Каратыгиным шекспировских ролей. Но другие знатоки сценического искусства, современники великого артиста, находили, что и эти роли — Гамлета, Лира, Кориолана, Отелло — он играл превосходно и они «могли бы смело поставить его на ряду с отличнейшими драматическими талантами, которые когда-либо украшали собою сцены лучших европейских театров». Иван Иванович Панаев, видевший Каратыгина в роли Отелло, также подтверждает мнение этих ценителей, говоря, что один уже эффектный выход артиста, его красота, его блестящий наряд, большие белые серьги, которые чрезвычайно шли к его черному лицу, производили сильное впечатление и вызывали страшные рукоплескания.

Печать двадцатых и тридцатых годов, в большинстве случаев смотрела на Каратыгина, как на артиста с тонкой, огромной выдержкой, прошедшего, как редкий из сценических деятелей, превосходную образовательную школу и неустанно работавшего над каждой новой ролью, но без непосредственного вдохновения. О последнем Белинский говорит ясно, без всяких околичностей.

«Смотря на игру его, — замечает критик, — вы непрестанно удивлены, но никогда не тронуты, не взволнованы. Где нет истины, природы, естественности, там нет для меня дарования. Я видел г. Каратыгина несколько раз и не вынес из театра ни одного сильного движения; в его игре все удивительно, но вместе с тем все так нездельно, придумано, изыскано. Г-н Каратыгин — Марлинский сценического искусства; у него есть талант, но талант, образованный силою воли, прилежным изучением, но не самобытный, не природный, как у Мочалова; талант — ходить, говорить, рассчитывать эффекты, понимать, где и что надо делать, но не увлекать души зрителей собственным увлечением, не поражать их чувства собственным чувством... Торжество г. Каратыгина — роли надутые, неестественные, декламаторские; он заставляет забывать о их несообразности и нелепости... Его неотразимое оружие — эффектность, грациозность,

благородство поз, живописность и красота движений, искусство декламации. Напрасно обвиняют его в излишестве эффектов: его игра не может существовать без них».

Довольно верную характеристику этого одного из последних мастеров высокой трагедии дает известный исторический романист и знаток театра, Рафаил Михайлович Зотов.

«Одаренный от природы всеми физическими качествами для сценического эффекта, — говорит он. — Каратыгин долго первенствовал во французской классической трагедии. Прекрасная дикция его и пластические позы вполне соответствовали этой школе. Вместе с тем играл он и драмы. Наконец все огромное дарование его развилось в пьесах Шекспира. Тут зрители видели глубокое изучение искусства, создающее великих артистов. К сожалению, наступил период французских мелодрам (то-есть романтической драмы) на нашей сцене. Основанные на эффектах, они нравились большинству зрителей. Эти неестественные страсти, эти трескучие эффекты, эти чудовищные преступления — все волновало массу публики, не рассуждающую, верно ли оно, естественно ли, художественно ли. Сам Каратыгин, при всем своем огромном даровании, подвергся сему гибельному влиянию».

Как человек очень развитой и довольно тонкий эстетик, он, разумеется, не мог сочувствовать этому драматическому роду, но отказаться от подобных мелодраматических ролей было немыслимо, потому что одно имя его привлекало публику в театр. Несмотря на то, что у Каратыгина был талант чисто русский, чуждый иноземного влияния и развивавшийся под руководством русских наставников, он очень ценился иностранными знатоками сцены, и имя нашего знаменитого трагика пользовалось в Западной Европе достаточной известностью, наравне с именами Тальмы, Кина, Лемэтра. Иностранцы, жившие в Петербурге или приезжавшие в нашу столицу, считали своей обязанностью посмотреть игру Каратыгина и приходили в восхищение от его художественной, истинно классической игры.

Василий Андреевич Каратыгин вырос и развил свое дарование в артистической семье, потому что родители его принадлежали к театральному миру. Его отец, Андрей Васильевич, играл в комедиях молодых ноэс и щеголей, а одно время занимал место режиссера императорской драматической труппы; между прочим, он вел постоянно записки о русской сцене, послужившие хорошим материалом для истории нашего театра. Мать, Александра Дмитриевна Полтавцева, получившая на сцене фамилию Петровой, вследствие особенной белизны ее кожи, дочь знаменитой русской мимической балерины

К. И. Колосовой, была женщина очень образованная для своего времени, училась русской словесности у Греча, музыке у знаменитого Фильда, а драматическому искусству у И. А. Дмитревского и пользовалась известностью первоклассной трагической актрисы и талантливой пианистки. От брака этих двух, страстно преданных театру, артистов и родился 26 февраля 1802 года в Петербурге будущий критик. При всей любви своей к сцене, его родители и не помышляли готовить сына к театру, но, несмотря на свои ограниченные средства, стремились дать ему основательное образование. С этой целью его отдали в Горный корпус, по окончании курса в котором В. А. Каратыгин поступил на службу в Департамент внешней торговли. Однако наследственность взяла свое: еще в школьные годы он стал проявлять склонность к сцене и, находясь в корпусе, нередко играл на домашнем театре кадет; потом он стал участвовать и в домашних спектаклях, устраивавшихся в квартире Каратыгиных. В это время он обратил на себя внимание князя А. А. Шаховского, известного драматурга и тогдашнего начальника репертуарной части. Многие просвещенные театралы того времени восхищались его декламацией в роли Фингала и, вместе с князем Шаховским, советовали этому любителю поступить на сцену, предрекая ему прекрасную будущность. В числе этих лиц, угадывавших настоящее призвание его, были М. Н. Загоскин, П. А. Корсаков, Висковатов и другие. И участь Каратыгина была решена — в его лице русская сцена сделала выходящее из ряда приобретение.

Он уже был произведен в первый офицерский чин, когда решил оставить службу и готовиться к сцене. Первый наставник его был князь Шаховской, пытавшийся сделать из него актера в преданиях ложно-классической школы, с ее напыщенной манерой. Следы этого ученья остались в игре Каратыгина навсегда, хотя противовесом явился И. А. Катенин, сумевший сгладить дурное влияние князя Шаховского. Друг Пушкина и Грибоедова, Катенин страстно любил театр, видел всех знаменитостей тогдашней сцены на родине и за границей и с своим замечательным образованием представлял собою явление выдающееся. «Он был, — по словам брата артиста, Петра Каратыгина, — живая энциклопедия наук: знал языки французский, немецкий, итальянский, английский, латинский и греческий и в переводе читал своему ученику латинских и греческих классиков, познакомив его с французской, английской и немецкой драматургией. Занятия их были исполнены классической строгости и постоянного, честного и неутомимого труда, и ученик, приготовляясь к театру в серьезной классической школе, потом до гроба сохранил строгую любовь

и уважение к своему искусству». Каратыгину было восемнадцать лет, когда состоялся первый дебют его на сцене Александринского театра (3 мая 1820 года) в трагедии В. А. Озерова «Фингал» в заглавной роли. Дебют сопровождался огромным успехом: публика устроила юному артисту восторженные овации. Во второй раз он выступил в самой трудной из всего классического репертуара роли, в «Эдипе-царе» Грузинцева (в заглавной роли); третьим дебютом он сыграл роль Танкреда в трагедии Вольтера, переведенной Н. И. Гнедичем. Публика принимала его также восторженно. Казалось бы, что после таких блестящих дебютов дело о принятии Каратыгина в императорскую труппу было окончено, но дирекция требовала еще четвертого дебюта, который и состоялся в трагедии Крюковского «Пожарский» в заглавной роли. Своей осмысленной, замечательной игрою дебютант произвел глубокое впечатление на зрителей, и дирекция, убежденная, наконец, в огромном таланте дебютанта, приняла его в труппу на три года, с жалованьем по две тысячи рублей ассигнациями в год, казенною квартирой, с десятью саженями дров и с одним бенефисом в три года.

В сущности, это было по тем временам жалкое содержание, тем более, что Каратыгин играл часто и через вынослив на своих могучих плечах самый тяжелый репертуар, но он безусловно предан был искусству и не тяготился условиями, при которых играл. Он был неподражаем в классической трагедии, исполняя роли: Ореста в «Андромахе», Эгиста в «Мероне», Ипполита в «Федре», Арзаса в «Семирамиде», Ахилла в «Ифигении», Родрига в «Сиде», Тамерлана, Дмитрия Донского, Пожарского и прочее. Всю силу своего гибкого и всеобъемлющего таланта обнаруживал он и в эпоху господства на нашей сцене новейшей французской драмы, когда он играл разнообразнейшие роли своего амплуа в пьесах: «Кин», «Генрих III», «Тридцать лет, или жизнь игрока», «Отец и дочь», «Кровавая рука», «Смерть или честь», «Торквато Тассо», «Графиня Клара д'Обернель», «Король Энцо», «Замок Плесси», «Мольер» и так далее. В эту эпоху исполнял он роли и в русских пьесах: «Скопин и Шуйский», «Смерть Лянунова», «Рука всевышнего отечество спасла», где в его замечательной игре «романтизм наш — хладный романтизм Кукольника и Полевого — нашел себе самое лучшее, самое полное выражение.

Отлично исполнял он и роли в пьесах Шекспира, являясь хотя гениальным истолкователем вечных и всесветных типов величайшего сердцеведа. По свидетельству современников, он бесподобно играл Гамлета, Лира, Отелло, а также Карла Моора в «Разбойниках» Шиллера, Людовика XI в «Заколдованном доме», Лефортера в трагедии

Шиллера «Мария Стюарт». Эти роли отличались удивительно строгой выдержанностью и безукоризненным художественным исполнением. Нередко Каратыгин увлекался до самозабвения, воображая себя тем лицом, которое он изображал. Отсюда происходило много недоразумений с его партнерами обоего пола. Однажды, импровизируя у Гонзаго (в трагедии «Отелло») правду, он так сдавил горло актеру Максимову, исполнявшему эту роль, что несчастный артист посинел и уже захрипел, и только слова суфлера: «Василий Андреевич, вы задушите Максимова» спасли последнего от смерти. Таких случаев было не мало, и однажды в своем самозабвении Каратыгин зашел так далеко, что не на шутку перепугал публику, оцарапав кинжалом актрису Коньлову, так что вынуждены были опустить занавес, хотя акт был и не окончен.

Последним созданием его была небольшая, но изящная и очень эффектная роль Прямого в водевильной пьесе «Последняя песнь лебедя», шедшей в бенефис Каратыгина в январе 1853 года. Затем он уже хворый, пожинал лавры в «Смерти Лапухова», 27 февраля играл в «Денщике» Кукольника, а 13 марта отошел в вечность, простудившись на похоронах Я. Г. Брянского и заболев тифом. Несметная толпа народа собралась отдать последний долг своему любимцу и на руках перенесла его гроб сперва в Благовещенскую церковь, а оттуда на Смоленское кладбище, где прах его погребен рядом с могилою артистки В. И. Асенковой, близ церкви. На могиле его поставлен бюст великого трагика, отличающийся редким сходством.

Кончина артиста была так неожиданна, что ей не хотели верить, и после похорон долго ходили слухи, будто бы из могилы после погребения слышались стоны, и что, по разрытии ее, покойника нашли перевернувшимся в гробу. Легковерные люди долго повторяли эту легенду, в основе которой лежало то обстоятельство, что Каратыгин лежал в гробу, не изменившись, точно живой. О преждевременной утрате артиста жалел и сам Николай I, приезжавший проститься с ним в Благовещенскую церковь. После похорон царь, встретив у Казанского моста Петра Андреевича Каратыгина, взял его за руку, подробно расспрашивал его о причинах кончины его брата и о последних минутах артиста и так дошел с ним до Аничкова моста.

Похороны великого трагика были необыкновенно торжественны и многолюдны. Известный театрал А. И. Вольф рассказывает, что «не только вся площадь (у Синего моста), но все прилегающие к ней улицы, даже крыши домов были буквально усеяны народом. На всех

протяжении печального шествия, до самого кладбища, стояла везде масса народа».

Наша сцена, помимо всего, обязана Каратыгину целым рядом переводов наиболее выдающихся произведений западно-европейских драматургов. Зная превосходно языки, он перевел и переделал: «Короля Лира» и «Кориолана» Шекспира, «Мессинскую невесту» Шиллера, «Кина» Александра Дюма, — который, познакомившись с Каратыгиным, в бытность последнего за границей, очень ценил его дарование, будучи о нем самого высокого мнения, — «Les Burgraves» («Предки и потомки») Виктора Гюго, «Людовика XI» Казимира Делавиня, «Честолюбца» Скриба, «Искательниц приключений» Эмиля Ожье, «Агамемнона» Лемерсье и проч. Многие его переводы и переделки держатся в нашем репертуаре и доныне. Каратыгин составил эпоху в истории русской сцены, которая будет вечно чтить память нашего последнего трагика, так сказать, унесшего с собою в могилу высокую трагедию, без него лишившуюся своей былой жизненной энергии...

XXIV

Писатель-мученик, человеколюбец. (Несколько слов о В. М. Гаршине).

Хорошо помню, что было это в один из теплых июньских дней. Я шел в редакцию журнала «Стрекоза», помещавшуюся на Лиговке, неподалеку от Николаевского вокзала, торопясь к приему, так как исполнял тогда обязанности редактора, Ипполита Федоровича Василевского («Буква»), временно отлучавшегося.

Чуть не на пороге конторы редакции меня встретил Герман Карлович Корнфельд, издатель упомянутого журнала, и не без волнения в голосе стал торопить меня, говоря:

— Пожалуйста, идите поскорее... Он мне ужасно надоел.

— Кто он? — спросил я.

— Ну, это же Гаршин... Ето Всеволод Гаршин... Хватает гонорарную книгу «Стрекозы» и все делает какие-то выписки.

— Здравствуйте... А, и вы здесь? — рассеянно и вместе с тем деловито сказал мне Гаршин, неожиданно и быстро приближаясь ко мне.

У него было бледное, измученное лицо, точно после перенесенного тяжелого недуга. Забрасывая меня разнообразными вопросами, он вдруг обратился ко мне со словами:

— А какая из моих повестушек вам больше всего пришлась по сердцу?

То, что я рассказываю сейчас, относится к тому времени, когда писатель, будучи на высоте своей славы, проявил признаки сильного нервного расстройства, уже повторявшегося не раз; было это за целое десятилетие до его смерти.

— Я чувствую, что попал в точку, понял свою призвание, и этим обязан не кому другому, как матери, которая как-то особенно умела влиять на развитие моего творчества... Да, да, никто, кроме нее... она как будто толкала меня на это, — с жаром прибавил он.

Сделав нужные распоряжения в редакции, по окончании приема я направился к выходу. Вслед за мною стал выходить и Гаршин, а Корфельд украдкой начал благодарить меня за то, что я, хотя и невольно, увлекаю его за собой.

Провожая меня, Всеволод Михайлович стремительно следовал за мной на большое расстояние, очень нервничая дорогой, то обнимая меня за талию, то теребя пуговицу моего пальто. Он все время предавался излияниям, говорил, что пробует писать стихи. Временами походка его делалась нервной, он начинал спотыкаться, так как смотрел вверх, говоря:

— Как мне хотелось бы, чтоб у меня выросли крылья, чтобы я мог с высоты птичьего полета обозреть землю, чтоб она была у меня вся, как на ладони, и я мог бы заглянуть во все ее углы. Но, увы, я знаю, что это только мечта, и потому не считаю себя счастливым... Я должен сжиться с тягучей действительностью, и потом меня еще как-то давит недобрые предчувствия... Точно около меня проходят разнообразные тяжелые сны и болезненно задевают меня. То я вижу себя утопающим, то яростно вызываю кого-то на поединок, то попадаю в зверинец, вижу, как тигр разламывает клетку и бросается на меня, я лежу окровавленным, привлекая толпу праздных зрителей, выражающих мне ненужное сочувствие и любопытство. Вы можете поэтому судить, какой силой обладает мое воображение; меня лихорадит от этих кошмаров, от этих проходящих теней, снующих мимо меня. Это — тоже жизнь, тоже ее бремени, которое нести мне недуг не под силу. И я знаю, что так страдают и другие. Поэтому главная цель моя — вызвать сочувствие к людям, пробудить к ним любовь... Я не хочу утомлять читателя длинными рассказами, потому и пишу кратко... Только бы зажечь искру... Одну только искру...

И действительно, Гаршин достиг своей цели. Творчество его, освещенное неугасимым огнем мученического горения, которым было

охвачено с самых ранних лет его необъятное и нежное сердце, проникало в душу современного читателя самых широких кругов, создавая писателю ореол духовной красоты, идущей из глубины самой его природы, которою было отведено столько обширного места любви к человеку, отчего и создавалась эта тесная, непосредственная связь с ним, связь самого художника с его героями.

Гаршина я помню именно таким и в его лучшие, светлые промежутки, и в моменты болезни, когда он был близок к отчаянью. Помню его темноволосую, необычайно привлекательные и кроткие глаза и всю его прекрасную внешность, находившуюся в редкой гармонии с его духовным обликом. Следует отметить еще то, что не только по идеологии своего творчества, но и в жизни, на деле, он, как никто из писателей, был постоянным защитником «униженных и оскорбленных», выступая их рыцарем, «рыцарем без страха и упрека», с оружием в руках, которым наделяла его безграничная отзывчивость к чужому горю.

Это хорошо понимали его лучшие друзья, собратья по перу, достойно оценившие при появлении его в литературу исключительность этой чуткой души, которой чужды были какие бы то ни было сделки с совестью. Всем известна дружба его с Чеховым, Короленко, Надсоном и, наконец, с Глебом Успенским, болезненная природа которого была так сродни гаршинской. Оба они слишком реагировали на впечатления скорбной действительности, делая ее еще более невыносимой под влиянием болезненно чуткого восприятия жизни.

Хорошо всем известна история героического ухода Всеволода Михайловича на войну, когда он, студент Горного института, видя, как вокруг проливается кровь, идет добровольно подставлять грудь под пули, следуя за народом, готовый и сам встретить смерть, если понадобится, совершенно неспособный сам принести людям смерть.

Проводя в жизнь свои принципы, бывшие в полной гармонии с его творчеством, Гаршин органически не мог отказаться от своего постоянного активного вмешательства, когда дело касалось возможности как-нибудь и чем-нибудь помочь другим, в особенности, когда речь шла о трагически важных вопросах. Таково было его вмешательство в дело революционера Млодецкого, когда Всеволод Михайлович ночью ворвался к Лорис-Меликову с целью остановить неизбежную казнь, что, как известно, к сожалению, ему не удалось. Последствия этой неудачи были крайне тягостны для писателя, вызвав у него длительное нервное расстройство[2]. Далее он выступает с протестом против великого общественного зла — проституции, придя в присутствие к московскому обер-полицмейстеру и стараясь убедить его в ужас-

в ненормальности этого явления, а потом, спустя некоторое время, заступается на улице за проститутку, издевательски преследуемую пьяным блюстителем порядка — городовым.

Такова физиономия этого тонкого психолога и человеколюбца-страдальца, с которым мне посчастливилось встречаться не раз и в дни его славы, и в пору его угнетенного душевного состояния.

Лучшей характеристикой Всеволода Михайловича являются его предсмертные слова, произнесенные им в момент катастрофы, когда в припадке душевной тоски он, бросившись в пролет лестницы вниз, расшибается насмерть. Слова эти были: «Что значит моя боль в сравнении с тем, что вот здесь!» — писатель указал на сердце.

Мне приходилось слышать мнение некоторых, что Гаршина принято теперь считать писателем упадочным, поскольку творчество его является болезненным, исходя из его больной души, выросшей на нездоровой почве реакционного безвременья восьмидесятых годов. Мнение это мне кажется не совсем правильным. Гаршину должно быть отведено достаточно почетное место в литературе не только в силу художественности его умышленно сжатых рассказов, из которых многие могут быть справедливо названы истинной поэзией в прозе, но и благодаря огромной связи с человечеством вообще, так как гаршинская боль есть боль общечеловеческая, что навсегда, думается мне, закрепляет за ним и связь с потомством.

XXV

В. Г. Короленко.

Передо мною его портрет, один из последних. Я вглядываюсь в черты этого прекрасного лица, хотя и пожалованного временем, но все же тронутого годами испытаний, волнений и тревог, и «крылатый рой воспоминаний» невольно переносит меня к далекому прошлому, когда я впервые увидал это милое лицо...

Это было на самом рубеже семидесятых годов, ровно пятьдесят лет назад. Из редакции «Отечественных Записок», помещавшейся на углу Литейного и Бассейной, медленно выходил, с небольшим свертком в руке, молодой человек, немного выше среднего роста, лет двадцати пяти. Его умное, дышавшее энергией лицо невольно обращало на себя внимание. Большой, высокий лоб, темные вьющиеся волосы, чудные, слегка сверкающие глаза под густыми бровями и смугловатый цвет кожи — все это делало его красивым. И красота эта была не вульгарная, не надоедливая, не кричащая,

не назойливая; она была иная, именно такая, которая надолго остается в памяти или даже совсем не забывается. Казалось, внутренний свет озарял это немного бледное лицо, и, говоря словами поэта, «было, что жгучая мысль, беспокойная, в сердце кипит, на простор вырывается». Немного нужно было наблюдательности для безошибочного определения, что это тип южанина. «Нет, — думал я, — не на холодном, суровом, неприветливом Севере появился на свет этот красавец; не под свинцовым мрачным сводом, а на жизнетворном Юге, нежащем своим теплом, пышащем красотой всей, под прозрачным лазурным, ласковым небом... Быть может, вскормили его вольные степи Украины, ее пышно цветущие луга, обрызганные душистой росой, ее чудный целебный воздух, ее звучные, полные милой грусти песни, сказки, предания, заветы старины стародавней...» Мелкий дождь сеял, как сквозь сито, когда молодой человек выходил из «святилища мысли», как оказалось, не открывшего ему своих дверей, — а он все-таки шел, выпрямившись, бодрой походкой, и я как будто видел улыбку на его лице, слегка подернутом дымкой заботы.

«Дебютант или уже ставший на ноги молодой писатель?» — спрашивал я сам себя и, придя в редакцию, забыв на время о своем деле, поинтересовался узнать, «кто это был, вышедший отсюда». Не помню, от Сергея Николаевича Кривенко или от старика Алексеева, я узнал, что это был неудачный дебютант, «немой» Короленко. Ему вернули рукопись его рассказов «Эпизоды из жизни писателя». Не понравилось самому Салтыкову-Щедрину, а может быть, и Михайловскому, — поведал мне кто-то из удовлетворивших мое праздное любопытство.

Меня, впрочем, и не думало удовлетворять узнанное мною о «немом» Короленко. «Но я раньше слышал это имя», — думал я. И услужливая память подсказала мне, что кто-то из москвичей недавно рассказывал в одном литературном кружке об «истории», случившейся в Петровско-Разумовской земледельческой академии. Студенты волновались уже довольно давно, были раздражены академическими неполядками, глухой ропот на начальство возрастал с каждым днем. Решено было подать директору прошение от лица всех студентов, и для этой подачи избрали Короленко. Как он объяснился с директором, был ли резок, или говорил ему только горькую правду, — неизвестно [12], но избранник товарищей понес тяжкую кару: его исключили из академии и отправили в ссылку, кажется, в Вологду. Москвич передавал много подробностей об этой «истории» с обычным у них юмором, да еще в то время, когда малейший протест

и учащихся, и давным-давно выучившихся преследовался с беспощадной строгостью.

«Это, — решил я в уме, — должно быть, тот самый Короленко, которому не посчастливилось в «Отечественных Записках», у него такое одухотворенное, прекрасное лицо». Не знаю — почему, но я был твердо уверен в этом. И уверенность моя вскоре оправдалась вполне. Мало того, я узнал подробно, кто такой и откуда литературный новичок Короленко.

Довольно скоро после того, когда я видел его на Бассейной у дверей негостеприимных «Отечественных Записок», я встретил Короленко на углу Большой Морской и Гороховой, в редакции молодого, ярко прогрессивного, но не узко тенденциозного журнала «Слово». Издавалось оно на средства богатого сибирского купца Сибирякова, и во главе его стояли Дмитрий Андреевич Коропчевский, этнограф и беллетрист, впоследствии профессор, и Иероним Иеронимович Ясинский. Благодаря последнему в «Слове» по беллетристике печатались настоящие художественные вещи, и дебютировали в нем Ив. Щеглов (Леонтьев), М. П. Альбов, А. О. Новодворский, К. С. Баранцевич и другие молодые таланты. Сюда-то и принес Короленко, забракованный Щедриным, свой рассказ «Эпизоды из жизни искателя». Здесь и рассказ, и его автор произвели прекрасное впечатление. В редакции уже знали, что Короленко — один из пострадавших, в сущности, без вины, что рассказ — его первый литературный опыт. Скромность дебютанта, искренность, проглядывавшая во всем, душевная чистота, симпатичная наружность и приятного тембра, свежий, с южной манерой, голос производили обаятельное впечатление. Я узнал, что Короленко пришел теперь за ответом, что его рассказ принят, и что молодого автора просили продолжать сотрудничество в «Слове». Мне в этот раз Короленко понравился еще больше, и еще больше я заинтересовался им. Он ушел раньше меня из редакции, а мне так пламенно хотелось выйти с ним вместе, поговорить по душе. «Если Владимир Короленко вас так интересует, и как человек, и как будущий видный писатель, — сказал мне Коропчевский, — то вы многое еще можете узнать о нем от его родного брата. Кажется, он секретарем в редакции «Дела», в вашем же журнале!» — добавил Коропчевский, намекая на то, что я был давнишним сотрудником «Дела» и собирался быть его ответственным редактором.

Но у нас, в «Деле», брат Короленко, Юлиан, еще не служил, а встретился я с ним в другом месте и, разумеется, без церемонии забросал его расспросами о брате. Юлиан Галактионович оказался

любезным, обязательным господином и притом очень разговорчивым.

Вечером того дня, когда я беседовал с ним, мне пришлось извлечь из моей картечки (материалов для биографии писателей) много данных, довольно ценных, которые я первый опубликовал в печати, когда имя Владимира Галактионовича Короленко стало пользоваться известностью и сделалось сразу популярным. «Мы (у меня есть еще брат и сестра), — говорил Юлиан Галактионович, — уроженцы Житомира, по отцу из старого казачества происходим, а наша мать — родом полька, дочь шляхтича. Отец наш — чиновник, служил уездным судьей и не только не был взяточником, но поражал своей редкой, идеальной честностью, верностью закону, присяге, долгу. Отец горячим словом убеждения и своим личным примером насаждал эту честность в семье и в этом направлении был и суров, и мучителен. Мать, добрая, великодушная, глубоко любящая, воспитывала в нас, детях, глубокую человечность в самом широком значении этого понятия... За нами мало присматривали, не стесняли нашу свободу. Брат мой был с самого раннего детства впечатлителен и более всех нас мечтателен, склонен к фантастичности представлений мира, видимого и невидимого. С шестилетнего возраста он начал свое школьное образование, учился в частном пансионе, сперва русском, а потом польском; был он в Житомирской гимназии, а затем в Ровенской. А далее недолго учился в Петровской академии, которую ему не суждено было кончить. Брату теперь (это было в 1879 году) — двадцать шесть лет»...

От Юлиана Галактионовича я узнал еще, что Владимир Короленко прошел тяжелую школу нужды, брал ради насущного хлеба работу, какая попадется. Служил корректором, раскрашивал рисунки для ботанического атласа и, конечно, получая за работу нищенскую плату, питался впроголодь. Но при этом никогда не унывал. В нем никогда не гасла вера в лучшее будущее и его самого, и людей вообще. Вот и теперь, не особенно давно, он учился, по словам брата, сапоги шить... чтобы иметь подспорье при добывании средств к жизни и чтобы стоять ближе к народу, ближе изучать его.

«Какая цельная, удивительная натура, сколько привлекательности в этом человеке, только еще начинающем жить и уже думающем о всеобщем счастье, о служении народу!» — думал я, расставшись с братом Владимира Галактионовича. Впечатление от его рассказа было настолько сильное, что мне долго мерещились черты Короленко: эта косматая голова, эти полные жизни, как будто устремленные далеко куда-то глаза, эти слегка раздувающиеся ноздри, про которые

можно было сказать словами Некрасова, что они «дышат какой-то отвагой и силою». эта энергия, сквозящая во всем существе его, весь он, в котором внешний прекрасный облик так удивительно гармонирует с его духовным обликом, исполненным особой, высшей красоты. Я был убежден и глубоко верował, что начинающий писатель, которого я встретил два раза и о котором слышал столько интересного, недолго будет оставаться в неизвестности, что у него «сил молодецких размахи широкие», и ему суждено сыграть большую роль, как общественному или, вернее, политическому деятелю. И меня страшно интриговало, как скоро проявится эта деятельность, с чего она начнется. Моими впечатлениями я делился с друзьями и так настроил их, что они стали с большим нетерпением ждать появления в «Слове» рассказа Короленко.

Ждать пришлось недолго. В июле 1879 года вышла очередная книжка журнала, и в ней, подписанный неполным именем Короленко, был помещен его рассказ «Эпизоды из жизни искателя». Сенсации он не произвел, но волновал мягкие сердца своей задушевностью, простотой, правдивостью и художественной красотой. Автор, в лице выведенного в рассказе киевского студента, передавал не чужие, а собственные свои переживания, умственные и душевные, повествовал о своих мучительных сомнениях, об отвращении к буржуазному добродетельно-сытому довольству, о презрении личного счастья и о стремлении к идеалам, хотя и не совсем ясно, но уже намеченным. Героя-автора неудержимо влечет к себе путь продолжительный, бесконечный, манит «своей неведомой далью, заманчивой неизвестностью, с борьбой и опасностями, с запросами энергии, чуткости, силы». Свою жизненную задачу полагает он в великом деле — служении народу. Колебаний быть не может... «Теперь, — говорит «искатель», полный молодой удали, — цель намечена ясно, симпатии созданы, путь виден далеко. Вперед! Да, вперед! Шаги будут твердые». Рассказ этот, рисующий прекрасный, обаятельный образ автора, я читал с увлечением в в кружке друзей, и даже у мало знакомых. Он возбуждал споры, но в общем все находили его жизненным, безыскусственным, невольно располагающим к себе. Заинтересовал он, между прочим, и старого, видавшего виды журналиста, Владимира Рафаиловича Зотова. Посылая мне какую-то деловую записку, он в постскриптуме писал мне: «Неужели пропустили вы одну вещь, должно быть начинающего автора, в «Слове»? Скорей прочтите, если не читали. Это выдержки из замаскированной исповеди его. Сколько свежести! Сколько наивной прелести! Есть почти детские места, а ими все-таки зачитываешься. Все — прямо

й натуры, пережитое, перечувствованное и прочувствованное!.. Прочтите непременно!»

А в то время, когда «Эпизоды из жизни искателя» были заинтересованы и тотчас понявшие люди пера, а заурядные читатели, скромный автор за вредное направление своих мыслей («чтение в сердцах» у нас тогда особенно практиковалось) давно уже, месяца за полтора до появления в печати своего рассказа, расстался со столицей и коротал дни в каком-то захолустье Вятской губернии [7]. Параллельно с появлением новых рассказов его в «Слове» шли известия, как гоняли его с места на место до Якутской области включительно. Говорили и писали, что Короленко испытал не мало, претерпел достаточно, но духом не упал, а вера в жизнь озаряла и грела его, как вешний всё рождающий луч. Великая, ничем не омрачённая душа попрежнему жила в нем, и стойкая, глубокая любовь к жизни, к смыслу ее, как неугасимая лампада, теплилась в ней, бодря и торжествуя. «Ту любовь, что добрых прославляет, что клеймит злодея и глупца», как сказал поэт, народный печальник...

Чуткая молодежь тогда уже поняла и оценила своего Короленко, сделавшегося ее любимым писателем гораздо раньше, чем его признала и горячо полюбила читающая публика, после того, когда одно за другим появлялись его произведения — и «Сон Макара», и «Слепой музыкант», и «Лес шумит». Я живо помню, какое восхищение, особенно в провинции, сопровождало эти и другие шедевры его, и как жаждали увидеть Короленко многочисленные его поклонники и почитатели. В Москве полиции пришлось разгонять большую толпу, собравшуюся вокруг какого-то пьяненького субъекта, сдуру выдавшего себя за Короленко, будто бы только что вернувшегося из ссылки... Это было как раз в то время, когда, «из дальних странствий возвратясь», писатель мирно проживал в Нижнем-Новгороде. Около того же времени нередко поджидали его то в Харькове, то в Полтаве, когда какой-нибудь праздношатай из породы шутников Островского распускал слух о приезде Короленко. И были такие, которые под ряд несколько дней терпеливо поджидали на дебаркадере железной дороги приезда писателя.

А он не мог приехать прежде всего потому, что тогда он был далеко от этих мест и от России, уехав за границу. Я состоял еще редактором «Русского Богатства», когда Владимир Галактионович вернулся в Петербург. Предательские морщинки слегка уже бороздили его открытое, венчанное неувядаемыми лаврами чело. Серебряные нити впутывались в его темные курчавые пряди волос на голове и в окладистой бороде, но в общем он попрежнему напоминал того [illegible]

«искателя», который появился в «Отечественных Записках», а потом в «Слове» открыли на твой искренность. И глаза у него блестели по-прежнему, а энергия сквозила в каждой черте красивого лица, проглядывала в каждом его жесте. Добрая обаятельная улыбка играла на его губах, открытых для ободряющего, теплого, бодрящего слова. «Какой трудный путь прошел Владимир Галактионович, а у него всегда цветущий вид!» — сказал я Николаю Федоровичу Анненскому, не скрывая своего восхищения. — «А это оттого, что он работал в Якутске, не покладая рук, и, знаю, как в ссылке, отдыхал за этой работой, и мы все на руках его носили», — ответил Анненский. «И еще оттого, что у него светлая душа!» — добавил он любовно.

Вот уж подлинно светлая, чистая душа, которой до самого последнего дня жизни так и не пришлось ни состариться, ни потускнеть, потому что он дожил до зари, в наступление которой глубоко верил и за приближение к которой мужественно боролся художественным словом.

XXVI

Великий мастер нашей сцены. (Памяти артиста Мартынова).

Семьдесят лет уже прошло со дня кончины (в 1860 году) гения русской сцены — Мартынова, но он продолжает жить в преданиях русской сцены, в ее истории.

Вспоминаются мне мои юные годы, вернее, годы отрочества. В Екатеринославе, тогда, до проведения железнодорожной линии, провинциальном захолустье, пронеслась весть о приезде Мартынова. Она проникла и в гимназию, где я учился тогда в пятом классе. В этом классе уже кое-что понимали. Посвящая чтению все свободное от уроков и сна несвободное время, сами издавали школьный журнал, посещали деятельно раек плохонького городского театра, и о Мартынове знали много по газетным и журнальным отзывам о нем. Могла ли нас не взволновать эта весть? С трудом высиживали мы часы уроков и шли хлопотать раздобыть билеты на спектакль с участием знаменитого артиста, — и, наконец, увидели его. Пятидесятые годы были на исходе, и Мартынов уже появлялся в пьесах Островского, покоривших русскую сцену, и нам посчастливилось увидеть его в «Грозе». Глубокое впечатление произвел он на нас своей простой игрой, заставляя следить с биением сердца за каждым жестом, за меняющейся мимикой артиста. Такого высокого наслаждения мы еще никогда до этого момента не испытывали.

Мартынов овладевал всем театром, сверху донизу, потрясал зрителей и, как говорится у Гоголя, «все превращал в одно чувство, в один маг, в одного человека, заставляя гармонически слиться людей, как братьев, в их душевном движении»... Не одни мы плакали, — плакали и взрослые, и дамы, и мужчины, и помещики, приехавшие из всех уездов посмотреть на актера, о котором столько пишут в «Северной Пчеле» и в «С.-Петербургских Ведомостях». И, должно быть, игра Мартынова разбудила в степняках многие чувства, если и они не могли удержаться от слез... Смешил он до истерики в водевиле «Знакомые незнакомцы», в роли лакея, в «Женитьбе» Гоголя, играя Подколесина, в пьесе «Жених из долгового отделения», изображая злополучного Ладыжкина, где от смеха до слез такое ничтожное расстояние... Но великий комик превращался в неподражаемого трагика, когда играл Трубина в драме И. Е. Чернышева. Близки были чувства этих разнообразных героев пьес, и душевные муки Тихона Кабанова в «Грозе» я переживал вместе с Мартыновым...

И вот теперь воспоминания переносит меня в былую нежную столицу, в Александринский театр. Я вижу Мартынова в той же роли Кабанова, и уже не одно необъяснимое восхищение всецело овладевает мною, а я стараюсь по игре Мартынова представить себе Тихона в жизни.

Это — молодой купец, провинциал, еще полный чувств, таких же молодых, как он сам, свежих, хороших, порою инстинктивных. Но Тихон Кабанов безволен, гнет матери совсем обезличивает его, давит в нем редкие проявления воли. Сознательно он не чувствует над собою тяжеловесной руки Кабанихи, и только инстинкт подсказывает ему, как задавлена его воля. Недосказанное чувство это, ощущаемое им чуть не каждую минуту, прорывается в нем и с грустной, и с комической робостью: его нежная любовь к жене, смертная скука по свободе, сжатой материнскими тисками и, наконец, вспыхивающий в нем на воле разгул... Таким и изображал его Мартынов — с глубокой жизненной правдой, отмеченной народным колоритом. Высокий комизм положения Тихона соединялся, точно змеиным кольцом, с потрясающим трагизмом. И в «Грозе», и в «Ипохондрике» Писемского (Дурнопечин), и в «Свадьбе Кречинского» (Расплюев), и в «Ревизоре» (Хлестаков), и в мольеровском Сганареле великий комик возбуждал смех. И это был тот смех, про который говорится у Гоголя, что он «заставляет выступать ярко то, что незаметно проскользнуло бы, без проникающей силы которого мелочь и пустота жизни не испугали бы так человека»... Слишком был безволен боязливый Тихон, но когда он кровавыми слезами оплакивал свою погибшую Катю, театр плакал, едва ли не как один человек...

Редактор «Современника», Иван Иванович Панаев, низко-низко опустил свою голову, стараясь не смотреть на сцену. А у молодого человека, сидевшего близко возле него, худощавого, некрасивого, вздрагивало все тело, вероятно, от спазмы в горле, к которому подступали рыдания, душившие его. Это был двадцатилетний тогда, подававший хорошие надежды, поэт Анухтин. Незадолго перед этим я видел его в редакции, кажется, «Русского Слова». По окончании «Грозы» он, вероятно, не желая расхолаживаться, не остался на водевиль и после долгих аплодисментов медленно направился к выходу. У меня в душе проснулось желание тоже после такой жизненной драмы не отравляться водевильной пошлостью, и я, нагнав Анухтина, познакомился с ним. Мы долго шли по Невскому, потом по Литейной.

— Вам хотелось плакать, а вы с таким самообладанием удерживались! — сказал я ему в начале пути.

— Fausse honte удерживала меня... Стали бы, наверное, кое-кто из моих знакомых смеяться над золотушным юношей за эти слезы... Но они свое возьмут... Вернусь домой, стану воскрешать пережитые впечатления, и знаю, слезы польются свободно... Вы верно тоже, как я, увлечены Мартыновым? Что за талант! До каких тонкостей он понижает человеческую душу, как сумел уловить мельчайшие черты всякого типа: купеческого, мужичьего, чиновничьего!... Какая у него громадная творческая сила!

Кстати, о комическом таланте Мартынова. За этот талант знаменитый французский артист Лаблаш его прямо обожал. Видел, как он хохотал, смотря на Мартынова в водевиле «Знакомые незнакомцы».

— Ведь вы по-русски не понимаете, а смеетесь! — заметил кто-то Лаблашу.

— Да, ни словечка, но я понимаю Мартынова. Отлично понимаю, — ответил Лаблаш...

Совсем уже прощаясь, Анухтин сказал мне с грустью:

— Как играет! И знать не хочет, что ему вредно волноваться, ведь, говорят, у него чахотка...

Потом я опять вижу Мартынова, но уже не на сцене, а в гробу, заваленном цветами, венками и лентами. Невский, от Знаменской до Дворцовой площади, заполнен неисчислимыми массами народа. Необъятное море голов и на улице, и в окнах, и на крышах. Так хоронили только царственных особ. Нечто похожее было на похоронах Достоевского, но и там не было такого многолюдства. Усопшему гению родной сцены на прощанье улыбалась сама природа. Несмотря на сентябрь, день стоял чудный, тихий, ласковый.

гармонировавший с застенчивым, нежным сердцем покойного Мартынова. Все представители искусства и литературы провожали его. Толпа росла вплоть до Смоленского кладбища. Здесь, так как проходы были узки, гроб несли сперва на полотенцах, но и это было неудобно, и его подняли на плечи, да так и донесли до самой могилы. Общая неподдельная скорбь царила вокруг нее, и даже после того, когда выросла могильная насыпь, долго слышались рыдания не одних только близких покойного. Задушевны были надгробные речи. С красными глазами красивую речь сказал артист французской труппы Невиль, а раньше его товарищ покойного по театру, Петр Иванович Григорьев, дрожащим голосом произнес стихи, из которых особенно запомнились мне эти правдивые строки:

Всегда единственный, всегда своеобразный,
Ты бодро об руку с искусством шел вперед...
В семье артистов ты сиял звездой алмазной...
И как любил тебя наш русский весь народ!
Все страсти, слабости, все недостатки века
Умел ты выражать в наивной простоте.
Ты представлял всегда живого человека,
Как есть, во всей его греховной наготе...
Пускай пределов нет искусству, и найдутся
Опять достойные, хоть чрез немало лет,
Сердца живой толпы опять к ним отзовутся,—
Но что Мартынов был... не повторится, нет!

На возвратном пути обсуждались надгробные речи. Кто-то из театралов нашел, что в них не было подчеркнуто огромное значение Мартынова, как реформатора родной сцены. Об этом сожалели многие.

— Да, — согласился с этим сожалением Панаев, — надо было сказать, что Мартынов первый понял всю ветхость, всю condition в наше время старых сценических преданий и не пошел прежней дорогой, а проложил новый путь. На нашей сцене он явился не театральным лицедеем, а настоящим человеком, каков он есть в моменты своего трагизма и комизма... Он обновил и оживил нашу сцену до неузнаваемости, придал ей популярность, значение, осмыслил ее. Благодаря ему мы увидали в его гениальном творчестве на сцене и помещика, и купца, и мужика, и чиновника такими, какими они были в действительной жизни...

Панаев высказал все это подробно потом в своей прекрасной статье о гениальном артисте.

Спустя несколько времени встретился я с поэтом Анухтиным.

— Вы любили Мартынова, — сказал он, — так я прочту вам стихи, посвященные его памяти. Я представляю себе его здесь в двух ролях: в комедии «Жених из долгового отделения» и в драме «Гроза».

Вот эти стихи Апухтина, не изданные, почему-то не включенные им в одно из собраний его сочинений:

С тяжелой думою и с головой усталой
Недвижно я стоял в убогом храме том,
Где несколько свечей печально догорало,
Да несколько друзей молилися о нем.
И все мне виделся запуганный, и бледный,
И жалкий человек... Смущением томим,
Он всех собой смешил, и так шутил безвредно,
И все довольны были им.
Но вот он вновь стоит, едва мигая глазом...
Над головой его все беды пронеслись...
Он только замолчал, и все замолкли разом, —
И слезы градом полились...
Все зрители твои: и воин, грудью смелой
Творивший чудеса на скачках и балах,
И толстый бюрократ с душою, очерствелой
В интригах мелких и чинах,
И отрок, и старик... и даже наши дамы,
Так равнодушные к отчизне и к тебе,
Так любящие визг французской модной драмы,
Так нагло льстящие себе, —
Все поняли они, как тяжко и обидно
Страдает человек в родимом их краю,
И каждому из них вдруг сделалось так стыдно
За жизнь счастливую свою.
Конечно, завтра же, попрежнему бездушны,
Начнут они давить всех близких и чужих,
Но хоть на миг один ты, гению послушный,
Нашел остатки сердца в них...

Все эти воспоминания о далеких днях, о великом мастере русской сцены невольно освежились в моей памяти в сотую с лишком годовщину его рождения. И пусть они будут маленьким венком на его могилу, которую, кажется, не особенно часто посещают теперь.

ПРИМЕЧАНИЯ.

[1] Петр Васильевич Быков родился в 1843 году.

[2] Слово «народничество» автор употребляет не в том, точно определенном смысле, в каком оно употребляется в настоящее время, то-есть в смысле особого направления русской общественной мысли, сложившегося в законченную систему в 70-е годы и характеризующегося в первую очередь признанием возможности для России итти в своем экономическом и социально-политическом развитии особыми путями, отличными от Запада, и избежать буржуазно-капиталистического строя, — а в смысле более широком, в каком слове «народничество» употреблялось ранее. В этом более широком и менее определенном смысле под народничеством подразумевалось проявление со стороны интеллигенции интереса к «народу», к его жизни, быту, обычаям, творчеству и т. д. Такое употребление слова «народничество» и дает автору возможность причислить к этому направлению Даля, Григоровича и Панаева, литературная деятельность которых, вообще сказать, началась не в шестидесятые годы, а в более ранние годы.

[3] Под «великой реформой» автор разумеет отмену в 1861 году крепостного права. В этом случае он находится под влиянием традиционных взглядов наших либералов, расценивавших эту реформу, «осуществленную» применительно к интересам дворянства и буржуазии, как «освобождение крестьян».

[4] «Севастопольская кампания» — осада Севастополя во время войны 1853—1855 годов соединенными англо-франко-турецкими войсками, закончившаяся падением этой крепости.

[5] «Русские ночи» — произведение кн. В. Ф. Одоевского, построенное в форме философской беседы нескольких молодых людей, в которую вплетены, для оживления высказываемых ими положений, рассказы и повести фантастического характера.

[6] «Большой выход у тетушки» — фельетон О. И. Сенковского, напечатанный в 1838 году в «Библиотеке для чтения». Фельетон этот имел большой успех и вызвал литературный скандал в виду того, что в нем под прикрытием фантастического повествования высмеивались многие русские писатели той поры.

[7] Н. А. Дурова — участница войн с Наполеоном, которая она провела в рядах разных кавалерийских частей. Дурова всегда ходила в мужском платье. В 1816 году она вышла в отставку с чином штабс-ротмистра. С этих пор она начала выступать в печати. Издала она «Записки», «Кавалерист-девица»; помещала в «Современнике», «Библиотеке для Чтения», «Отечественных Записках» и

других журналах рассказы и повести, пользовавшиеся в свое время некоторым успехом, но не имевшие литературного значения.

[8] «Журнал для Детей» с подзаголовком: «Духовное, нравственное, историческое, естествоиспытательное и литературное чтение» выходил в Петербурге с 1851 по 1856 год.

[9] «Полярная Звезда» — альманахи, издававшиеся в 1823—1825 годах А. А. Бестужевым и К. Ф. Рылеевым и объединившие виднейших литераторов, поэтов и романистов того времени. Альманахи эти пользовались большим успехом. По свидетельству современника, «исключая «Истории государства Российского» (Карамзина), ни одна книга и ни один журнал не имели подобного успеха». Первый альманах разошелся в количестве 1500 экземпляров в течение трех недель.

[10] Серьезным неприятностям благонамереннейший Даль подвергся в 1832 году. В изданных им «Русских сказках казака Владимира Луганского» III отделение нашло насмешки над правительством, жалобы на тягостное положение солдат и пр. По докладу об этом III отделения Николай I приказал арестовать сочинителя и взять его бумаги для рассмотрения. 27 октября 1832 года Даль был арестован; после осмотра его бумаг, в которых не нашлось ничего сомнительного, Даль был освобожден. В 1848 году Далю по высочайшему повелению был сделан выговор за рассказ «Ворожейка», напечатанный в «Москвитянине».

[11] О том, каков мог быть проект цензурного устава, составленный Далем, можно судить по тому факту, что в 1857 г. Даль счел возможным напечатать статью о вреде грамотности для «простого народа».

[12] «Отечественные Записки» издавались литератором П. П. Свиньиным в 1818—1830 годах. Сперва (в 1818 и 1819 гг.) они выходили в виде сборников, а затем в виде ежемесячного журнала.

[13] Баллин, Баранцевич, Стопановский, писатель Елагин и некоторые другие лица основали в 1858 году в Екатеринославе негласное «Общество самоусовершенствования», устраивавшее еженедельные заседания, на которых обсуждались вновь выходившие книги и журнальные статьи. В следующем году кружок Баллина принял шутливое название «Пиквикского клуба», поставившего одной из основных своих задач борьбу с злоупотреблениями местной администрации при помощи рукописных памфлетов, корреспонденций в столичную прессу, «обличительных рассказов» и т. п.

[14] «Колокол» — журнал, издававшийся А. И. Герценом и Н. П. Огаревым в Лондоне с 1857 года. Проникая в большом количестве в Россию, «Колокол» оказывал громадное влияние на русское общественное мнение, особенно своими разоблачениями злоупотреблений и насилий русских центральных и местных властей.

[15] «Искра» — популярный в 60-е годы сатирический журнал, издававшийся с 1859 года В. С. Курочкиным и Н. А. Степановым. «Обличительные» статьи и заметки «Искры», присылавшиеся по всей России своими корреспондентами, производили громадное впечатление и на общество, и на административные сферы.

[16] «Откупное дело» было напечатано в №№ 9 и 10 «Современника» за 1859 год.

[17] «Губернский карнавал» печатался в «Современнике» в 1860 году.

[18] «Подряд» был напечатан в 1862 году в «Современнике».

[19] «Записки скупого» появились в №№ 2 и 10 «Отечественных Записок» за 1857 г.

[20] «Петербургский Листок» — газета бульварного типа, начавшая выходить с 1864 года.

[21] В 1835 году по инициативе управлявшего морским министерством великого князя Константина Николаевича был организован ряд экспедиций по России для изучения быта жителей, занимающихся судоходным делом и рыболовством. К участию в этих экспедициях были привлечены некоторые из писателей того времени: Островский, Писемский, М. И. Михайлов, С. В. Максимов и другие. А. С. Афанасьеву-Чужбинскому было поручено исследование Приднепровья. Результаты этого исследования изложены Афанасьевым в его книге «Поездка в южную Россию», СПБ, 1861 г.

[22] «Русский Мир» — еженедельная газета, выходившая в Петербурге в 1859—1863 годах. А. С. Гиппоглифов состоял редактором этой газеты с 1860 года. Вокруг этой газеты группировалась либеральная и радикальная литературная молодежь того времени.

[23] «Русское Слово» — ежемесячный журнал, основанный в Петербурге в 1859 году беллетристом гр. Г. Кушелевым-Безбородко. Первоначально, когда редакторами «Русского Слова» состояли Аполлон Григорьев и Я. Полонский, журнал этот имел довольно неопределенную общественно-политическую установку и не шел дальше умеренного либерализма. С 1860 года, когда редактирование «Русского Слова» перешло к Г. Е. Благосветлову, журнал этот начинает становиться радикальным органом. Временем наибольшего влияния, которым пользовалось «Русское Слово» на русское общество, были 1867—1866 годы, когда его программа окончательно определилась и когда Благосветлову удалось сгруппировать вокруг него ряд писателей радикального направления: Писарева, Зайцева, Шелгунова, Шелгунова, Соколова и других. Одновременно с этим прежние сотрудники «Русского Слова», — и в их числе Вс. Крестовский, вскоре перешедший в реакционный лагерь, — постепенно прекращают сотрудничество в нем.

[24] «Петербургские трущобы» — роман Вс. Крестовского, изображающий жизнь и быт петербургских низов и написанный в стиле французских бульварных романов. Появление «Петербургских трущоб» вызвало в свое время много разговоров в связи со слухами относительно того, что Крестовский в своем романе широко использовал материал из жизни низших слоев петербургского общества, собранный скончавшимся незадолго до того П. Г. Помяловским, с которым Крестовский некоторое время был в близких отношениях.

[25] «Северная Пчела» — газета, выходившая в Петербурге с 1825 г. под редакцией Ф. В. Булгарина и Н. И. Греча. Газета эта носила официозный характер и через Булгарина была связана с III отделением, под настоящим покровительством которого она находилась.

[26] А. А. Бестужев-Марлинский погиб 7 июня 1837 года во время сражения с черкесами при мысе Адлере, на черноморском побережье. По свидетельству очевидцев, раненый Марлинский был окружен черкесами. Различные легенды вокруг его смерти возникли вследствие

того, что при обмене телами убитых на следующий день после сражения тело Мартынского невозможно было различить, так как тела убитых русских были обезображены черкесами. По свидетельству очевидца (см. К. А. Давыдов: «Несколько слов о смерти А. А. Бестужева» — «Московские Ведомости», 1861 г., № 24), у одного убитого черкеса были найдены пистолет и поля сюртука Мартынского.

[37] В собрании сочинений Пушкина эта эпиграмма вошла в редакции, значительно отличающейся от приводимой Н. В. Гербелем.

[38] С. С. Дудышкин состоял соредактором А. А. Краевского по «Отечественным Запискам» в 1860—1866 годах.

[39] Д. Ф. Щеглов сотрудничал в «Библиотеке для Чтения» в первой половине 60-х годов. Он писал в этом журнале по различным вопросам политической и общественной жизни, в том числе о различных социалистических и коммунистических системах, которые Щеглов подвергал критике с точки зрения буржуазной политической экономии.

[40] «Иллюстрация» — еженедельный журнал с подзаголовком «Всемирное обозрение», выходивший в Петербурге в 1858—1863 годах. В. Р. Зотов был его редактором с 1858 по 1861 год.

[41] «Общезанимательный Вестник» — журнал, выходивший в Петербурге в 1857—1858 годах под редакцией В. Ромина.

[42] «Рассвет» с подзаголовком «Орган русских евреев» выходил в Одессе в 1860—1861 годах и был посвящен отображению жизни и быта евреев.

[43] «Живописное Обозрение» — еженедельный иллюстрированный журнал, выходивший с 1874 года. Н. Н. Шульгин участвовал в редактировании этого журнала в 1879—1882 годах. Официальным редактором «Дела» Шульгин был с возникновения этого журнала в 1867 году до 1880 года, когда его сменил Н. В. Быков.

[44] М. Н. Лонгинов был начальником Главного управления по делам печати в 1871—1875 годах. Эти годы для сатирико-обличительного «Дела», всегда находившегося под бдительным наблюдением цензуры, были особенно тяжелыми. Добиться разрешения на выпуск каждого очередного номера удавалось с большим трудом, после продолжительных хождений в цензуру. Цензора вычеркивали самые невинные статьи и рассказы. После одного из объяснений своих с цензорами Благосветлов в отчаянии писал Шелгунову: «Мы просто все теряем и мало настойчивости в трудных обстоятельствах, но я опустил руки... Чего от нас требуют, мы не добьемся: говорят одно: чтобы «Дело» не походило на прежнее «Дело».

[45] «Почвенники» — группа литераторов, сотрудников журналов «Время» (1861—1863) и «Эпоха» (1864—1865), издававшихся братьями М. М. и Ф. М. Достоевскими. Утверждение «народных начал» — «почвы», по их выражению, — в государственной и общественной жизни — основной тезис учения «почвенников». В отличие от славянофилов, «почвенники» не были безусловными противниками заимствований с Запада, но допускали их лишь в той мере, в какой они не противоречат «народным началам». С этой точки зрения они не были такими безусловными поклонниками реформ Петра I, какими являлись славянофилы, и, в отличие от последних, не идеализировали допетровских порядков. Западники же «почвенников» упрекали в пренебрежительном отношении к России и к русской культуре.

[36] «Роковой вопрос» — статья Н. Н. Страхова в № 4 «Времени» за 1863 год, посвященная польскому вопросу в связи с происходившим в то время в Польше восстанием. Цензура по недоразумению усмотрела в этой статье сочувственное отношение к полякам, и в результате этого журнал братьев Достоевских был закрыт.

[37] Ф. М. Достоевский женился 15 февраля 1867 года. Через два месяца после свадьбы он с женой уехал за границу и вернулся в Россию 8 июня 1871 года.

[38] «Зритель Общественной Жизни, Литературы и Спорта» — еженедельный журнал, выходивший в Москве в 1861—1873 годах под редакцией С. П. Колошина.

[39] «Московский Вестник» — политическая и литературная еженедельная газета, выходившая в Москве в 1859—1861 годах под редакцией П. Воронцова-Вельяминова, при ближайшем участии А. П. Плещеева.

[40] «Сын Отечества» — еженедельная газета, выходившая в Петербурге под редакцией А. В. Старчевского в 1856—1868 годах. «Сын Отечества», — один из ранних представителей бульварной прессы, пользовавшийся значительным распространением в обывательской среде вследствие своей дешевизны и умения ее редактора угождать непритязательным вкусам своих читателей.

[41] «Невский сборник» вышел в 1867 году; в нем приняли участие сотрудники закрытых в 1866 году правительством радикальных журналов «Современник» и «Русское Слово».

[42] «Северный Цветок», с подзаголовком «Модный журнал для светских дюдей», издавался В. Зиновьевым в 1861 году в Петербурге.

[43] А. Ф. Писемский редактировал «Библиотеку для Чтения» с 1860 по 1863 год.

[44] Статья П. В. Быкова «Скорбные годы поэта-печальника» была напечатана в № 1 «Нового Журнала для Всех» за 1913 год. А. С. Суворин посвятил Некрасову два фельетона под заглавием «Недельные очерки и картинки» в №№ 662 и 745 «Нового Времени» за 1878 год.

[45] Н. В. Успенский в своих воспоминаниях «Из прошлого», изданных в 1889 году, отвел много места Некрасову, изобразив его как неискреннего и жадного до денег человека проигрывавшего в карты большие суммы, сотрудников же своих державшего в черном теле.

[46] «Будильник» — сатирический журнал, издававшийся талантливым художником-карикатуристом Н. А. Степановым с 1865 года, после того, как он рассорился с В. С. Курочкиным и ушел из «Искры», которую он до того редактировал вместе с Курочкиным.

[47] 2 марта 1862 года в Петербурге был устроен вечер в пользу Литературного Фонда, на котором Н. Г. Чернышевский, Ф. М. Достоевский, В. С. Курочкин и другие литераторы выступили с чтением своих произведений. На том же вечере популярный в студенческих кругах профессор истории П. В. Павлов произнес речь по поводу приближавшегося тысячелетнего юбилея России. В своей речи Павлов говорил о необходимости «слияния интересов высших и низших классов» и о том, что ко времени вступления на престол Александра II «чаша народных страданий переполнилась». Павлов закончил речь словами: «Имеющий уши слышать, да слышит». Присутствовавшая на вечере молодежь устроила Павлову шумную овацию. 5 марта

Павлов был арестован, а его выслан с жандармом в Калугу. Павлов пробыл в ссылке до 1866 года.

[48] Газета «Очерки» выходила в Петербурге в 1863 году. Ее издателем и редактором был А. Н. Очкин, бывший цензор и человек, «благонамеренность» которого ранее стояла вне всяких сомнений. Однако, желая понажиться на модном в то время радикализме, Очкин пригласил в качестве негласного редактора «Очерков» сотрудника «Современника» Г. З. Елисеева, который придал газете ярко радикальное направление. Испытав ряд цензурных неприятностей, Очкин решил прекратить издание газеты, № 94 «Очерков» оказался последним. На прекращение «Очерков» Некрасов откликнулся в «Заметке», помещенном в № 4 «Современника» за 1863 год, «Песней об Очерках» («Песня об Аргусе»).

[49] Под новой редакцией «Северной Пчелы» автор разумеет П. С. Усова и его помощников. Редактирование этой газеты перешло к Усову в 1860 году от Греча и Булгарина. С этого момента направление газеты начинает изменяться. Усов привлек к участию в ней молодых литераторов либерального направления (А. Н. Бошн, Н. С. Лесков и другие).

[50] «Русь» — газета, выходившая в Петербурге в 1861 году под редакцией В. В. Бажанова. «Якоры» — газета, издававшаяся в 1863–1865 годах Ф. Т. Стелловским. Редактором ее первоначально был Аполлон Григорьев; в 1864 году редактирование ее перешло к сотруднику благосветловского «Русского Слова» Н. Н. Шульгину; к этому времени и относится сотрудничество в ней Пятковского.

[51] «Наблюдатель» — журнал, издававшийся А. Н. Пятковским с 1882 по 1904 год. Журнал этот был органом умеренного буржуазного либерализма.

[52] «Век» — еженедельный журнал, начавший выходить в 1861 году под редакцией Вейнберга, просуществовал значительно менее двух лет, закрывшись на № 4 за 1862 год. После этого издание «Века» перешло в руки артели писателей во главе с Г. З. Елисеевым, Н. Н. Шульгиным, А. Н. Шапошым, Н. А. Серно-Соловьевичем и другими. Артель эта выпустила еще 17 номеров «Века», после чего выход журнала прекратился, главным образом из-за принципиальных разногласий среди членов артели.

[53] «Будущность» — журнал, издававшийся в 1861–1862 годах в Париже эмигрантом кн. Н. В. Долгоруковым.

[54] «Сказка про то, как царь Ахреян ходил богу жаловаться» впервые была издана за границей в конце 70-х или в начале 80-х годов без указания имени автора. В 1901 году она была перепечатана в Женеве, как произведение гр. А. К. Толстого. Но это указание на Толстого, как на ее автора, было ошибочно. Действительным автором сказки была поэтесса А. Н. Бернова, сотрудница радикальных и революционных изданий 70-х годов.

[55] Кружок, группировавшийся около Дурова и Палыма, был очень умеренным по своему направлению. Собирался он с начала марта до половины апреля 1849 года. На собраниях читалась запрещенная цензурой книга, говорилось об освобождении крестьян и самом цензуре, обсуждались западные социалистические теории. На одном из собраний Ф. М. Достоевский читал знаменитое письмо Белинского к Гоголю по поводу «Выбранных мест из переписки с друзьями».

[56] Плещеев был признан виновным в том, что он в 1846 года посещал Петрашевского, присутствовал на собраниях «во время непозволительных рассуждений о правительстве и о необходимости перемены в администрации», а в марте 1849 года, отправясь в Москву, выслал оттуда Ф. М. Достоевскому «список с преступного письма литератора Белинского». Плещеев был приговорен к лишению всех прав состояния и к каторжным работам на заводах на 4 года. По конфирмации приговора каторжные работы были заменены Плещееву ссылкой рядовым в оренбургские линейные батальоны, где Плещеев прослужил до 1856 года. Поэтому приводимый П. В. Быковым ниже рассказ Плещеева о том, что он перечувствовал при объявлении ему замены определенной будто бы ему смертной казни солдатской службой, не соответствует действительности.

[57] Станюкович был выслан в 1864 году на три года в Томскую губернию в связи с сотрудничеством в журнале «Дело», который Станюкович редактировал в 1883—1884 годах, Л. Тихомирова, Кравчинского и других эмигрантов.

[58] Поляк по происхождению, англичанин по воспитанию, Бенни принимал участие в революционном движении начала 60-х годов. Выдавая себя за эмиссара Герцена, он собирал колпаки под адресом Александру II о даровании конституции. Когда Герцен отрекся от солидарности с Бенни, насчет последнего распространились слухи о том, что он является агентом III отделения. Несмотря на их неосновательность, слухи эти получили широкое распространение. Высланный из России, Бенни работал в английской и германской прессе. В 1867 году он умер от раны, полученной им во время сражения при Ментоне, в котором он принимал участие на стороне Гарибальди. Н. С. Лесков в 1871 году выпустил посвященную Бенни книгу—«Загадочный человек», в которой старался оправдать Бенни от возникших относительно него подозрений.

[59] П. В. Быков имеет в виду противоестественные наклонности Мещерского, которые не были тайной и при его жизни.

[60] Михайлов посетил Лондон два раза: первый раз в начале 1859 года, когда он познакомился там с Герценом; второй—летом 1861 года, когда он поехал в Лондон, чтобы отпечатать в типографии Герцена составленную П. В. Шелгуновым прокламацию «К молодому поколению». Повидимому, по возвращении Михайлова из этой поездки в Петербург, П. В. Быков и познакомился с ним.

[61] В 1858—1860 годах Михайлов напечатал в «Современнике» ряд статей по женскому вопросу, в которых настаивал на признании за женщинами гражданских и политических прав.

[62] За распространение прокламации «К молодому поколению» Михайлов был приговорен к шести годам каторжных работ. Каторгу он отбывал на Казаковском золотом промысле, а затем в Кадае, где и умер в 1865 году, не успев отбыть назначенного ему срока каторжных работ.

[63] «Якорь» до второй половины 1864 года редактировался Аполлоном Григорьевым; со второй же половины 1864 года редактирование его перешло к сотруднику благонастроенного «Русского Слова»—Н. П. Шульгину. На двойном номере—3—4 за 1865 год «Якорь» прекратил свое существование. О «прогрессивном» направлении «Якоря» можно

говорить только по отношению ко времени редактирования его Шульгиным.

[64] В конце мая 1862 года в Петербурге происходили большие пожары, во время которых совершенно выгорели Апраксин и Щукин дворы с сотнями помещавшихся в них магазинов. В обывательской массе, напуганной этими пожарами, распространились слухи о том, что они являются результатом поджогов, произведенных революционерами и студентами. В № 143 «Северной Пчелы» от 30 мая Лесков поместил статью, в которой требовал «самого строгого и тщательного следствия» по поводу распространившихся в народе слухов, допуская, что они могут быть и не лишенными основания. Статья заканчивалась призывом организовать дружины волонтеров, которые помогали бы пожарным в тушении пожаров. Хотя статья Лескова появилась без его подписи, авторство его не было секретом. В радикальных и революционных кругах статья Лескова вызвала сильное возмущение, а это неизбежно должно было отразиться на отношении этих кругов в будущем как к самому Лескову, так и к его творчеству. Вскоре после этого опубликованный роман «Некуда» еще более усилил непопулярность Лескова в названных кругах.

[65] Роман Лескова «Некуда» печатался в «Библиотеке для Чтения» за 1863—1864 годы. «Некуда», первый по времени, если не считать «Отцов и детей» Тургенева, антинигилистический роман, вызвал большой шум и негодование в радикальных кругах. В его героях без труда узнавали живых людей, изображенных большею частью в крайне карикатурном виде. Много полевых слухов и сплетен, ходивших в то время, воспроизведены в романе Лескова как несомненные истины. Вот почему критика того времени рассматривала «Некуда» как злобный политический памфлет. Попытка Лескова доказать, что все действующие лица его романа вымышлены (см. его заявление в № 12 «Библиотеки для Чтения» за 1864 год), настолько противоречила фактам, что не могла никого убедить в своей правдивости.

[66] Н. К. Михайловский, насколько известно, поместил в «Якоре» лишь одну статью — «К женскому вопросу», перепечатанную в X т. полного собрания его сочинений.

[67] Благосветлов приобрел в 1866 году у Шульгина принадлежавшее ему право на издание ежемесячного журнала «Дело», еще не начинавшего выходить. Шульгин продолжал числиться официальным редактором этого журнала, так как Благосветлов из соображений цензурного характера не мог поставить на нем своей фамилии в качестве редактора. «Якоря» же Благосветлов у Шульгина не покупал и превратить его в «Дело» не мог.

[68] Н. К. Шульгин был издателем «Живописного Обозрения» в 1879—1882 годах.

[69] Говоря об «известном философе, социологе и публицисте», П. В. Быков, несомненно, имеет в виду Н. К. Михайловского. Вопрос о литературных отношениях Михайловского и Успенского детально не изучен. Во всяком случае отзыв П. В. Быкова об Успенском, как о «публицисто-художнике, запутавшемся в своих теориях и чисто художественные задачи ставившем на самом последнем плане», отличается крайним субъективизмом. Наличность публицистического элемента в очерках Успенского не лишала их больших художествен-

ных достоинств. Уклон в сторону публицистики характерен для всего творчества Успенского, как и многих его современников-беллетристов, и было бы ошибкой объяснять его исключительно «давлением» со стороны Михайловского.

[70] С. А. Венгеров в изданной им в 1875 году книге «Русская литература в ее современных представителях» раскрыл некоторые псевдонимы Шелгунова и Ткачева. Михайловский в «Записках профана», помещенных в № 5 «Отечественных Записок» за 1875 год, посвятил этому вопросу несколько негодующих строк. «Неприкосновенность псевдонима,— писал Михайловский,— есть едва ли не элементарнейшее правило добропорядочного литературного общества».

[71] 20 февраля 1880 года Ипполит Млодецкий совершил неудачное покушение на жизнь гр. Лорис-Меликова. 21 февраля он был приговорен военным судом к смертной казни. Узнав, что Млодецкому грозит казнь, В. Гаршин обратился к Лорис-Меликову с просьбой о помиловании Млодецкого. Обращение это осталось безрезультатным: 22 февраля Млодецкий был казнен. Этот эпизод крайне тяжело отразился на психике Гаршина, который, по свидетельству его друзей, некоторое время находился на границе полного безумия.

[72] О своем участии в студенческих волнениях и о переговорах своих в качестве делегата с директором Петровской академии В. Г. Короленко подробно рассказал в 3-й части II тома «Истории моего современника».

[73] В. Г. Короленко был выслан из Петербурга в начале мая 1879 года.

№ 3808

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Аверкиев Дмитрий Васильевич (1836—1905)—драматург и беллетрист. 158.

Аксаков Сергей Тимофеевич (1791—1859)—известный беллетрист и мемуарист. 152.

Александр III (1843—1894)—император. 170.

Алмазов Борис Николаевич (1827—1876)—поэт-юморист, сотрудник реакционных изданий. 81, 172.

Алмазов М. А.—востоковед. 78.

Альбов Михаил Нилович (1851—1911)—беллетрист. 205.

Аничков Николай Федорович (1843—1912)—известный экономист, статистик и публицист народнического направления. 209.

Антонович Максим Алексеевич (1835—1918)—критик и публицист, сотрудник «Современника» 60-х годов. 104.

Апухтин Алексей Николаевич (1841—1893)—известный поэт. 51, 101, 113, 117—120, 129, 133, 211, 213.

Арсеньев Константин Иванович (1789—1865)—историк, географ и статистик. 177.

Асенкова Варвара Николаевна (1817—1841)—известная артистка. 199.

Атава С. (псевдоним)—см. Терпигорев С. Н.

Афанасьев-Чужбинский Александр Степанович (1817—1875)—беллетрист, этнограф. 14, 19—26, 34—37, 47, 56, 97, 102, 113, 116, 135.

Ахматова Елизавета Николаевна (1826—1904)—беллетрист, переводчик. 84.

Ашар Луи-Амедей-Эжен (1814—1875)—французский беллетрист и драматург. 52, 56.

Бажин Николай Федотович (1843—1908)—беллетрист, сотрудник «Русского Слова» 60-х годов. 38—40.

Байрон, лорд Джордж Гордон (1788—1824)—знаменитый английский поэт. 131, 188.

Бакунин Михаил Александрович (1814—1876)—знаменитый анархист. 3.

Базанов Николай Петрович (1820—1904)—кооперативный деятель и писатель по вопросам кооперации. 15, 17.

Барановский Александр Николаевич,—[illegible] семьи, привлекался по делу Петрашевского. 15, 17.

Баранцевич Казимир Станиславович (1851—1926)—беллетрист. 205.
Барбье Огюст (1805—1882)—французский поэт. 80.
Барыков Федор Лаврентьевич (1830—1892)—экономист, поэт-юморист, сотрудник сатирических журналов 60-х годов. 129.
Белинский Виссарион Григорьевич (1811—1848)—знаменитый критик. 3, 5, 79, 136, 193, 195.
Бенардаки Дмитрий Егорович—откупщик-миллионер. 124.
Бенни Артур-Вильям Иванович (1840—1867)—революционер 60-х годов, журналист. 147.
Беранже Пьер-Жан (1780—1857)—знаменитый французский поэт. 51, 120, 123, 150, 151.
Берг Федор Николаевич (1840—1909)—поэт, беллетрист, журналист. 51, 57, 110.
Бернс Роберт (1759—1796)—известный шотландский поэт. 151.
Бессомыкин—цензор. 190.
Бестужев Александр Александрович (1797—1837)—декабрист, известный романист, псевдоним—«Марлинский». 12, 28—34.
Бестужев-Рюмин Константин Николаевич (1829—1897)—историк, профессор Петербургского университета, журналист. 92.
Бибиков Виктор Иванович (1803—1892)—беллетрист. 150.
Бибиков Матвей Павлович (1812—1856)—художник и беллетрист. 172.
Бибиков Петр Алексеевич (1832—1875)—публицист, сотрудник «Современника» и других радикальных журналов 60-х годов. 57.
Благосветлов Григорий Евлампиевич (1824—1880)—журналист, редактор журналов «Русское Слово» и «Дело». 3, 27, 34—41, 43—46, 102, 108, 165—167, 173, 190.
Богданов Василий Иванович (1828—1886)—поэт, сотрудник «Искры» 60-х годов, псевдоним—«Влас Точечкин». 116.
Богданович Модест Иванович (1805—1882)—военный историк. 177.
Водлоф Шарль (1821—1867)—известный французский поэт. 42.
Боклевский Петр Михайлович (1816—1897)—художник-карикатурист. 102.
Бокль Генри Томас (1821—1862)—английский социолог. 177.
Бомарше Пьер-Огюст-Карон (1732—1799)—знаменитый французский драматург. 165.
Боратынский Евгений Абрамович (1800—1844)—известный поэт. 48, 124.
Бовэ Александр Федорович—энтомолог, профессор Харьковского университета. 20, 38.
Брянский Яков Григорьевич (1790—1853)—известный драматический артист, переводчик. 82, 199.
Буланов Николай Федорович (1827—1904)—известный педагог. 188.
Буренин Виктор Петрович (1841—1926)—поэт, драматург, критик, сотрудник суворинского «Нового Времени». 60.
Буташевич-Петрашевский Михаил Васильевич (1821—1866)—организатор социалистического кружка в Петербурге в 1845—1849 гг. 57, 136.

Вагнер Николай Петрович (1829—1907)—профессор зоологии Петербургского университета, беллетрист, писатель для детей, псевдоним—«Кот-Мурлыка». 141, 142.

Василевский Ипполит Федорович—фельетонист, редактор сатирического журнала «Стрекоза», псевдоним—«Буква». 200.

Вейнберг Петр Исаевич (1831—1908)—поэт, критик. 30, 60, 113—117, 130.

Вонсвятинов Дмитрий Владимирович (1805—1827)—известный поэт. 111.

Вердеревский Евграф Петрович—поэт и писатель 40—50-х годов. 32.

Веребрюсов Степан Иванович—учитель гимназии в Екатеринославе. 11, 12.

Вернадский Иван Васильевич (1821—1884)—экономист буржуазной школы, профессор Петербургского университета. 157.

Весеньев Ив. (псевдоним)—см. Хвощинская С. Д.

Вильбоа Константин Петрович (1817—1881)—оперный артист, композитор. 8.

Де-Виньи Альфред (1799—1863)—известный французский поэт. 88, 127, 132.

Висковатов Павел Александрович (1842—1905)—историк литературы. 197.

Воловозов Василий Иванович (1825—1886) — известный педагог. 38.

Волгин А. (псевдоним)—см. Иволгин А. И.

Вольтер Франсуа-Мари-Аруэ (1694—1778)—знаменитый французский писатель. 198.

Вольф А. И.—театрал, составитель «Хроники петербургских театров». 199.

Вольф Маврикий Осипович (1825—1883)—известный издатель и книгопродавец. 50.

Востоков Александр Христофорович (1781—1864)—известный филолог, академик. 13.

Вульф Карл—владелец типографии в Петербурге. 78.

Гаевский Виктор Павлович (1826—1888)—библиограф и историк литературы. 106.

Гайдебуров Павел Александрович (1841—1893)—публицист, редактор-издатель газеты «Неделя». 188.

Гартман Мориц (1821—1872)—немецкий поэт. 151.

Гаршин Всеволод Михайлович (1855—1888)—известный беллетрист. 133, 200—203.

Гейне Генрих (1798—1856)—знаменитый немецкий поэт. 41, 77, 80, 149—151.

Гербель Николай Васильевич (1827—1883)—поэт и переводчик. 186.

Герцен Александр Иванович (1812—1870)—знаменитый публицист. 3, 16, 40.

Гете Иоганн-Вольфганг (1749—1832)—знаменитый немецкий писатель. 151.

Гиероглифов Александр Степанович (1824—1900)—журналист 60-х годов. 23, 35, 37, 89, 100—102, 109, 130, 157.

Гемене Фелиция (1793—1835)—английская поэтесса. 151.
Гнедич Николай Иванович (1784—1833)—поэт, переводчик «Илиады» Гомера. 198.
Гоголь Николай Васильевич (1809—1852)—знаменитый писатель. 13, 15, 136, 210, 211.
Голицын, кн. Николай Николаевич (1836—1893)—библиограф. 185.
Головачев Аполлон Филиппович (ум. в 1877 г.)—журналист. 85.
Головин Евгений Александрович (1782—1856)—генерал, участник завоевания Кавказа. 30.
Гончаров Иван Александрович (1812—1891)—знаменитый беллетрист. 3, 84, 85, 111, 128, 133.
Горский Петр—беллетрист 60-х годов. 75, 76.
Готье Теофил (1811—1872)—французский поэт. 151.
Грановский Тимофей Николаевич (1813—1855)—историк, профессор Московского университета. 3, 177.
Грехов Яков Дмитриевич—директор гимназии в Екатеринославе. 17.
Греч Николай Иванович (1787—1867)—филолог, беллетрист и журналист, издатель газеты «Северная Пчела» и журнала «Сын Отечества». 28, 197.
Грибоедов Александр Сергеевич (1795—1829)—знаменитый драматург. 197.
Григорович Дмитрий Васильевич (1822—1899)—известный беллетрист. 3, 51, 75, 80, 85—88, 103, 107, 147.
Григорьев Аполлон Александрович (1822—1864)—известный критик. 60, 143—145, 157, 188.
Григорьев Петр Иванович (1776—1872)—драматический артист в Петербурге, водевилист. 212.
Грузинцев Александр Николаевич—драматург и поэт. 178.
Гуд Томас (1798—1845)—английский поэт. 151.
Гутхейль Н.—владелец нотного магазина в Петербурге. 80.
Гюго Виктор (1802—1885) — знаменитый французский писатель. 39, 200.
Даль Владимир Иванович (1801—1872)—известный беллетрист-этнограф, филолог. 3, 7, 13, 14, 151, 182.
Данилевский Григорий Петрович (1829—1890)—исторический романист. 103—108.
Данте Алигьери (1265—1321) — знаменитый итальянский поэт. 131.
Делавинь Казимир-Жан-Франсуа (1793—1843)—французский поэт. 200.
Джуоти Джузеппе (1809—1850)—итальянский поэт. 42.
Дмитревский Иван Афанасьевич (1734—1821)—знаменитый актер, драматург. 197.
Добролюбов Николай Александрович (1836—1861)—известный критик. 3, 104, 113, 143.
Долгоруков, кн. Петр Владимирович (1816—1868)—публицист и историк, политический эмигрант. 110.
Достоевский Михаил Михайлович (1820—1864)—беллетрист, журналист, переводчик. 19, 57, 136.

Достоевский Федор Михайлович (1821—1881)—известный писатель. 3, 19, 20, 51—59, 61, 63, 67, 76, 77, 111, 133, 136, 212.
Дружинин Александр Васильевич (1824—1864)—известный критик и беллетрист. 80, 84, 115, 155, 156.
Дудышкин Степан Семенович (1820—1866)—журналист, критик. 36, 93, 123.
Дуров Сергей Федорович (1816—1895)—поэт, беллетрист, участник дела Петрашевского. 55, 135, 136.
Дурова Надежда Андреевна (1783—1866)—участница войн с Наполеоном, мемуарист, беллетрист. 9.
Дюбюк Александр Иванович (1812—1897)—комиссионер. 80.
Дюков Николай Николаевич—театральный антрепренер. 189.
Дюма Александр (1803—1870)—известный французский писатель. 200.
Евреинова Анна Михайловна—журналист, редактор «Северного Вестника». 138.
Екатерина II (1729—1796)—императрица. 88.
Елагин Владимир Николаевич (1861—1903)—беллетрист, автор обличительных рассказов. 15, 17—19.
Елагин Николай Васильевич (1817—1891)—духовный писатель, цензор. 190—193.
Елисеев Григорий Захарович (1821—1891)—известный публицист, сотрудник «Современника» 60-х годов и «Отечественных Записок» 70-х годов. 104.
Ефремов Петр Александрович (1830—1907)—известный библиограф. 92, 100, 109, 110.
Жадовская Юлия Валериановна (1824—1883)—поэт. 111.
Жакляр Шарль-Виктор—бланкист, участник Парижской Коммуны, после подавления которой эмигрировал в Россию, сотрудник журнала «Дело», псевдоним—«Жик». 41.
Жемчужников Алексей Михайлович (1821—1908)—поэт. 79.
Жуковский Василий Андреевич (1783—1852)—известный поэт. 109.
Жулев Гавриил Николаевич (1826—1878)—поэт-юморист. 116, 117.
Жулева Екатерина Николаевна—драматическая артистка. 116.
Забелин Иван Егорович (1820—1908)—известный историк и археолог. 92, 177.
Завадовский, граф—екатеринославский помещик. 18.
Завадовский, гр. Петр Васильевич (1739—1812)—государственный деятель, в 1802—1810 гг. министр народного просвещения. 88.
Загоскин Михаил Николаевич (1789—1852)—исторический беллетрист. 13, 197.
Захер-Мазох Леопольд (1836—1895)—австрийский беллетрист. 110.
Зимарова С. (псевдоним)—см. Хвощинская Н. Д.
Зиновьев Федор Алексеевич—беллетрист, редактор журнала «Северный Цветок», псевдонимы—«Ф. Брянский» и «Ю. Волнистый». 64, 70, 71.
Златовратский Николай Николаевич (1845—1911)—беллетрист-народник. 3.

Вотов Владимир Рафаилович (1821—1896)—беллетрист, журналист. 105—107, 185, 186, 207.
Вотов Рафаил Михайлович (1795—1871)—романист и драматург. 36, 196.
Вяземский Александр Николаевич — поэт-историк, псевдоним—«Чижик». 24, 64—69, 76.
Гевлев Николай Васильевич (1824—1866)—художник-карикатурист. 102, 128, 129.
Голицынский Дмитрий Иванович (1832—1918)—историк. 92.
Гримм Александр (1816—1891)—известный шлиссельбургский художник. 148.
Карамзин Николай Михайлович (1766—1826)—известный поэт, беллетрист и историк. 148.
Каратыгин Андрей Васильевич (1774—1831)—драматический артист, отец В. А. Каратыгина. 196.
Каратыгин Василий Андреевич (1802—1853)—знаменитый петербургский артист. 184, 193—200.
Каратыгин Петр Андреевич (1805—1879)—водевилист, драматический артист. 94.
Каратыгин Петр Петрович — беллетрист и комментатор. 89, 93, 94.
Карнович Евгений Петрович (1824—1885)—беллетрист, историк, журналист. 92.
Карл-Карловский Донат Андреевич—редактор-издатель журнала «Живописное Обозрение». 39, 166.
Катенин Павел Александрович (1792—1853)—поэт, драматург, переводчик. 197.
Катков Михаил Никифорович (1818—1887)—реакционный публицист, редактор журнала «Русский Вестник» и газеты «Московские Ведомости». 60, 61.
Качковский Сигизмунд (1826 — 1896) — польский писатель. 157.
Кин Эдмунд (1787—1833)—знаменитый английский драматический артист. 196.
Киттары Модест Яковлевич (1824—1880)—профессор технологии Казанского и Московского университетов. 182.
Клюшников Виктор Петрович (1841—1892)—беллетрист, автор революционно-охранительного романа «Марево». 163.
Ковалевская Софья Васильевна (1850—1891)—беллетрист, профессор математики Стокгольмского университета. 41.
Ковалевский Павел Михайлович (1823—1907)—поэт и беллетрист. 99.
Кокорев Василий Александрович (1817—1889)—известный откупщик. 61.
Колосова Евгения Ивановна (1780—1809)—известная балерина. 197.
Колошин Сергей Павлович (1825—1868)—фельетонист, издатель журнала «Зритель». 60, 172, 173.
Кольцовский—екатеринославский помещик. 18.
Компер Карл Осипович—гимназический учитель в Екатеринославе. 17.

Кондратовая Людмила-Владислава (1823—1862) — известная польская беллетристка, псевдоним—«Сыроежкина». 20.
Кони Анатолий Федорович (1844—1927)—известный юрист, критик. 16.
Кони Федор Алексеевич (1809—1879)—известный водевилист, журналист. 16, 106, 119.
Константин Николаевич (1827—1892)—великий князь. 20
Конылова—драматическая артистка. 199.
Коринна Круковская Анна Васильевна (1847—1897)—беллетристка. 42.
Коржениовский Иосиф (1797—1863)—польский писатель. 20, 157.
Корнфельд Герман Карлович—издатель сатирического журнала «Стрекоза». 130, 131, 200, 201.
Короленко Владимир Галактионович (1853—1921)—известный беллетрист. 202—209.
Короленко Юлиан Галактионович (ум. в 1904 г.)—брат В. Г. Короленко, поэт. 205, 206.
Коронченский Дмитрий Андреевич (1842—1905)—литератор, редактор журналов «Знание» и «Слово». 205.
Корсаков Павел Акинфиевич (ум. в 1905 г.)—журналист. 197.
Корхов Лев—беллетрист 60-х годов, автор сатирических очерков. 101.
Корш Валентин Федорович (1828—1883)—публицист либерального направления, редактор «С.-Петербургских Ведомостей». 91.
Костомаров Николай Иванович (1817—1885)—известный историк. 92, 177—182.
Краевский Андрей Александрович (1810—1889)—публицист, редактор журнала «Отечественные Записки» и газеты «Голос». 13, 14, 36, 67, 69, 75, 82, 98, 100.
Красиньский Зигмунд (1812—1859)—известный польский поэт. 99.
Крашевский Иосиф-Игнатий (1812—1887)—известный польский беллетрист. 99, 157.
Кремнин Валериан Александрович (ум. в 1859 г.)—журналист, издатель журнала «Рассвет». 50.
Ковалевская Елена Федоровна (1762—1810)—беллетристка. 150
Крестовский В. (псевдоним)—см. Хвощинская В. Д.
Крестовский Всеволод Владимирович (1840—1895)—беллетрист и поэт реакционного направления. 24—28, 42, 51, 57, 76, 100—102, 157, 158, 164, 187.
Кравченко Сергей Николаевич (1847—1906)—публицист-народник. 204.
Крылов Иван Андреевич (1768—1844)—знаменитый баснописец. 28.
Крюковский Матвей Васильевич (1781—1811)—драматург, переводчик. 198.
Кугушев, князь Григорий Васильевич (1824—1871)—беллетрист. 172.
Кукольник Нестор Васильевич (1809—1868)—беллетрист, драматург. 14, 61, 198, 199.

Кулиш Пантелеймон Александрович (1819—1897)—русско-украинский писатель, этнограф, беллетрист. 14.
Курочкин Василий Степанович (1831—1875)—известный поэт-сатирик, редактор сатирического журнала «Искра». 16, 17, 19, 42, 68, 92, 115—117, 120—127, 131.
Курочкин Николай Степанович (1820—1884)—поэт-сатирик. 42, 43, 51, 55, 101, 111, 115, 122.
Курочкина Наталия Романовна—жена В. С. Курочкина. 127.
Кушелев-Безбородко, граф Григорий Александрович (1832—1870)—беллетрист, издатель журнала «Русское Слово». 27, 41.
Лаблаш Луиджи (1794—1858)—известный оперный артист. 211.
Лавров Петр Лаврович (1823—1900)—известный социолог, философ, публицист, революционер. 3, 40, 41, 141.
Лажечников Иван Иванович (1792—1869)—исторический беллетрист. 68.
Ловитов Александр Иванович (1855—1877)—беллетрист. 3, 60, 70, 133, 138.
Лейкин Николай Александрович (1841—1906)—беллетрист-юморист. 147.
Лейла (псевдоним)—см. Ахматова.
Ламорсье Неномюсен (1771—1840)—французский поэт и драматург. 200.
Лемэтр Фредерик (1800—1875)—знаменитый французский артист. 196.
Ленау—псевдоним Николая фон-Штрелленау (1802—1850)—известный немецкий поэт. 151.
Леонтьев Иван Николаевич (1855—1911)—беллетрист, псевдоним—«Щеглов». 141, 205.
Леопарди Джакомо (1798—1837)—известный итальянский поэт. 38.
Лухмо Ольга Александровна (1840—1905)—поэтесса. 72, 73.
Лермонтов Михаил Юрьевич (1814—1841)—знаменитый поэт. 99, 109, 124, 141.
Лесков Николай Семенович (1831—1895)—известный беллетрист. 133, 147, 154—164.
Лессинг Готтольд-Эфраим (1729—1781)—знаменитый немецкий драматург и критик. 127.
Лессовский Степан Степанович (1817—1884)—адмирал, в 1870—1880 гг. управляющий морским министерством. 35.
Лешков Василий Николаевич (1810—1881)—профессор полицейского права Московского университета. 172.
Лихачев Владимир Сергеевич (1849—1910)—поэт, драматург. 140, 141, 168, 169.
Лонгинов Михаил Николаевич (1823—1875)—библиограф, поэт. 108.
Лонгфелло Генри (1807—1882)—известный американский поэт. 39, 151.
Лорис-Меликов Михаил Тариелович (1825—1888)—генерал, в 1880—1881 гг. начальник верховной распорядительной комиссии с чрезвычайными полномочиями по «умиротворению» возбужденной революционным движением страны. 202.

Лохвицкий Александр Владимирович (1830—1884)—известный юрист и адвокат. 38.
Майков Аполлон Николаевич (1821—1897)—известный поэт. 51, 67, 117, 124.
Максимов Алексей Михайлович (1813—1861)—известный петербургский драматический артист. 199.
Максимов Сергей Васильевич (1831—1901)—этнограф. 134.
Марко-Вовчок—псевдоним Марьи Александровны Маркович (1834—1907)—беллетрист. 38.
Марлинский (псевдоним)—см. Бестужев А. А.
Мартынов Александр Евстафьевич (1816—1860)—известный драматический артист. 27, 209—213.
Масальский Константин Петрович (1802—1861)—поэт и беллетрист.
Межов Владимир Измайлович (1831—1894)—библиограф. 109, 110.
Мей Лев Александрович (1822—1862)—поэт. 42, 51.
Мердер Надежда Ивановна (1839—1906)—беллетрист. 159.
Мещерский, кн. Владимир Петрович (1839—1914)—реакционный публицист, беллетрист, издатель журнала «Гражданин». 148.
Мизко Николай Дмитриевич (1818—1881)—историк русской литературы, библиограф. 7, 13—15.
Миллер Федор Богданович (1818—1881)—поэт, беллетрист, переводчик, редактор-издатель сатирического журнала «Развлечение». 120, 127, 128, 172.
Милюков Александр Петрович (1817—1897)—историк литературы, критик. 56—58.
Милютин Николай Алексеевич (1818—1872)—известный государственный деятель эпохи 60-х годов, участник крестьянской реформы 1861 г. 50.
Минаев Дмитрий Дмитриевич (1835—1889)—поэт-сатирик. 34, 42—44, 77, 117, 120, 129—132.
Минаев Дмитрий Иванович (1808—1876)—поэт, переводчик «Слова о полку Игореве». 132.
Мирекур—псевдоним Жако (1812—1880)—французский беллетрист. 100.
Михаил Павлович (1798—1848)—великий князь. 126.
Михайлов Михаил Иванович (1826—1865)—известный поэт, переводчик, публицист. 94, 105, 149—153.
Михайлов Петр Иларионович—брат М. И. Михайлова. 153.
Михайловский Николай Константинович (1842—1904)—известный социолог, критик и публицист народнического направления. 164, 173, 188, 204.
Михнович Владимир Осипович (1841—1899)—фельетонист. 41.
Минкевич Адам (1798—1855)—знаменитый польск. поэт. 20, 99.
Млодецкий Ипполит Осипович—революционер, покушавшийся в 1880 г. на Лорис-Меликова и тогда же казненный. 202.
Можайский Иван Павлович (1830—1893)—поэт-эмигрант 60-х годов; псевдоним—«Дядя Пахом». 116.
Моллер Егор Федорович—беллетрист, фельетонист. 101.
Мольер Жан-Батист (1622—1673)—знаменитый французский драматург. 140.

Момбелли Николай Александрович (1823—1902)—участник кружка Петрашевского. 136.

Монтез Лола (1820—1861)—куртизанка, любовница баварского короля Людвига I. 36.

Монтескье Шарль (1689—1755)—известный французский публицист. 161.

Монферран Август Августович (1786—1858)—известный архитектор. 96.

Мордовцев Даниил Лукич (1830—1905)—историк, беллетрист. 92, 177.

Мочалов Павел Степанович (1800—1848)—знаменитый драматический артист. 193, 195.

Мунэ-Сюлли Жан—известный французский драматический артист. 39.

Мур Томас (1779—1852)—английский поэт. 38, 39.

Муравьев, гр. Михаил Николаевич (1796—1866)—усмиритель польского восстания 1863 г., председатель следственной комиссии по делу о покушении Каракозова. 128.

Надсон Семен Яковлевич (1862—1887)—поэт. 133, 140, 142, 202.

Невиль—артист французской труппы в Петербурге. 212.

Некрасов Николай Алексеевич (1821—1877)—знаменитый поэт. 3, 20, 21, 42, 58, 61, 62, 64—74, 82, 83, 94, 100, 104, 105, 108, 111, 113, 124, 133, 153.

Немиров Григорий Александрович (1847—1905)—поэт, сотрудник юмористических журналов. 164, 165.

Никитенко Александр Васильевич (1805—1877)—критик, профессор Петербургского университета. 50, 128.

Николай I (1796—1855)—император. 138, 199.

Новодворский Андрей Осипович (1853—1882)—беллетрист. 205.

Норов Авраам Сергеевич (1795—1869)—историк, путешественник, министр народного просвещения в 1854—1858 гг. 104.

Нотович Осип Константинович (1849—1914)—публицист, редактор газеты «Новости». 112.

Ободовский Платон Григорьевич (1803—1864)—драматург. 193, 194.

Огарев Николай Платонович (1813—1877)—известный поэт и публицист. 16, 124.

Одоевский, кн. Владимир Федорович (1803—1869)—беллетр. 9.

Оже Ф.—художник, фотограф в Петербурге. 55, 101.

Ожье Эмиль (1820—1889)—французский драматург. 200.

Озеров Владислав Александрович (1769—1816)—драматург. 198.

Осиповский Илья Андреевич (ум. в 1871 г.)—беллетрист, автор охотничьих рассказов. 172.

Островский Александр Николаевич (1823—1886)—знаменитый драматург. 60, 63, 146, 147.

Острогорский Виктор Петрович (1840—1902)—известный педагог, критик. 167—171.

Очкин Амплий Николаевич (1791—1865)—журналист, редактор газет «С.-Петербургские Ведомости» и «Очерки». 104.

Павлов Платон Васильевич (1823—1895)—историк, профессор Киевского и Петербургского университетов. 26, 76.

Пальм Александр Иванович (1823—1895)—беллетрист, петрашевец. 55, 136.
Панаев Иван Иванович (1812—1862)—беллетрист, поэт, редактор журнала «Современник». 3, 69, 75, 78—83, 122, 195, 211, 212.
Панаева Авдотья Яковлевна (1820—1893)—урожд. Брянская, по второму мужу Головачева, жена И. И. Панаева, беллетристка, псевдоним—«Н. Станицкий». 75, 82—85.
Пассек Татьяна Петровна (1810—1889)—писательница для детей, мемуаристка. 160.
Пеньков В. С.—журналист 60-х годов, водевилист. 101.
Петрашевский—см. Буташевич-Петрашевский М. В.
Печаткин Василий Петрович—издатель и книгопродавец в Петербурге. 87.
Писарев Дмитрий Иванович (1840—1868)—знаменитый критик. 3, 34, 41, 42, 76, 84, 133.
Писемский Алексей Феофилактович (1820—1881)—известный беллетрист. 3, 13, 63, 67, 71, 76, 87, 103, 154, 210.
Плетнев Петр Александрович (1792—1865)—историк литературы, критик, поэт. 117.
Плещеев Алексей Николаевич (1825—1893)—известный поэт, участник дела Петрашевского. 55, 60, 63, 74, 122—142, 170, 204.
Погодин Михаил Петрович (1800—1875)—историк, профессор Московского университета. 177.
Полевой Николай Алексеевич (1796—1846)—критик, историк литературы, журналист. 12, 198.
Полежаев Александр Иванович (1805—1838)—известный поэт. 190, 191.
Полонский Яков Петрович (1819—1898)—известный поэт. 21, 38, 67, 74, 75, 133, 148.
Полыгалова Александра Дмитриевна—по сцене Перина, петербургская драматическая артистка. 196.
Поль-де-Кок (1794—1871)—французский беллетрист. 100.
Попов Василий Степанович—статс-секретарь императрицы Екатерины II. 88.
Порецкий Александр Устинович (1819—1879)—журналист и поэт 40—70-х годов, в 1864—1865 гг. официальный редактор журнала братьев Достоевских «Эпоха». 58.
Пушкин Александр Сергеевич (1799—1837)—знаменитый поэт. 22, 28, 31, 32, 99, 109, 124, 190, 191.
Пятковский Александр Петрович (1840—1901)—историк литературы, публицист. 108—113.
Рабинович Осип Аронович (1817—1860)—еврейский публицист и беллетрист, издатель журнала «Рассвет». 37.
Рагодин Н. П. (псевдоним)—см. Писарев Д. И.
Радищев Александр Николаевич (1749—1802)—известный писатель. 109.
Разин Алексей Егорович (ум. в 1875 г.)—педагог, писатель для детей, редактор «Журнала для Детей». 9, 11, 31, 47—52, 57, 58, 134, 177, 178, 184.
Ралстон Вильям (1829—1889)—английский писатель о России. 154.

Рамазанов Николай Александрович (1815—1867) — известный скульптор и литератор. 60.
Розенгейм Михаил Павлович (1820—1867)—поэт. 91, 101.
Ромер Федор Эмильевич (1836—1901) — беллетрист и поэт. 120, 129, 130.
Рылеев Кондратий Федорович (1795—1826)—декабрист, поэт. 90.
Рюккерт Фридрих (1788—1866)—германский поэт. 151.
Салиас-де-Турнемир, гр. Евгений Андреевич (1842—1908) — исторический беллетрист. 172.
Салов Илья Александрович (1835—1902)—беллетрист. 58—63.
Салтыков Михаил Евграфович (1826—1889)—знаменитый писатель-сатирик. 4, 20, 60, 74, 176, 204.
Сарафанова Евгения (псевдоним)—см. Даниловский Г. П.
Сачков Кузьма Пудович—чиновник, поэт 60-х годов. 75, 76.
Свиньин Павел Петрович (1788—1839)—литератор, издатель журнала «Отечественные Записки». 103.
Семевский Михаил Иванович (1837—1892)—историк, издатель журнала «Русская Старина». 27, 90, 177.
Сенковская Аделаида Александровна, урожденная баронесса Раль (1806—1859)—жена О. И. Сенковского, беллетрист. 99.
Сенковский Осип Иванович (1800—1858)—известный журналист, редактор журн. «Библиотека для Чтения». 9, 12, 89, 98—100, 105.
Сибиряков Иннокентий Михайлович (1860—1901)—сибирский купец и общественный деятель. 205.
Сиверс Александр Карлович — екатеринославский губернатор. 16, 17.
С—ий — цензор. 44.
Симашко Юлиан Иванович (1821—1893)—зоолог, редактор журнала «Семья и Школа». 127.
Скотт Вальтер (1771—1832)—английский романист. 28.
Скриб Огюстен-Эжен (1791—1861)—французский драматург. 200.
Славутинский Степан Тимофеевич (ум. в 1884 г.)—беллетрист. 64, 74, 75.
Слепцов Василий Алексеевич (1836—1878)—беллетр. 3, 133, 174.
Случевский Константин Константинович (1837—1904) — поэт. 131.
Соймонов Михаил Николаевич (1851—1888)—поэт. 140.
Соловьев Владимир Сергеевич (1853—1900)—известный философ-идеалист. 133.
Соловьев Всеволод Сергеевич (1849—1903)—исторический беллетрист. 133.
Соловьев Сергей Михайлович (1820—1879)—известный историк, профессор Московского университета. 92, 177.
Спешнев Николай Александрович (1821—1882)—революционер, участник дела Петрашевского. 136.
Станицкий Н. (псевдоним)—см. Панаева А. Я.
Станюкович Константин Михайлович (1841—1903)—беллетрист. 41, 141.
Старчевский Адальберт Викентьевич (1818—1901) — журналист, редактор газеты «Сын Отечества». 68, 70, 71.

Стасюлович Михаил Михайлович (1826—1911)—историк, журналист, редактор журнала «Вестник Европы». 127.

Стелловский Федор Тимофеевич—владелец музыкального магазина в Петербурге, издатель газеты «Русский Мир». 100, 129, 130, 157, 158.

Степанов Николай Александрович (1807—1877)—известный карикатурист, редактор сатирических журналов «Искра» и «Будильник». 73, 116, 127, 131, 132.

Стопановский Михаил Михайлович — беллетрист 60-х годов, автор обличительных рассказов и повестей. 14—17, 19.

Стоюнин Владимир Яковлевич (1826—1888)—известный писатель-педагог. 100.

Страннолюбский Николай Николаевич — поэт 60-х годов. 129, 164.

Страхов Николай Николаевич (1828—1896)—философ, критик. 51, 143, 188.

Струйский — помещик, отец Н. И. Костомарова. 178.

Суворин Алексей Сергеевич (1834—1912)—журналист, редактор газеты «Новое Время». 71, 93, 94.

Сурихов Иван Захарович (1841—1880)—поэт. 139, 140.

Сухонин Петр Петрович (1821—1884)—драматург, псевдоним—«А. Шардин». 184, 188—193.

Тальма Франсуа-Жозеф (1763—1826)—известный французский драматический актер. 196.

Теннисон Альфред (1809—1892)—английский поэт. 151.

Тернигорев Сергей Николаевич (1841—1905)—беллетрист, псевдоним—«С. Атава». 100—102.

Титов Владимир Павлович (1807—1891)—литератор пушкинской эпохи. 28.

Тиханович Владимир Григорьевич—поэт 60-х годов. 75, 77—79.

Толль Феликс Густавович (1823—1867)—участник дела Петрашевского, в 60-ые годы редактор «Настольного словаря». 98.

Толстой, гр. Алексей Константинович (1817—1875) — известный поэт. 129.

Толстой Лев Николаевич (1828—1910) — знаменитый писатель. 4, 74, 111.

Точочкин Влас (псевдоним)—см. Богданов В. И.

Трубников Константин Васильевич—редактор-издатель газеты «Биржевые Ведомости» в 1861—1874 гг. 190.

Тур Евгений — псевдоним гр. Салиас-де-Турнемир, Елисаветы Васильевны (1815—1892)—писательница. 172.

Тургенев Иван Сергеевич (1818—1883) — знаменитый беллетрист. 3, 4, 21, 58, 74, 84, 111, 172, 188.

Тьерри Огюстен (1795—1856)—французский историк. 115.

Тютчев Федор Иванович (1803—1873) — известный поэт. 104, 143—149.

Уланд Людвиг (1787—1862)—немецкий поэт. 117.

Усов Павел Степанович (1828—1888)—журналист, издатель газеты «Северная Пчела» в 1860—1862 гг. 158, 164.

Успенский Глеб Иванович (1840—1902)—известный писатель. 3, 4, 60, 71, 164, 172—177, 188, 202.

Успенский Николай Васильевич (1837—1889)—беллетрист. 71, 72, 133, 172, 183.
Успенский Николай Герасимович (1805—1870)—историк. 177.
Фет (Шеншин) Афанасий Афанасьевич (1820—1892)—известный поэт. 79, 80.
Филиппов Павел Николаевич (1825—1855)—участник дела Петрашевского. 136.
Филд Джон (1782—1837)—английский пианист и композитор, долго живший в России. 197.
Фурман Петр Романович (1797—1858)—беллетрист, издатель газеты «Сын Отечества». 122, 191.
Хан М. А.—врач, издатель журнала «Всемирный Труд». 91.
Хвощинская Прасковья Дмитриевна—беллетрист, псевдонимы—«В. Крестовский». 74, 106, 158, 159, 184—188.
Хвощинская Прасковья Дмитриевна — беллетрист, псевдоним—«С. Зимарова». 184.
Хвощинская Софья Дмитриевна (1829—1865) — беллетрист, псевдоним—«Нв. Весеньев». 184.
Хмыров Михаил Дмитриевич (1830—1872) — библиограф, историк. 89—91, 109.
Холодов (псевдоним)—см. Бажин Н. Ф.
Чернышев Иван Егорович (1833—1863)—драматург. 210.
Чернышевский Николай Гаврилович (1828—1889)—знаменитый публицист. 3, 113.
Чехов Антон Павлович (1860—1904)—известный беллетрист. 133, 202.
Чечулин Михаил Иванович (1840—1906)—известный шахматист. 30.
Чижик (псевдоним)—см. Иволгин А. И.
Чистяков Михаил Борисович (1909—1935)—известный педагог и писатель для детей. 9, 47, 50.
Чужбинский—см. Афанасьев-Чужбинский А. С.
Шамиль (1797—1871)—вождь кавказских горцев. 30, 32.
Шамиссо Адальберт (1781—1838)—немецкий поэт. 151.
Шардин А. (псевдоним)—см. Сухонин П. П.
Шашков Серафим Серафимович (1841—1892)—публицист. 38, 40
Шевченко Тарас Григорьевич (1814—1861)—известный украинский поэт. 22.
Шекспир Вильям (1564—1616)—знаменитый английский драматург. 84, 188, 196, 198, 200.
Шелгунов Николай Васильевич (1824—1891)—публицист, сотрудник журналов «Русское Слово» и «Дело». 3, 24, 39—41, 44, 150.
Шелгунова Людмила Петровна (1832—1901)—писательница, переводчица, жена Н. В. Шелгунова. 152.
Шеллер Александр Константинович (1838—1900)—беллетрист, псевдоним—«А. Михайлов». 31, 38—41, 109, 110, 166, 188.
Шенье Мари-Андре (1762—1794)—французский поэт. 151.
Шеполовы—владимирские помещики. 47.
Шиллер Фридрих (1759—1805)—знаменитый немецкий поэт. 151, 198, 199.

Ширинский-Шихматов Платон Александрович (1790–1853)—министр народного просвещения в 1850–1853 гг. 191.
Шишкин Иоакинф Иванович — историк. 47.
Шлихтер П. А.—офицер, сотрудник «Русского Мира». 100.
Шубинский Сергей Николаевич (1835—1904)—историк, редактор журналов «Древняя и Новая Россия» и «Исторический Вестник». 26, 27, 89—96, 101, 177.
Шульгин Николай Иванович (1822—1882)—журналист, редактор журналов «Дело» и «Живописное Обозрение». 39, 165, 166, 186.
Щеглов Дмитрий Федорович (ум. в 1902 г.)—публицист, автор «Истории социальных систем». 36.
Щеглов (псевдоним)—см. Лесютин И. И.
Щедрин (псевдоним)—см Салтыков М. Е.
Щербаков—отступник в Екатеринославе. 17.
Щербина Николай Федорович (1821—1869) — поэт. 23, 75, 80, 81, 84.
Эльсон Александр Львович—журналист, музыкальный критик. 101.
Юрьева Елизавета Семеновна—тетка автора. 8, 9.
Якушкин Павел Иванович (1820—1872)—писатель-этнограф. 192.
Яковлевский Иероним Иеронимович (род. в 1860 г.)—беллетрист. 205.
Ястребцов—екатеринославский помещик. 18.

СОДЕРЖАНИЕ.

Стр.

Предисловие 3
Вступление 5
I. Прелюдия.—Из детских лет.—Мои первые попытки творчества.—Николай Дмитриевич Мизко.—Его рассказы о Дале 7
II. Рассказы Мизко о Гоголе.—Как я сделался библиографом.—Провинциальные писатели обличительной эпохи в литературе.—М. М. Стопановский.—А. С. Чужбинский. 14
III. А. С. Афанасьев-Чужбинский. Первое мое свидание с ним после приезда в Петербург.—Чужбинский—картежник.—Проделки В. В. Крестовского 21
IV. Из легенд о Бестужеве-Марлинском 28
V. Г. Е. Благосветлов.—Мое первое знакомство с ним.—Его сотрудники: Шеллер, Писарев, Шелгунов, Минаев.—Его трудоспособность.—Черты и особенности его характера. 31
VI. А. Е. Разин.—Первое с ним знакомство.—Литературная [illegible] 47
VII. Первая встреча с Достоевским.—Знакомство с ним.—Переписка с ним.—Неожиданное его посещение 51
VIII. В редакции журнала «Время» братьев Достоевских. Первое знакомство с Саловым при чтении его рассказа.—Дальнейшие встречи с ним 56
IX. Встреча с Некрасовым.—Два слова об А. Н. Иволгине.—Выдержка из дневника. Некрасов у Иволгина.—Его рассказ о своих ранних работах.—Маленькая характеристика Иволгина; его застенчивость и беды от нее.—Визит Некрасова ко мне.—Щедрость Некрасова.—Ф. А. Зиновьев.—Еще о Некрасове, о его суеверии.—С. Т. Славутинский и его видения 64
X. Ранние воспоминания.—Посетители трактирчика-клуба на Петербургской стороне.—Горский, Саяков, Тиханович.—Фигуры литературной колоды: И. И. Панаев, Щербина и Краевский.—А. Я. Панаева-Головачева.—Д. В. Григорович—художник и фантазер 75
XI. С. Н. Шубинский как человек и писатель.—Несколько слов о Петре Петровиче Каратыгине.—А. В. Старченский; его грубость и скупость.—Рассказы Старченского о Сенковском (бароне Брамбеусе).—Слабость Сенковского; его взгляд на русскую литературу; его самодурство 89
XII. Журнал «Русский Мир». Его сотрудники. Интрига у его редактора Гиероглифова.—Первая встреча с С. Н. Терпигоревым.—Русские «лгуны».—Вскользь об одном романисте.—Его шутки.—Характеристика его у Некрасова.—Псевдоним Некрасова 100
XIII. Библиограф Ефремов в Москве.—А. П. Пятковский.—Его первые шаги.—Его мания в последние годы 109

230

Стр.

XIV. П. И. Вейнберг.—Метранпаж «Искры».—Ее сотрудники.—А. Н. Апухтин 11
XV. В. С. Курочкин, его первые шаги в литературе.—Корпусные стихи его, заказанные начальством; лирический экспромт, вызванный столкновением с учителем.—Его притеснители на службе.—«Искра».—Стихи, присланные Ф. Б. Миллером.—Промахи цензуры в «Искре» и «Гудке».—Мимоходом о Минаеве; его проделки с Ф. Э. Ромером; драка с издателем 12
XVI. А. Н. Плещеев.—Случайная встреча с ним у книгопродавца.—Радушие и отзывчивость его к начинающим писателям.—Суриков и Надсон.—Рассказы Плещеева о петрашевцах 13
XVII. Аполлон Григорьев.—Ф. И. Тютчев.—Мое первое с ним знакомство 14
XVIII. Роковая доля поэта-каторжанина М. Л. Михайлова.—Его характеристика 14
XIX. Н. С. Лесков.—Мое первое знакомство с ним.—Редактирование мной его произведений при его жизни и моя подробная библиография их.—Черты характера Лескова.—Журнал «Якорь» и его сотрудники.—Взгляд Лескова на женщин-писательниц; отношения к молодым писателям; преданность литературе; отношения других к нему.—Курьезный случай.—Практичность Лескова 15
XX. Сотрудники журналов «Якорь» и «Ока».—Глеб Успенский. Его первое выступление в «Зрителе» и дальнейшее его творчество 16
XXI. Историк В. И. Костомаров в год его первых выступлений на лекциях в университете.—Мое знакомство с ним.—Продиктованная им биография 17
XXII. В. А. Слепцов.—Его характеристика 18
XXIII. Редкая скромность.—К биографии Н. Д. Хвощинской-Зайончковской.—Автор «Русской свадьбы» П. П. Сухонин, драматург и художник-беллетрист.—Штрихи из истории русской цензуры.—Трагик В. А. Каратыгин в воспоминаниях П. П. Сухонина 18
XXIV. Писатель-мученик, человеколюбец. (Несколько слов о В. М. Гаршине) 2
XXV. В. Г. Короленко 20
XXVI. Великий мастер нашей сцены. (Памяти артиста Мартынова) 20
Примечания 21
Именной указатель 23

Цена 2 р. 25 к.

ЭНО

Адрес Издательства:
Москва, центр, Никольская, 10.
Адрес Книготоргового Отдела:
Москва, Лубянский пассаж, помещение 62.
Центрального книжного склада: